

Валентин Васичкин

*Украденная
любовь*

Орёл – 2021

УДК 821.161.1
ББК 84(2р)6
В 19

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Правительства Орловской области
и Орловского областного Совета народных депутатов*

В 19 Валентин Васичкин

Украденная любовь. Повесть. — Орёл: Орловский Дом литераторов, 2021. — 336 с.

Валентин Васичкин – член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Более чем за полувековой период своей творческой деятельности он издал почти два десятка книг стихов и прозы, в том числе две книги стихов для детей. Общий тираж изданий – около 27 тысяч экземпляров, и все они востребованы читателями.

«Украденная любовь» – это повесть о жизни постсоветской деревни. Её герои отстаивают своё право работать на земле, любить, воспитывать детей. Подкупающее знание народной жизни позволяет автору показать её в повести всесторонне и убедить читателя в достоверности событий, где в постоянной борьбе плохое и хорошее, добро и зло.

УДК 821.161.1
ББК 84(2р)6

© В.М. Васичкин, 2021
© БУКОО «Орловский Дом литераторов»

Часть I

1

По синему небу облака, бело-розовые, подкрашенные предзакатным солнцем. Безветрие, и оттого кажется, что покрытая снегом равнина источает тонкий-тонкий перезвон, который рождается где-то глубоко под снегом и медленно и тихо поднимается к синему небу. И еще кажется, что небо вдали и над ним — это продолжение земли: та же белизна, но только с большими синими промоинами.

Иван стоит возле дома, щурится от солнца и, слушая тишину улицы, пристально вглядывается в заречную даль. Там, в версте от него, небольшой посёлок, и второй дом от краю — её.

Наталью он знал с детства. Учились в одной школе, ходили в один клуб, но, помоложе годами, она прошла мимо него как-то незаметно, словно попутчик, который был на виду, да вдруг увела его дорога куда-то в сторону, а он и не заметил этого. Оказалось, что Наталья рано вышла замуж и уехала в другой район, но семейная жизнь не удалась, вот почему и возвратилась она с двумя детьми в родительский дом. Тут и увидел её Иван, успевший к тому времени записаться в деревенские мужики, что подтверждало большое хозяйство и две девки и парень, которые уже женихались.

Он работал в колхозе ветврачом, и вороную его лошадку в любое время года можно было увидеть у любого дома. Вот и заехал однажды Иван к Илье Перфилову подлечить корову. Привязал Воронка к электрическому столбу, взял сумку. От соседнего дома тявкнула собачонка, потом залилась звонким лаем и подкатилась ему под ноги.

— Пошла! — отмахнулся сумкой Иван, но собачка не унималась. Маленький рыжий клубок катался вокруг него, и столько в нём было ярости, что Иван в нерешительности остановился, боясь остаться без штанов. Но в соседнем

доме скрипнула и затем хлопнула входная дверь, раздался громкий женский голос:

— Муха, нельзя!

Такой и запомнил её Иван: на ногах аккуратные серые валенки, на плечи наброшена фуфайка. Небольшой фиолетовый платок, очевидно, наспех покрытый, сползал с головы, открывая густые накрученные пряди.

Что-то знакомое уловил Иван в чертах её лица. Этот разрез глаз, разлет бровей, эти смуглые щеки он уже где-то видел, во сне ли, наяву, но определённо — видел.

Муха виновато завилыла хвостом и, порывкая, смиренно поплелась к своему дому, а Иван неожиданно для себя сказал:

— Ну и собака, вся в хозяйку, наверно.

Ответа не услышал: со двора вышел Илья и, поздоровавшись, увёл его; да и Наталья уже не стояла у калитки, только лёгкий запах духов среди зимы напоминал о ней.

2

Наталья присела на старенький скрипучий диван, стоявший у окна, взяла в руки недовязанную варежку. В доме было тепло и тихо. На столе тикал простенький будильник. Серый кот, которому дети дали редкое прозвище Бродяга, прыгнул с кровати и занялся клубком, словно помогая его разматывать.

Замелькали блестящие спицы. И в этой умиротворённой тишине, густо замешанной на домашних запахах, потянулись к ней, словно шерстяная нитка, невесёлые мысли. Медленно разматывался клубок пережитого, и лицо её то светлело, то становилось пепельно-серым, и тогда она как бы физически ощущала на душе привкус горечи.

В жизни у неё было всё — и плохое, и хорошее, но, как ей сейчас казалось, хорошего было мало, оно выцвело от времени и потеряло свою привлекательность, словно ситцевый изношенный платок, а потому и думалось Наталье, что жизнь не удалась. Это она поняла совсем недавно, но тогда, в своём далеком прошлом, когда всё цвело и благоухало в бело-розовом тумане, Наталье казалось, что она

самая счастливая на свете. Николай в первый же их вечер не отходил от неё на танцах, поздно-поздно провожал из клуба, и Наталье было приятно, что никто из парней не пытался её приглашать на танец, что на её отношения с Николаем все смотрят как на давно свершившийся факт, будто он и она давние-давние друзья.

А какие у них должны быть отношения? Подошёл, пригласил на танец, и Наталья пошла, не отказалась, так как Николай был парнем видным и ей нравился. Ребята его уважали, скорее — побаивались его кулаков, а потому и считались с ним, так что Наталье было приятно, что за ней ухаживает парень, слово которого для всех было законом.

Натальина мать узнала об увлечении дочери только к осени, когда уже отпели для них соловьи и густые августовские туманы не могли скрыть широкую скамейку в дальнем углу сада, где до утра проводили Николай и Наталья короткие звёздные ночи.

— Дура! — в сердцах сказала ей однажды утром мать. — Сколько ребят хороших кругом, а ты выбрала... Наплачешься!

Наталья поняла, почему мать так говорит. Николай иногда перепивал и по пьянке, случалось, пускал в ход кулаки. Последний раз — совсем недавно, когда разбил в кровь лицо Илье Говорушкину. А мать твердила своё:

— Дура, молода ещё, только шестнадцать. Брось, тебе еще гулять да гулять, а ему жениться давно пора.

Николаю было двадцать два, и он действительно собирался жениться, о чём часто говорил Наталье. А она отшучивалась, смеялась, и радостно и тревожно становилось у неё на душе оттого, что до удивления легко прорисовывается её завтрашний день. Николай сыпал ласковые слова, а поди разберись, что там будет, когда поженятся! Она-то думало о хорошем, а мать — о плохом. И мать была права, но опоздала...

Та скороспелая свадьба стала первой горчинкой в её судьбе. Наталья сидела за столом в просторном белом свадебном наряде, скрывающем девичий грех, смотрела, как подвыпившие гости горланили песни и наверняка в сотый раз показывали, что значит «горько!»; как вместе с ними

подвыпивший Николай пошёл куролесить и махать кулаками, и ей стало не по себе: чувство то ли досады, то ли обиды сдавило грудь...

Наталья очнулась от воспоминаний, когда слёзы уже катились по щекам и во рту стоял их тёплый солёный привкус. Отложила спицы, платком вытерла мокрое лицо.

— Дура... расхлюпалась, — мысленно ругнула она себя и, ещё потерев лицо кончиком платка, глянула в окно.

Вороной конь ветврача стоял у электрического столба, в коротких санках, набитых сеном, уже копошились куры, а её рыжехвостая Муха сидела на притоптанной дорожке и настороженно поглядывала на соседский дом, куда ушел незнакомый для неё человек.

Снова замелькали спицы, и недавнее прошлое опять накатило тяжёлой волной.

После свадьбы они сразу же уехали. Далеко от матери, но Николай решил сразу: поедем в другой район, к его родне. Колхоз хороший, дадут дом — председатель тоже из родни, значит, будет всё хорошо.

А хорошего-то и не было, хотя дом они получили сразу. Наталья чуть поработала, а потом ушла в декрет и сразу после Нового года родила. Дочери были рады, на радостях через год и вторую родила.

Николай работал трактористом, и каждый раз, приходя домой, улыбаясь и обдавая ее сивушным перегаром, весело бурчал:

— Ну, что я говорил, ведь живём. А то мать твоя, блин... Тоже пророки! Но сына родим!..

На первых порах это было похоже на лёгкое заигрывание с нею, и она принимала его полусхотливо-полусерьёзный тон. А дни шли за днями, и всё пьяней приходил домой Николай, и полусхотливо-полусерьёзный тон его истаявал, словно тонкий мартовский ледок под горячим солнцем. Николай становился суровее, в его разговоре всё чаще слышался мат, а на лице появлялось злобное выражение.

Наталья пыталась понять мужа, уяснить, что случилось с ним, почему стал много пить, почему огрубел. Конечно, причин для выпивки было много: то дни рождения, то похороны — друзья зовут, то он друзей.

Однажды после обеда уложила детей спать и пошла в магазин за хлебом. Заметила, как за магазин мелькнула словно бы фигура Николая. Заглянула за угол — да, Николай, сидят, пьют. Хотела увести домой.

— Коль, поди, — позвала его.

Вскинул голову, удивился и вдруг сдернул брови. Долго не вставал, но и она не уходила. Потом встал, молча посмотрел на неё и вдруг сильно ткнул кулаком в лицо. Наталья упала.

— Пришёл, — процедил сквозь зубы.

Наталья поднялась и, не заходя в магазин, пошла домой, а он шёл сзади, тяжелым кулаком бухал ей в спину и пьяно приговаривал:

— Пришёл, дура!.. Пришёл!.. Пришёл!..

Всю ночь Наталья проплакала, а он, одетый, провонявший куревом, перегаром и соляжкой, лежал на диване, и неровный его храп впервые за эти годы был ей противен.

Утром Николай молча ходил по кухне, курить ушел на улицу, а возвратившись в дом, стал перед ней, сидящей с детьми, на колени, стал извиняться и просить прощения, что, мол, такого больше не случится. И она поверила, хотя внутренний голос ей подсказывал, что ведь не случайно же произошло это, мол, женщина, будь осторожна. Но женщина еще не разлюбила, да и любила ли она? Увлечение и привычка сделали своё дело; да и в глубине души всё-таки жила ещё привязанность к этому дикому человеку, которого так и не смогла приручить. Она поверила и простила, о чём позднее печалилась не раз, когда попадала под кулаки-кувалды и убегала с детьми из дома, лишь бы остаться живой.

А утренние сцены были похожи одна на другую: проходил хмель, и Николай, стоя на коленях, рвал на голове волосы, умолял простить его. И снова Наталья прощала... А однажды не простила. Собрала пожитки и, когда Николай был на работе, уехала с детьми в опустевший к тому времени родительский дом, оставив его одного...

Время бежало быстро, оно словно спешило, но в этой спешке все также угадывались извечные приметы, по которым, словно по вехам, можно было определить, куда и зачем идет человек.

Январь пролетел незаметно. Иван и глазом не успел моргнуть, как был оторван на настенном календаре последний листок. В феврале неожиданно пришло тепло. Юго-западный ветер ночами гудел над крышей, отчаянно стучался в окна, а к утру нагонял ненастье. То снег с дождем, то дождь со снегом обрушивались из предугртенней синевы, и Ивану почему-то становилось неуютно в его просторном и тёплом доме. Заснуть не мог, все лежал, ворочаясь, потом вставал и уезжал на ферму. Свой рабочий день Иван всегда начинал вместе с доярками, а те в эту пору к пяти часам уже гремели вёдрами. И у него хлопот прибавлялось: дело к весне, на фермах отёлы, и с каждой из доярок ветврачу есть о чём поговорить.

Что стал он чаще бывать на второй ферме, никто не удивился, мол, делает человек своё дело — и ладно. С кем-то пошутит, кого-то отругает — обычная фермская жизнь. Не заметил бы этого и сам Иван, не затей однажды с ним разговор главный зоотехник.

— Ты что же, молодой человек, стал редко заглядывать на первую ферму, а всё на второй да на второй? Галька обижается.

Сказал, словно пошутил, но в этой мимолётной шутке скрывалась своя правда. Галя Селезнёва была давней его подружкой, и скупая на радости их любовь тлела уже много лет, не затухая и не разгораясь. Это их устраивало. Но с зимы Иван стал с Галей более холодным, мог побыть на ферме и не поговорить с нею, а то, как ей показалось, иногда просто избегал встречаться. Метнётся по коровнику, завернёт в телятник — и, глядишь, след его уже простыл: только скрип саней да пофыркивание Воронка за липами.

Воронок словно понимал хозяина: Иван и не дергал за вожжу, а конь уже заворачивал на вторую ферму. Всё верно,

он стал бывать здесь чаще с зимы, с того дня, как пришла работать на ферму Наталья. В тот день Иван, как обычно, приехал на ферму затемно. Привязал Воронка, бросив ему охапку сена, и зашёл в телятник. Телятниц почему-то не было. Зашел в один коровник — никого. Во втором, в самом дальнем его углу, хлопотала возле коровы одна Подшивалиха, бойкая на язык бабёнка, совсем недавно оформившаяся на пенсию.

Иван подошёл к ней, поздоровался.

— Здравствуй, Митрич, здравствуй, сынок. Вишь, какое дело, — пожаловалась доярка, — Зорька телиться вздумала, а я одна... А те, окаянные, все в красном уголке сидят, гырркают...

Красный уголок тут же, в пристройке. Иван затопал по проходу, повернул направо, как вдруг впереди него прокатился маленький рыжий клубок и, замерев под дверью красного уголка, зарычал, а потом залаял.

Лай был знакомый, но Иван ещё не успел вычислить, чья это собачонка, как дверь красного уголка открылась, и он лицом к лицу столкнулся с Натальей.

— Муха, а ну, пошла! — прикрикнула она на собачонку.

— Во, то ли коровник, то ли псарня, — шутливо протянул Иван, переступая порог. Здесь собрались все доярки и телятницы. До него было шумно, а как зашёл, шуму прибавилось.

— Во! — передразнила его одна из молодых доярок. — Нечего вокать. Праздники на носу, а он вокает. Головой надо думать, говорю.

Иван не понимает, к чему она клонит, а доярки хохочут, отчего в ушах стоит звон.

— Не прикидывайся дурачком, — продолжала та. — Праздники на носу, а начальство не шевелится. Все мужики, так что двадцать третьего со всех по бутылке с закуской. А с тебя первого.

По красному уголку гул одобрения.

— Слышал?

— Да вроде не глухой, — весело ответил Иван, прикидывая, что к чему, и подстраиваясь под полушутливый тон говорящей.

— А коли слышал, ставь на стол, — и одна из доярок, кажется, Валяха, хлопнула по столу ладонью.

Иван принял весёлый настрой животноводов. Метнулся к лошади, нашарил в санках под сиденьем поллитровку, и скоро уже к смеху и шуткам доярок добавились бульканье и звон стаканов.

Стакана было два, они прошли по кругу быстро, и так получилось, когда Ивану плеснули в стакан и он намеревался выпить, всё та же доярка остановила его.

— Э-э, стой! Чего один пьёшь, алкоголиком станешь. Надо на пару.

А очередь выпивать подошла к Наталье. Она потянулась к нему рукой со стаканом, держа в другой бутерброд с салом, и, как и тогда, возле дома, фиолетовый платок сполз у неё с головы, приоткрыв густые накрученные пряди. А еще он увидел вблизи её васильковые глаза, глубокие-глубокие, словно предвесеннее небо.

Горячая волна прошла по его телу, ударила в голову, так что, выпив водку, он не почувствовал её хмельной горечи.

4

Осень они встречали вместе. И снова светло и радостно было на душе у Натальи, и тянулись они друг к другу, испытывая неуёмное желание быть всегда вместе. Но встречи их были короткими, как зимний день, во всяком случае, так им казалось. Наталья понимала, что украденная ею любовь счастья не принесёт, и гнездо, которое свил Иван, разорять грешно. Оттого и ругала себя порой, но поделаться ничего не могла. Её тянуло к Ивану, она не представляла ни дня без него, лишь бы постоять с ним рядом, коснуться его руки.

По первости их встречи носили как бы случайный характер, смотрелись со стороны безобидно: шла из конторы домой — подъехала к ветврачам; ехал на ферму — подвёз доярку с телятницей.

Наталья работала «на телятах». Телятник стоял в самом дальнем углу животноводческого комплекса, отгороженный от мира полуразвалившимся кормоцехом, горами

навоза. Летом на навозе вырастал бурьян в два человеческих роста, и мало кто знал, что делалось там вчера и что будет сегодня.

Наталья приходила на ферму рано. Большой нужды в этом не было, но дома ей не по себе, тянуло на люди. С фермы уходила поздно — ожидала, пока привезут с маслозавода обрат, и только потом начинала поить телят.

Приезжая на ферму, Иван, как обычно, привязывал Воронка, затем, пошутив, осматривал телят, а Наталья ходила за ним следом, и процедура эта занимала у них не один час. Она понимала, что не случайно стал Иван заглядывать к ней чаще, да ей и самой хотелось видеть его. Что делать, если приглянулся мужик. Вот только семейный. Эта мысль ненавязчиво приходила к ней в минуты одиночества, подкатывала холодной волной, но остудить растревоженное сердце не могла, так как огня в нём становилось всё больше и больше.

А Иван особо и не скрывал своих чувств к Наталье. Сердце его замирало, но виду не показывал, что робеет. Шутками и намёками давал понять: мол, не эти крутолобые телята заставляют его каждый день бывать здесь, они только повод для этого. Однажды, когда наступили тёплые дни и телятам сладили загон, чтобы они пили, ели и отдыхали на воле, Иван и Наталья объяснились в своих чувствах. Походив среди телят по загону, сделав прививки, они остановились у бочки с обратом. Иван уложил в сумку медикаменты и собрался уже уходить, как вдруг обратил внимание на двух телят: молодой бычок с тёлочкой отошли в сторону и, став рядом, бело-розовыми языками лизали друг другу уши и глаза.

— Во! — засмеялся Иван.

— Любовь у них, — улыбнулась Наталья, и пояснила: — Они с первого дня вместе. Едят рядом, спят рядом.

Иван повернулся к Наталье и, вешая сумку с медикаментами на плечо, как бы в шутку, весело сказал:

— Наташ, и я тебя люблю.

— Я тоже, — ответила Наталья на этой же ноте.

— Тогда будем считать, что у нас праздник, и его надо узаконить.

— Заезжай домой, как раз поросёнка посмотришь, купила, а он что-то занемог, — предложила Наталья.

Она безбоязненно решила пригласить Ивана домой — дети закончили учебу и уехали в пионерский лагерь. А на ферме скажет, что ветврач нужен — заболел поросёнок.

После обеда Иванов Воронок, весело пофыркивая, словно чувствуя настроение хозяина, и проторил дорогу к дому, у которого ещё ни разу не приходилось бывать ни ему, ни его хозяину.

5

Иванов Воронок профыркал возле Натальино дома до вечера. Дом стоял вдали от дороги, его окружали буйно разросшиеся яблони, вишни и малина, так что Воронок скрыт был от постороннего глаза. Лишь только из окон Ильи Перфилова, если постараться, можно разглядеть на зелёном фоне чёрный круп коня. Это для постороннего человека. Для Ильи же большого труда не составило. Сидит у окна, доплетаёт плетушку, а сам нет-нет да и посмотрит в ту сторону. Однако задерживается, думает старик, и трудно понять, осуждает он Ивана и Наталью или воспринимается им такой визит как само собой разумеющееся, скажем, как смена времен года.

Но рот у Ильи всегда на замке. Подъехал, — значит, так и надо, и кому какое дело до этого. Надо будет — сам скажет. Приблизительно так думал об Илье и Иван, а потому в некоторой степени и был спокоен. В течение дня ему приходилось бывать во многих домах: где задержится подольше, где в пять минут уложится оказать помощь заболевшей скотине. К тому же не один раз в течение дня и не один день появится он в этом доме. А что делать? Скотина болеет, люди идут: помоги, мол.

Через месяц возвратились из пионерского лагеря дети, и Наталья стала к таким визитам относиться осторожно. Дети с понятием, и, чувствуя их взгляды, когда однажды Иван неожиданно заехал к ней среди дня, она стушевалась и без каких-либо намеков сказала ему:

— Вань, дети еще не взрослые, мне перед ними неудобно. Мы есть мы, а они — это они, и многого могут не понять, так что давай договоримся: позову — заезжай, не скажу, — значит, не след. «Перед взрослыми-то неудобней будет», — подумал Иван, но Наталье ничего не сказал. Он не обиделся. Да и можно ли было обижаться, если она всё отдавала ему сполна, ничем не обязывая его при этом.

Каждая встреча для них была радостью, и каждый новый день прибавлял этой радости. Слово своё Наталья сдержала, а потому и визиты Ивановы к ней реже не стали. Купленный ею поросёнок под приглядом Ивана набирал силу, и Наталья решила, что с приходом устойчивых холодов, когда уже отшумят Покров и Михайлов день, можно будет приглашать Ивана доставать печёнку. Но планам её сбыться не пришлось.

6

Как хороши в лесостепи дни золотой осени! Березовые перелески ещё не сбросили листву, и, когда густые серые туманы расплываются после холодных ночей по лощинам, а солнце спешит обласкать людей скуповатым последним теплом, они встают в прозрачности полей во всём своём величии. Стоят в безветрии, не шелохнутся, словно догорают среди зелёных озимей золотая лампа Алладина.

Смотрит Наталья от дома в даль осеннего поля и с грустью думает, что природа и человек живут одной жизнью. Нарождаются и также умирают. Господи, сколько людей ушло из жизни на её глазах! Где они? В какой плоскости бытия смеются и плачут в надежде на лучшее? «Его нет на земле, — думает Наталья, — а значит, нет его и там, куда все уходят, не возвращаясь. Боже ты мой, милостивый, не дурил бы ты головы людям, не тешил бы их надеждами, глядишь, злее и строже к себе относился бы человек».

Наталье невесело. Вторую неделю не видит она Ивана, а причиной всему последний их разговор. «Не нужен он был, — думает Наталья, — да вот сдержаться не смогла. Все получилось как-то само собой».

Однажды перед обедом заглянула к ней в телятник та самая говоруха-дойрка, потрепалась о том о сём и вдруг за ворохом новостей уронила ещё одну, от которой ёкнуло у Натальи сердце.

— Вот распутиги! Что выделывают, а! Селезниха-то вчера, поддали они, у Ивана-ветврача на шее повисла. Он от неё, так она его кусать. Всего исцарапала, мол, изменешь, мерзавец.

У Натальи подгибались колени, в глазах потемнело, но устояла. Смотрела на доярку и никак не могла понять, с умыслом ли она сказала эту новость. Знают ли она и другие об их отношениях? «По всему, — решила Наталья, — с умыслом, чтобы увидеть, как отреагирует, и потом уже понести эту сплетню дальше».

— Теперь до жены дойдет, и та еще добавит, — поддакнула Наталья равнодушно, тем самым давая понять, что она безразлична к случившемуся с Иваном.

Он приехал к ней сразу же после обеда, и Наталья не подала виду, что знает всё.

— Кто это по тебе прошёлся бороной? — хмыкнула она, когда Иван вошёл в телятник и остановился в полоске солнечного света, бьющего из окна.

— Вчера на той ферме, да не бороной — плугом, — отшутился Иван, поглаживая ладонью уже покрывшиеся коричневой корочкой царапины, — они шли от левого уха вниз, по шее, и скрывались под воротником рубашки.

К этому разговору она уже не возвратилась, так как Иван занялся работой, да и ей надо было поить телят. Но перед вечером он был у неё дома. Наталья поставила на стол яичницу, зажаренную со свежими помидорами, принесла луку, нарезала сала. Маленький графинчик с водкой всегда стоял в столе.

Выпили понемногу и закусили. Наталья видела, что Иван чем-то озабочен, меньше обычного шутит. И вдруг подумала, что и у неё такой же, очевидно, вид, и, возможно, от этого настроенность у Ивана.

Наталья погладила его руку, лежащую на краю стола, потом встала, собираясь досыпать в солонку соли, как

вдруг встал и Иван. Обнял ее, потеревшись подбородком о её левое ухо, сильнее прижался к ней.

Лишь много позднее, разметавшись по кровати и остывая, Наталья неожиданно пришла к мысли, что недоговоренность и молчание по поводу этих несчастных царяпин хуже всего, а потому вдруг спросила:

— Ты и с ней, и со мной?

— Ты что? — встрепенулся Иван. — Дело давнее, да и ничего у нас не было такого.

— Не понимаю. Значит, всё-таки имела право царапать?

— Да нет же!

— Фу! — выдохнула Наталья. — Лежу под тобой, а мне противно: кобель, с кем-то шляется-валяется, а потом ко мне. Дура я, что под тебя легла. Уйди! — и она брезгливо отстранилась от него на край кровати.

У Ивана внутри повеяло холодом. Полежал, молча глядя в подушку, потом встал, оделся и, ни слова не говоря, хлопнул дверью.

Наталья одевалась и плакала. Обидно было и за себя, так как все еще считала, что Иван её обманывал; и за свою неудавшуюся жизнь, в которой если и радость, то такая короткая, словно солнышко в пасмурный зимний день; и за то, что она вообще набитая дура и ничего не может поделать с собой.

Тёплые солёные ручки текли по её щекам; она их утирала, утирала, потом бросила утирать, и они долго ещё текли и мочили подушку, так как больше некому их было утереть.

7

Вторую неделю не заглядывает к Наталье Иван. Теперь заезжает к ней лечить телят ветфельдшер Петрович, маленький тщедушный мужичок. Масляным взглядом провожает её по телятнику, все норовит притиснуть к кормушке.

— Петрович, ты за этим приехал, — ядовито спрашивает в таких случаях Наталья и намахивает его пустым ведром.

— Иван прислал, — каждый раз смеётся Петрович. — Езжай, говорит, лечи и телят, и Наталью.

Наталья и верит, и не верит. Ведь не может он так сказать! Но почему тогда хлопнул дверью и не едет к ней? И ответа на этот вопрос Наталья не находит.

Думает думку свою, и открыться ей некому, а если точнее, то и можно бы, да боязно открыть свою великую тайну её настоящей любви. За думками и работа на ум не идёт, всё из рук валится, словно силы ушли. Наталья подумала даже, что это Иван унёс их с собой, когда уходил от неё.

Однажды ясное осеннее утро Натальины телята встретили голодным рёвом. Петрович, заглянувший в телятник одним из первых, определил, что Натальи на работе ещё не было. Съездили к ней домой. Стучали в двери, но они так и не открылись, а из-за занавесок на окнах нельзя было рассмотреть, есть ли кто в доме, нет ли.

Вспомнили, что Наталья вроде бы собиралась съездить к детям в райцентр, они учились в средней школе и жили в интернате, а потому и успокоились, мол, уехала к ним. На ферме ей нашли замену, попросив поработать до её возвращения одну из пенсионерок.

Не увидел Наталью в этот день возле дома и Илья. Муха облаивала с утра кого-то, кажется, с фермы приезжали, и вот целый день тихо. Уехала с ними? Куда? Недалеко — давно бы возвратилась. Подальше — предупредила бы его, как это делала всегда, когда на день-два уезжала. Поросенка-то кормить надо.

И ещё один день прошёл. Сидит на солнышке возле дома Илья, перебирает нарезанные для плетушек хворостины, впитывает в себя тонкие птичьи голоса, — очевидно, молоко поёт. Все к жизни стремятся. И деревья, и птицы, и люди. У него на дворе закудахтала курица. У соседки, слышит, скулит Муха. Тварь, не тварь, а дышит, значит, живёт.

На третий день под окнами у Ильи появилась тощая, очевидно, некормленная, Муха. Посидела, поскулила и ушла. И ещё не раз приходила и уходила. Илья бросал ей хлеб, но она не брала, и, как показалось старику, её небольшие рыжие глаза были переполнены печалью. Непонятно Илье, где может быть соседка. Взял железный костыль и неспеша потопал к Натальиному дому. Двор и дом у соседки под од-

ной крышей, по старинке. Негромко повизгивает за закрытой дверью поросёнок, словно есть просит. Постучал в дверь — никого, в окно, в другое — тишина. Окна занавешены красивыми занавесками.

Потогтался старик, было пошёл назад, да опять к дому. Достал из кармана небольшой складной нож, отогнул на нижней шипке крайнего окна гвозди и вытащил стекло. В нос ударил тяжёлый трупный запах...

8

В начале декабря неожиданно ударили сильные морозы. Багровые закаты кровянили окрестности, медленно растекались по долинам, потом бледнели, и прихлынувшая ночь, как из рукава, рассыпала по небу крупные звёзды. Они разгорались до белого каления, отчего в деревне становилось светлее, а над землёй плыл глухой непрекращающийся гуд. Иногда разыгрывался ветер, и мороз словно бы слабел, и не понять было тогда, то ли земля гудит, придавленная лютыми морозами, то ли в полуночном поднебесье не находят покоя чьи-то метущиеся души. Иван полюбил эти тревожно-пугающие ночи. Он подолгу выстаивал за углом дома, смотрел и слушал, и неяркий огонёк его сигареты, как и он сам, растворялись в ночной космической сини.

Второй год шел с той памятной осени, а кажется, все это было как вчера. С глубокой душевной раной, несправедливо нанесённой Натальей, Иван тогда замкнулся в себе, затих, словно осиротел. Проедет на одну ферму, на другую, что-то сделает, что-то не сделает, посчитав необязательным делом, и опять к дому. В телятник, где работала Наталья, не заходил: страдая от обиды, мучаясь одиночеством, он тем не менее избегал встречаться с нею. Но и в домашних делах душа его не оттаивала. Пилил дрова, задавал скотине корм, а в мыслях постоянно был с Натальей. Бросит навильник пахучего сена в кормушку и стоит, опираясь на вилы. Вроде бы смотрит, как корова поедает эту сладость, а сам ни коровы не видит, ни сена — перед глазами Наталья. Протяни руку — вот она... Густые накрученные

пряди из-под фиолетового платка, васильковые глаза, глубокие-глубокие, как весеннее небо... А в ушах тогда стояли слова её, колюче-жёсткие, холодные, словно снежная крупа, секли: «Кобель, с кем-то шляется-валяется, а потом ко мне... Уйди!» «Да не виноват я, чист перед тобой, — мысленно оправдывался Иван. — Чист, как слеза... И в мыслях не держал ничего подобного».

Васильковые глаза темнеют, на них слёзы, крупные, как августовская роса. «Фу!.. Кобель!» «Да выдумки это... Говорю же, и в мыслях не было», — шепчут его губы. Погруженный в свои мысли, однажды не услышал, как на двор зашла жена.

— С кем это ты разговариваешь? — тронув его за рукав, спросила Маруся.

— С коровой, — нашелся Иван. — Бросил вот сена, а она, чудо рогатое, коврыется, нос воротит. И сено-то вроде неплохое.

Корова подняла голову, долгим взглядом посмотрела на него, потом на хозяйку и, словно понимая Ивана и вырывая его, фыркнула в кормушку.

— Станный ты стал какой-то, — уходя, пожала плечами жена.

После ужина, а заканчивался он всегда поздно, Ивана не тянуло ни к телевизору, ни к газетам. Одевшись потеплее, он брал пачку сигарет и спички и шёл на своё излюбленное место, за дальний угол дома, что выходил к огороду. Летом здесь было солнечно и тихо, отсюда просматривались пойменные луга, недалёкое заречье с колхозными стадами, чуть дальше — небольшая деревушка. Здесь хорошо работалось днём, а ночью отдыхалось. Лишь за вечереем и белой дымкой поплывёт по низинам туман, как лёгкая прохлада задумчиво подступает к дому. Пройдёт время — прохлада загустеет, наполнит сад влажными запахами трав, ночными звуками. Иван хорошо их различал, и всегда казалось ему в такие часы, что Наталья также стоит возле своего дома, смотрит на небо и думает о нём. В такие часы Наталья была ему ближе и желаннее, и это тёплое чувство, наполняющее его сердце, в отличие от заката, не угасало. Осенью Иван находил здесь другие радости, но после раз-

молвки с Натальей и в любимом своём уголке ему было печально и одиноко.

Так проходили дни. На первых порах в своих раздумьях он слал Наталье один и тот же вопрос: за что?.. за что?.. за что?.. Не чувствуя за собой вины и сознавая, что повода для ревности не давал, Иван и сам не находил ответа на свой вопрос. Но как объяснить это Наталье, он тем более не знал, и решил наутро непременно увидеться с нею, еще раз попробовать убедить, что всё высказанное в его адрес — полнейшая выдумка.

А на земле вовсю хозяйничала осень. Она умывала густыми росами осевшие стога сена, торопливо перекрашивала поля: там, где совсем недавно пылили сеялки — в изумрудно-зелёный, и в чёрный — откуда затемно, уже с фарами, возвращались пахотные агрегаты. Сады ломились от яблок. И словно сама природа, щедро одаривая людей урожаем, помогала его сохранить, разводя в разные стороны ветра и дожди.

Упаси боже от злодейства! Ведь даже под утро, когда всё земное еще пребывает в сладкой дрёме, промокшие от росы ветви уже не могут удержать на весу эту сказочную прелесть. Бух! Бух! Бух! — слышатся глухие удары. Это падают на землю яблоки! Иван идёт по саду. В темноте видит белые плоды, они гнут ветви к земле. Бух! — удар яблока чувствует плечо; бух! — по другому плечу. Над садом выплывает золотистый сноп солнца, и его лучи, словно колосья...

За деревьями Натальин дом... К дому! Скорее к дому! Вот желанная дверь. Иван толкает её от себя — не открывается. Стучит в неё ногой, затем в окно кулаком — тихо. Стучит сильнее и слышит звон разбитого стекла. А за домом голоса людей — это толпа доярок с фермы.

— Ломай дверь! — командует Петрович. — Она мертвая там, вишь, какой из окна дух.

Все зажимают пальцами носы, а Иван легко снимает входную дверь с петель, и все вваливаются в дом.

Ивану страшно от увиденного: Наталья лежит на кровати, правая рука под головой, рот чуть приоткрыт, словно в последнюю минуту свою хотела она сказать что-то важное. От правой ноги осталась одна кость.

— Это поросёнок выскочил из закутки, пролез в дом через приоткрытую дверь... ну и наработал делов, — предположил всегда самый осведомлённый во всех вопросах слесарь Серега Чумаков.

— Сам ты поросёнок! — гаркнул на него Иван и вдруг почувствовал, как по щекам его ручьями текут слёзы. Хотел ещё что-то сказать, пытаюсь спрятать в ладонях мокрое лицо, и... проснулся, бормоча несвязные слова. Комнату наполняли первые лучи солнца. Маруська склонялась над ним, как над покойником, и глаза её были наполнены тревогой. А он лежал на кровати, согнувшись, словно вопросительный знак, поджимал к животу худые ноги и негнуцимися руками растирал по щекам солёную воду.

— Что с тобой? — испуганно спросила она. — То кричал, то бился, как безумный, и плакал.

— Войну видел во сне, — выдумал Иван. — Страшно было.

Поняв, что проспал, он встал, побрился, разбитый плохим отдыхом и поганим сном, и заспешил запрягать Воронка.

По дороге на ферму его обогнал председательский уазик, остановился на обочине. Завернул Воронка на обочину и Иван.

— Ну, здорово, герой, — пожимая ему руку, улыбнулся председатель.

— А почему «герой»? — удивился Иван. Николай Максимыч был ему ровесником, и в их отношениях было больше дружеского, чем должностного.

— Почему, почему... А потому, что бабами окружил себя, как хан. Сколько их у тебя в гареме? Три?

— Что-то не пойму.

— А что тут понимать, — засмеялся Николай Максимыч. — Дома одна, на первой ферме другая, на второй — третья.

Иван ничего не сказал в ответ, и не потому, что ступешался или не захотел, он просто не успел, так как председатель и не собирався выслушивать его объяснения, а сразу заговорил о деле.

— Звонил вчера в Орел, сказали, что надо приезжать за оборудованием для молочного блока. Дело срочное, а зоо-

техник заболел, да и транспорт пока свободен. Так что через час чтобы в дороге был. Ясно?

После такого вступительного слова продолжать разговор Ивану не хотелось. Поняв, что пересуды о его выяснении отношений с Галиной уже прошумели по деревне, он всё-таки ещё не допускал мысли о каких-то сплетнях по поводу своей любви. Буркнул что-то несвязное, мол, куда уж ясней, и они уже было разошлись, как вдруг Николай Максимыч окликнул его:

— Да, Митрич, погоди еще чуток.

Иван остановился, а на душе сделалось как-то нехорошо.

— Ваня, не обижайся за «хана». Я почему: все в бубен бьют, как «Голос Америки», так что смотри сам.

— Не обижаюсь. А что в бубен — пусть. Поговорят-поговорят и успокоятся. На то она и деревня.

С этими словами Иван развернул Воронка, стегнул его вожжами и быстро покатыл к дому.

9

До областного центра путь недолгий: полтора часа — и вот уже частные дома пригорода. До агроснаба, правда, ещё около получаса объездными дорогами через весь город. Но эти часы для Ивана пролетели незаметно. Вёл нехитрый разговор с водителем, хотя сути его порой не улавливал, а просто или поддакивал водителю, или часто переспрашивал, как бы не соглашаясь. Временами разговор стихал, а на обратном пути Иван вообще молчал, делая вид, что дремлет, хотя сделать это ему было практически невозможно: да разве заснёшь, когда в голову только и лезут мысли о последней встрече с Натальей, и упреки её стоят в ушах до сих пор. Но за что? Было обидно от осознания их несправедливости, и в то же время Иван понимал, что не от плохого высказала их Наталья: очевидно, разыграло чувство ревности, следовательно, небезразлично женщине всё то, что касается его. «Значит, любит, если ревнует», — пришёл к выводу Иван.

Но удивительное дело: на душе от этого легче не стало. Судить по себе, размышлял Иван, то таких сцен ревности

быть не должно. Любовь без доверия — не любовь, а подобие любви. К примеру, он полюбил Наталью, открыл ей свою великую тайну и не даёт повода для сомнений. Ну, а тот инцидент на первой ферме... Да он только подтверждает, что ничего общего с Галей Селезневой у него нет. Ведь сам-то он верит Наталье! У неё таких ситуаций сколько было, когда мужики приставали, вились вокруг, как мухи, однако Иван не сделал ей ни одного упрёка, даже когда застал её однажды с Петровичем в тёмном углу телятника. А что кадило раздувать, бабёнка справная, у мужиков слюнки текут, вот и пристают. Иван только улыбнулся тогда, заведомо зная, что отзывчивость её васьиных глаз и жар поцелуев — только ему одному, как счастье, дарованное судьбой.

А ещё стоял всю дорогу перед глазами его сон, такой непонятный, пугающий нереальными картинками, от которых леденело в груди и мутнел разум. Не вынесет он этого, случись всё наяву. Ведь только одна она для него желанна и любима. «Но Наталья не верит и считает, что я такой же пройдоха, как все», — думал в печали Иван, и сердце его, еще не надорванное тревогами и грузом бед, впервые в жизни отозвалось ему подступившей слабостью.

Машину разгрузили быстро, оборудование сложили в склад еще завидно, но приглашенные для разгрузки работники мехмастерской уходить не торопились. Они толпились на пороге склада, весело шутили, а сами все поглядывали в его сторону. В общем-то, Иван это предвидел: по неписаному закону он должен поставить им за разгрузку магарыч. Народу подобралось человек шесть, так что одной бутылки будет мало, прикинул Иван, и скоро самый шустрый из них тянул из карманов две бутылки водки. Стол и стулья заменили ящики с оборудованием. Закусывали салом, заведомо прихваченным Иваном из дома.

После первой рюмки разговора прибавилось, — по всему, до этого они уже выпивали, посыпались анекдоты, новости.

— Да, ребят, — встрепенулся вдруг сидевший чуть в стороне Михон Ларин. Но его никто не слушал, каждому хотелось сказать что-то своё.

— Ребят, дайте сказать немому, — жалобно протянул Михон, — убийственная новость.

Шум немного поутих.

— Наталья, телятница что, пропала.

В складе враз наступила тишина.

— Как пропала, — не понял Иван.

— А так. Два дня на ферме не было. Ездили домой — дом закрыт на нутряной замок. Думали — загибла. А сегодня раму вынули, а дом пустой... Пропала.

В поднявшемся шуме-гаме никто не заметил, как побледнело у Ивана лицо, скованное страхом сердце остановилось, в глазах потемнело. Поднес ко рту рюмку с водкой, выпил, но закусывать не стал. Оставаться здесь и слушать несуразные разговоры о близком ему человеке Иван не мог. Молча встал и незаметно вышел за ворота.

Тихий вечер охватывал деревню со всех сторон. Запад ещё подогревали красные языки пламени, их отсветы невероятным образом окрасили облака, что гуртовались на восточной стороне неба, и на всем земном, доступном человеческому глазу, просматривались усталостё не зная, сколько в ней правды, он тем не менее уже терзал себя вопросами, что могла сделать с собой Наталья в минуту отчаяния. И становилось страшно от мысли, которая начинала преследовать его: а вдруг она покончила с собой? Невероятно, но ведь она может остаться при своём мнении, считать его непорядочным человеком, который ради своего удовольствия надсмеялся над нею, поигрался, как с игрушкой, и бросил. Предполагать для неё основания были: мол, исцарапали не зря — раз, глаз не кажет к ней — два, ну и решится...

В таком возбуждённо-придавленном состоянии и пошёл он к дому родителей. Ноги сами принесли его сюда, очевидно, о своей семье в эти минуты заботушка его не брала, а в складе сидеть в подвыпившей компании не мог, и родительский дом сейчас был единственным местом, где его мятущаяся душа нашла бы успокоение.

Зашёл, поздоровался. Мать хлопотала возле газовой плиты. На сковородке, накрытой крышкой от кастрюли, шипело и постреливало. Намереваясь заняться сковородой,

мать только полуобернулась в его сторону со словами: «Чтой-то, на ночь глядя?» — снова занялась своими делами.

Отец сидел под лампочкой, низко свисавшей посреди кухни, и, орудуя шилом и цыганской иглой, обшивал кожей пятку валенка.

— Проходи, что подпёр притолоку, — с какой-то грустью, как показалось Ивану, сказал отец. — Вот стулья, садись.

Иван сел возле окна, в которое безуспешно пыталась просочиться сумеречная синева.

— Откуда? — спросил отец.

— В Орел ездил. Оборудование на молочный блок привёз. Да вот хлебушка вам занёс.

— Хлеб-то нужен, — отозвалась мать. — Посылала этого, — и ткнула пальцем в сторону отца, — так не пошёл.

— Что ты меня целый день точишь? — вспыхнул отец. — Сатана! Дай мне покой... Не идут ноги, еле двигаю.

Он в сердцах бросил на пол валенок и, уже обращаясь к Ивану, заговорил более спокойно.

— Вот сатана... Веришь, ослаб я что-то со вчерашнего дня, ноги не слушаются, а она исходит: «Чего сел? Чего сел?» И целый день шпигует, а сама как заводная. И откуда у неё силы берутся...

— Не бойсь, не сдохнешь, тебя еще колом не пришьешь. Женить можно, — сердито заговорила мать. — Водку жрёт еще как. Налью стопку — не пьет, мало, значит, подставляет стакан — дай ему норму. Табаком провонял, целый день дымом задавил. Вылитый Царёк, не умирал.

Уже давно, Иван и не помнит, с каких пор, мать не называла своего мужа по имени, зато в ходу у нее были нарицательные имена «этот», «дед» — это, значит, все он, или могла обозвать Царьком, тем самым попрекнуть мужа его отцом. Чем был плох Иванов дед, по-деревенски — Царёк, никто сказать не мог, но материнская нелюбовь к свёкру с первых лет замужества настолько развилась и окрепла, что к старости мать уже патологически не переносила любые привычки мужа, унаследованные им от предков. Жизнь свою Ивановы старики строили по-крестьянски прочно и жили безбедно. Размолвки в доме случались, но их можно

было назвать скорее разногласием при обсуждении каких-то вопросов. Допустим, отец говорил, что надо покупать поросят, так как февраль проходит, а мать, наоборот, не соглашалась, рано, мол, замерзнут и сядут в росте, и каждый приводил свои доводы. Пошумят-поволнуются, но в конце концов отец не выдерживал, в сердцах плевался и замолкал, давая понять: мол, что хочешь, то и делай. Мать, конечно, из этого делала свой вывод: «Царьки никогда хозяевами не были!..» — и до следующего обсуждения по такому же сценарию.

— Ужинать будем, — сказала мать, И, пока отец убирал с пола и со стульев атрибуты своего ремесленничества, она поставила на стол сковороду, в которой, как оказалось, жарилась картошка с грибами, следом появилась тарелка с малосольными огурцами, а Иван нарезал хлеба.

— Старуха, а выпить у тебя есть? Налила бы, — и с этими словами отец поставил на стол два стакана.

— Ивану налью, а тебе нет, — сердито ответила мать. — Слава богу, с утра наглотался.

— А мы и без тебя выпьем, — как бы не замечая ее сердитого тона, полусутоливо-полусерьезно сказал отец. — Это я тебя испытать.

Он нашарил под столом валенок и достал из него поллитровую бутылку, как определил Иван по запаху, самогона.

— Всю жизнь так, — пожаловалась мать, — то в сене, то за стрехой, то в ульях похоронки устраивает.

Он наполнил стаканы, но в тот, что был ближе к Ивану, налил поменьше, в свой — побольше, а бутылку заткнул пробкой и поставил на пол, рядом с ножкой стола.

— Ну что, Иван, ужинать так ужинать, — и поднял стакан. Пил он медленно и как-то торжественно, что ли, словно совершал ритуал. Мать и здесь осталась верна себе.

— Во, глотает, как крокодил. Когда ж ты наглотаешься? — приговаривала она. — В свете нет больше такого.

Отец только усмехался, крутил седой головой:

— Хватает же духу! Что ни сделаю, обязательно оговорит.

Иван выпил самогона, и к нему неожиданно пришло сосущее чувство голода, ведь за целый день он практически не положил в рот ни крошки. Хмель ударил в голову,

по телу разлилась горячая волна, но это не мешало ему работать ложкой.

Мать за стол не села, все гремела посудой у плиты, наблюдала, с каким аппетитом он откусывал хлеб, грыз малосольные огурцы, и будь Иван повнимательней, заметил бы, что смотрит она на него каким-то сурово-осуждающим взглядом.

— Как живёте? — уже убирая со стола посуду, спросила мать. — гляжу как-то, в магазин ходила, идёт внук. Здоровый вымахал, женить скоро.

— Сerezька-то? Да растёт. Скоро электрички водить будет. Ещё год учиться.

Его сын Сергей, самый младший из детей, не по годам рослый, крупный в кости, в сельскохозяйственном техникуме учиться не захотел, а поступил в железнодорожный. Учеба ему была не в тягость, а спокойный характер и неиспорченность дурными привычками, коими Иван считал курение и выпивки, подавали надежду, что парень самостоятельно найдёт свою дорогу в жизни.

— На выходной приезжал, — пояснил Иван, — денег ждали, рюкзачок наложили поесть. А до женитьбы еще далеко. Еще доучиться надо, потом армия...

— Доучиться... армия... — перебила его мать. — В отца пойдет — не удержишь. Сам-то в какие годы женился, да и сейчас по бабам истрепался.

Голос её вдруг посуровел, но чувствовалось, что в глубине души жила материнская доброта.

— С одной дерёшься, к другой ездешь... — мать оставилась у стола, поставила на край чашку, которую вытирала полотенцем, и вдруг погрозила ему пальцем. — Иван, чтобы на поселок больше не ездил, все Машке расскажу.

Иван опешил: откуда мать могла узнать, что у них с Натальей? А если знает она, то, считай, для всего колхоза это уже не новость.

— Больше набрешут, — выдохнул Иван. А что он еще мог сказать? Правду? Страшно, хотя...

— Брехать — не пахать: брехнул — и отдохнул, — подал голос молчавший до этого отец.

— Ты ещё, кобель старый, — налетела на отца мать. — В тебя он пошёл. Век не забуду: пришёл, меня просватал и сразу от меня с гармошкой через речку поперся, на гулянку. Вышла на улицу, слышу: девки визжат, частушки, а его гармония на всю округу надрывается. А я, дура, дома сижу. Как же, просватали!.. — с иронией протянула она и вышла, держа на весу ведро с помоями.

Тяжёлую тишину нарушил отец.

— Правда? — спросил он, прикуривая сигарету.

То ли от того, каким тоном был задан вопрос, или же так сложилась ситуация, что мать к поступкам сына относилась осуждающе, а отец как бы проявлял участие, но Иван почувствовал душевную лёгкость и с такой же лёгкостью утвердительно кивнул головой.

— Да.

— И давно?

— Да... Хотя как считать. Но давно.

Отец пососал сигарету, перебросив её из одного угла рта в другой. Курил он своеобразно: никогда не делал глубоких затяжек, а весь смак курения видел только в сигарете, которую мог держать во рту, не вынимая, часами, пока она не истлеет. Сигарета могла тлеть долго, но чаще она без глубоких затяжек загасала быстро, и за делами отец этого не замечал. Чиркнет спичкой, снова прикурит, пыхнув два-три раза дымком, — и снова за дела. Работает, гоняя на кончике языка сигарету слева направо и справа налево, попыхивает легонько и опять не заметит, что соска его уже холодная. Процедура эта в течение дня могла повторяться множество раз, во всяком случае, коробка спичек ему на день не хватало, а сигарет выкуривал не больше трёх.

Отец вынул сигарету изо рта и мизинцем той же руки, которой её держал, сбил пепел в консервную банку, стоящую на подоконнике, очевидно, для этой цели:

— Ничего тебе не скажу, Иван. Маруся хорошая... Ты взрослый, делай, как знаешь.

— Делаю. Как — ещё не знаю, — сказал, вставая, Иван и пошёл к порогу. Встречаться с матерью снова ему не хотелось.

Рассветало медленно. Тревожа ночную тишину, по деревне дурачились петухи. Утро лениво зажигало в окнах неяркие огни, а холодное низкое небо ещё держало за ставнями тёмных туч жизнеутверждающие потоки дневного света. Кажется, так было и вчера, и позавчера. Новый день медленно входил в свои права, чтобы потом уже до самого заката вершить на земле добрые дела. Но почему «добрые»? Лёжа в потёмках, Наталья никак не могла уяснить, что же доброго для неё принесли эти последние дни. Ровным счётом — ничего. Все они были какие-то серые, безликие, хотя и стояла золотая пора бабьего лета, и, очевидно, этот день будет таким же, если не хуже.

Что Иван ушел и не возвращается, было свершившимся фактом. Иногда ей казалось, что он ушёл навсегда, и вслед за этими мыслями Наталью охватывало чувство страха. Приступы отчаяния, горького осознания одиночества налетали всё чаще и чаще, и в такие часы лицо её темнело, теряло привлекательность и красоту. Так бывает в природе, когда загорается разноцветьем макушка лета — красавец июль, щедро ухоженный теплом и светом; но в один из дней налетит неизвестно откуда ветер, нагонит тучи, и ещё не успеют упасть первые капли холодного дождя, как вся эта красота стремительно блекнет, потом темнеет, потому что тучи опускаются ниже и ниже, чтобы только потом смешать эту красоту с водой и пылью. Иван ушёл в субботу, размышляла она, значит, пошла уже третья неделя её одиночества. И каждое утро, расчесавшись перед зеркалом, она подходила к отрывному календарю, висевшему тут же, между зеркалом и окном. Постоит, погладит листок, на котором огнем горит цифра «13» и слово «суббота», но не отрывает его: красный день календаря черной датой в её жизни. Пусть и останется на память последняя веха...

Все б ничего, но хранит Наталья в себе ещё одну великую тайну их украденной любви. Никому её не открыла, даже Ивану, хотя кто знает, не случись этой размолвки, возможно, и рассказала бы ему... Да, Ивану рассказала бы непременно, потому как уже давно доверилась ему во всё.

Он обязательно должен знать, что у них будет ребёнок, пусть не скоро, но будет обязательно, и она это знает...

Уже надо было делать домашние дела, а вставать с постели не хотелось. Наталья гнала тревожные мысли прочь, но они не уходили. «Ведь хлопнул же дверью и не возвращается, — думалось ей. — Вдруг насовсем расстались? Что тогда с дитём? Пустить на свет — осудят люди... Хотя людской суд не страшит. Пугает другое: Ивана потеряла, а без отца ребёнку будет плохо. Да и ей тоже».

И снова налетел приступ отчаяния, который, словно вихрь, закружил Наталью, что дрогнуло её сердце, за что позднее, в светлые минуты раскаяния, не раз казнила она себя.

В тот день она жила словно в густом тумане, никого не видела, а голоса людей еле доносились до её слуха. Что Наталья сделала над собой в тот день — одному богу известно, но, потемневшая и разбитая, словно придавленное бурей разноцветье, уже к вечеру она нашла в сарае лопату и, орошая слезами землю, выкопала под грушей глубокую ямку, где и похоронила частичку себя и своей жизни, прошедшей и будущей.

На второй день после тайно совершенного над собой насилия Наталья стала выглядеть ещё хуже. Она схудала телом, щеки впали, нос заострился, и вся она как-то обмякла и сделалась ещё темнее, словно много дней пролежавшее под проливными дождями сено. Наполненная дурными мыслями, она сжалась в комок, омертвела; и порой казалось Наталье, что сердце её, ещё совсем недавно весело стучавшее, замирает на полушаге, как маятник в испорченных часах. Для неё уже не интересно было, какой наступил день недели, о чём говорит радио; с каким-то безразличием она думала о телятах, которых уже второй день поил и кормил кто-то другой, потому что Наталья не нашла в себе сил, чтобы собраться и пойти на ферму. Лишь однажды вышла за порог, выпустила кур, даже не бросив им ни горсти зерна, и опять с непонятным испугом скрылась за дверью.

В кровати её начала бить непонятная дрожь. Наталья до подбородка натянула на себя одеяло, но дрожь не

проходила. Прижимая руками колени к животу, как бы пытаясь противостоять силе, беспокоящей её организм, она вдруг отчётливо осознала, что это состояние вызвано не холодом, не какой-то болезнью, а испугом: в глубине души её родилась и медленно вызревала мысль о бесцельности её земного бытия. Есть ли смысл жить на белом свете, когда всё самое дорогое и ценное для неё позади? Она не хотела жить прошлым, потому что там, позади, было не только хорошее, но и плохое, неприятное для неё в сегодняшней жизни, а ходить сегодня в обнимку с надеждой на хорошее будущее она уже не хотела, так как слишком много лет уже делала это, не понимая, что делала не правильно. Ей не хотелось жить, и Наталья начинала это осознавать.

Через минуту дрожь прошла. Наталья встала с кровати, повела бессмысленным взглядом по углам. Взгляд не зацепился ни за чугунки и кастрюли, выстроившиеся на лавке возле газовой плиты, ни за большой кусок говядины, который принесла перед этим из колхозной кладовой и с которым надо было что-то делать, а тормознулся на шёлковой бельевой верёвке, висевшей на своём обычном месте, на гвоздике возле окна. От мысли, что ей нужна была только веревка, Наталье сделалось страшно. «Господи, до чего же я дожила, — в ужасе подумала она. — Я ли это?» Присела на кровати, положила на колени руки, погладила их — сперва левую, потом правую, потом прислонила их к щекам: шершавые, загрубевшие от холодной воды и грязи, они были для неё как чужие, словно подброшенные птенцы. «Господи! — терзалась Наталья. — Что я... дура... себя своими руками... за что? Какая вина? Что родилась и детей нарожала, и ещё хотела?..» Это было её пробуждением. «Да, а дети?.. Забыла о них...»

Она ещё посидела в тяжелой тишине дома, и, как ей показалось, в груди чуть отлегло, она почувствовала щемяще-надрывный стук сердца.

Через полчаса деревня осталась позади. Наталья остановилась, опустила сумку на траву, рядом с тро-

пинкой, и посмотрела туда, где за пестротой осеннего сада стоял покинутый дом. Трудно сказать, что заставило её оглянуться, ведь все эти полчаса она шла, не оглядываясь, и в мыслях у неё не было ничего такого, что напоминало бы о доме. И даже когда собиралась в дорогу, для неё было безразлично, что взять с собой, что останется со всем этим без хозяйки, да и вообще не знала, возвратится ли она сюда. Стояла, смотрела, словно уходила надолго и старалась запомнить до мельчайших подробностей всё, что её окружало на последнем отрезке жизни. Сумка Наталью не отягощала, так как положенное в неё было легковесным. «Пойду посмотрю на детей. Как-то они там живут, — рассуждала она, когда собиралась в дорогу. — Ни разочка не была у них. Пусть недавно были, отнесу им поесть, переодеться». Но первой на дно сумки легла бельевая веревка. Всё, что пережила Наталья за последние дни, тяжким грузом лежало на сердце. И эта просёлочная дорога также не была в радость, хотя и шла она проведать своих кровиночек, как нередко называла дочурок. Старшая, Настюшка, была большой хохотушкой, учёба давалась ей легко, и так довольна была Наталья ею, что иногда в беседе с кем-нибудь об успехах дочери её переполняло чувство гордости и на глазах выступали слёзы.

Лариса, младшая, была полная противоположность Настюшке. Суровая на вид, немногословная, она отличалась усидчивостью и могла часами не выпускать из рук учебники, чтобы потом принести из школы пятерку. Но зато в свободное время Лариса с увлечением кулинаричала, и никто не мог приготовить вкуснее её салат или испечь пирог с яблоками, торт или блинчики.

Девочки закончили восьмилетку и теперь учились в райцентре, где была неплохая одиннадцатилетка с пришкольным интернатом, ставшим для них вторым домом. Туда и пришла Наталья во второй половине дня. Возле интерната было тихо. Она поднялась по высоким порожкам, открыла дверь. В коридоре хозяйничала женщина в тёмно-синем халате, воротник которого был расшит замысловатыми ярко-красными узорами.

— Мне бы Савельевых, — сказала от порога Наталья.

— А вы кто? — подходя к ней, спросила женщина.

— Мать я их.

Женщина внимательно приглядывалась к ней, очевидно, хотела что-то ещё спросить, но вдруг передумала:

— Мать? Это хорошо, что зашла. Но их нет. В школе они, готовятся к празднику. Пришли, поели и умчались, — и, очевидно, обратив внимание на её неважный вид, предложила. — А вы проходите... вот сюда присядьте, к окошку.

Наталья покорно прошла, села на стул, а сумку положила на колени.

— К Савельевым, — то ли переспрашивая, то ли утверждаясь в услышанном, протянула женщина. — Хорошие девочки. Я комендантшей тут, всех знаю. Хорошие девки, и учатся хорошо. Вон их фотографии на доске почёта. А уж порядок любят...

Она всё ходила по коридору, потом гремела вёдрами возле порога, отнесла в дальний угол какой-то стенд, и все это время приговаривала и приговаривала, как гусынька, которая готовится сесть в гнездо и оставить там очередное яйцо. Наталья слушала комендантшу вначале вроде бы равнодушно, но через минуту от равнодушия не осталось и следа. Да и как иначе, если это о дочках так хорошо говорят, о Настюшке и Ларисе. Необъемное чувство гордости наполнило Наталью, тело обожгло жаром, в груди сделалось тесно, и она вдруг почувствовала, как тяжело, с надрывом заработало сердце; голос комендантши неожиданно сделался глуше, слова её стали доноситься словно бы издалека; в глазах у Натальи потемнело, и она уже не видела и не слышала, как упала со стула на пол, как напуганная комендантша вызывала «скорую помощь» и отправляла её в больницу.

День клонился к закату, во всяком случае, так предположила Наталья, когда открыла глаза и увидела за большим двойным окном чистое синее небо и на противоположной стене обилие солнца. Вот только не могла понять, где находится. Небольшую комнату с двумя кроватями, возле которых стояли невысокие тумбочки, пронизывали косые лучи солнца, и Наталья, обнаружив в памяти большой провал,

предположила, что, сломленная событиями последних дней, она на пару часов заснула в школьном интернате.

Но вошла молоденькая медсестра, как потом она узнала, Света Травкина, и после «Доброго утра» в нескольких словах прояснила картину, как оказалось, вчерашнего дня.

— Савельева, мы так испугались, — нежным голосом, в котором ещё жил вчерашний страх, рассказывала медсестра. — Я одна, врача нет, отъехал в магазин, а вас несут на носилках. Под головой халат... Вот он, кстати.

Наталья увидела на тумбочке, что стояла возле другой кровати, тёмно-синий халат с вышитым красным узором на воротнике. Света Травкина, мило улыбаясь, присела на край кровати, быстренько замерила давление, сунула Наталье в руки градусник и ушла. И только после этого Наталья пришла в себя, уяснив, что за окном не вечер, а утро, что в школьном интернате с ней приключилась беда, и лежит она в больнице, причем со вчерашнего дня.

Света Травкина заходила в палату ещё дважды — сделала два укола, забрала градусник, принесла таблеток. А потом к Наталье пришло осознание того, что вчерашний день мог быть последним в её жизни, что она могла больше не увидеть ни этого синего неба за окном, ни солнца, набирающего силу, ни своих дочерей. Они примчались к матери, когда еще не закончился обход. Заведующий отделением, уже немолодой, медлительный и немногословный, осмотрел Наталью, что-то буркнул себе под нос, мол, посмотрим ещё завтра, и вышел из палаты. И тут же дверь снова открылась, они впорхнули в палату, как встревоженные птенцы.

— Мамка, что с тобой? — испуганно зачастила Настюшка. — Что-то худая стала. Болеешь, мамк? Смотри, не умри.

Она присела на край кровати, руками сжала пальцы Натальиной руки и все говорила, говорила, не сводя с неё глаз, словно пыталась увидеть на лице матери причину, из-за которой та оказалась в больнице.

Дикая боль пронзила её тело, добралась до сердца. Лариса молча стояла рядом, также испуганно таращила глаза, из которых уже выкатывались крупные слезы. Смешанное чувство душевной боли и раскаяния, обиды за свою жен-

скую слабость и материнская тревога за судьбу детей — всё это неожиданно обрушилось на Наталью, заполнило каждую клеточку её больного тела и прорвалось наружу горькими слезами и всхлипами, идущими из самого сердца.

— Мамк, — причитала сквозь слезы Настюшка, — ты что пришла? Что с тобой?

— Да ничего, кровиночки мои, соскучилась по вас, вот и пришла проведать. Принесла вам кое-чего.

— Мам, — заговорила уже Лариса, вытирая платочком слёзы, — о нас нечего волноваться, у нас всё хорошо и всего хватает.

— Ну и хорошо, если хорошо. А у меня заболела душа по вас поутру, думаю, посмотрю, как вы тут.

— А мы сами домой на выходной собирались, — сказала Лариса. — Кое-что взять к празднику.

— Я вам привезла платяица, поесть.

— Видели, мамк. А веревку-то бельевую зачем?

Наталья замешкалась. Что сказать детям? Она и сама не помнила, как положила её в сумку. Она и не собиралась это делать, очевидно, мелькнувшая в подсознании мысль уйти из жизни оставила свой след; и, убитая горем, больная душой и телом, Наталья уже не сознавала, что делала, словно кто-то другой, враждебно настроенный к ней, подложил под руки это древнее орудие самоубийства. И выдавила сквозь слезы:

— Бельё снимала, да так в сумке и осталась. В суматохе не выложила.

— А что плачешь, мамк? — также сквозь слёзы спросила Настюшка.

— Я, дочк, сейчас часто плачу. Плохо мне... Гляжу на вас, а слёзы сами и текут. А вы-то что разревелись?

— Тебя жалко, плохая ты стала... правда.

Они ещё долго сидели втроём, вспоминали прошлое, когда им было хорошо и весело; вспоминали и плохое, но уже не так трагично говорили об этом, и уже не было на глазах слез, словно по-матерински ласковое осеннее солнце поднялось повыше и высушило их.

Под вечер погода неожиданно испортилась. Серые гребнистые облака неслышно заслонили синеву неба, сделалось сумрачно и тихо, но чувствовалось, что где-то рядом, затаившись до поры, накапливает силы ветер. Иван в темпе убрался на скотном дворе, загнал в откосок гусей и поспешил к дровяному сараю, возле которого с самого лета досыхали нарубленные дрова. Бурт с картошкой он укрыл соломой ещё до обеда, словно чувствовал, что погода начнет ломаться и придут дожди. Теперь надо было срочно прятать под крышу дрова. Работа не трудная, но требовала времени, и, как прикинул Иван, одному ему быстро не справиться.

«Пойду-ка соседа позову на помощь», — решил он, и узенькой тропинкой, протоптанной во время взаимных визитов, заспешил к его дому. Сосед Гаврил Хомутов был человеком общительным, и пусть любил выпить, зато в отношениях с людьми проявлял порядочность, в самом лучшем понимании этого слова, чего нельзя было сказать о его жене Варваре. В деревне её почему-то редко называли по имени, а всё больше Хомутихой. Некрасивая на лицо, которое ещё больше портил единственный раскосый глаз, она тем не менее имела перед деревенскими бабами ряд преимуществ: неизвестно откуда узнавала первой все новости и была остра на язык. За густыми кустами сирени, что тянулись вдоль изгороди, слышались человеческие голоса, и один принадлежал Хомутихе. Наперебой жене бубнил Гаврил, но вот кто ещё был участником разговора, Иван так и не определил. Он замер у калитки: показалось, что говорили о нём... да, о нём.

— Хватит брехать, брехня это, — сердито одергивал кого-то Гаврил.

— Не брехня! «Брехня»... — передразнила его Хомутиха.
— Какая брехня, если вчера её в больнице видели. Уже ходила, сегодня должна была выписаться. Не брехня. Посмотри на Ваньку — сам не свой...

— Тебе какое дело? — это опять Гаврил. — Ты что, в ногах стояла?

— Будя орать, а то поору...

— Не, Варь, не городи. Не может быть... — голос третьего человека был знаком, а вот чей, Иван вспомнить не мог.

— А я говорю, может, — настаивала Хомутиха. — Они давно знают, это точно. Да лопни мой последний глаз, вторая её девка — вылитый Иван.

— Не-е-е.

— Да!..

Иван дальше слушать не захотел, стараясь не шуметь, повернул назад. Он был в смятении. После того, как неизвестно куда пропала Наталья, прошло несколько дней. Собственно, никто и не говорил, что она пропала, всё больше звучало это так: «не вышла на работу», «куда-то уехала, не отпросившись ни у председателя, ни у зоотехника или заведующей фермой». Причину никто не называл, а догадывался о ней только один он. Во всяком случае, так Иван предполагал. Но то, что сейчас услышал, его потрясло.

«Вот тебе и на, — размышлял он. — Ещё один бубен».

С такими мыслями и принялся за дрова: накладывал чурки на мешок, нёс в сарай, с замахом сбрасывал их с мешка и шёл за новой порцией. Сумерки окутали землю. В доме Маруся зажгла свет, занятая своими делами. Иван не стал привлекать её к этой работе, считая, что у неё и своих дел невпроворот, да и не женское это дело. Бивший из окон свет позволял ему работать, но даже не будь света, Иван все равно носил бы по темноте: ему нужна была именно такая работа, которую мог выполнять автоматически, с зажмуренными глазами, ведь в думках своих он был уже не здесь.

Подслушанное позволяло предположить, что Наталья отлежала в больнице и теперь находится дома. А ещё можно предположить, что в колхозе только на эту тему и будет разговор. Ивана это не пугало, с каких-то пор ему было всё равно, что говорят о них, кто говорит. Поговорят-поговорят и перестанут. И сегодняшнее его смятение от подслушанного — всего лишь обычная реакция на событие. Надо же, как оперативно комментируют события... Что-то, конечно, прибавят, домysлят...

Иван уносил в сарай последнее, когда в окнах погас свет. Это значит, было уже поздно, жена отхлопотала по дому и легла спать. Он прикрыл дверь сарая, присел на пенек, закурил, но смог сделать всего несколько затяжек. Бросил сигарету на землю, растоптал её подошвой сапога, и уже через минуту его фигура слилась с густой темнотой прохладной осенней ночи. Ноги сами несли его туда, где страдал и мучился самый желанный для него человек. По памяти нашёл тропинку, что вела к дому Натальи, и за всё время, пока шёл по ней, спотыкаясь и чуть не падая, временами сбиваясь и снова находя её, как разъединственную нить, связывающую его с большим и светлым миром, он так и не смог успокоиться.

Наоборот, сердце его стучало всё сильнее и сильнее, оно наполнялось непонятной тревогой, а те слова, которые ещё недавно повторял и повторял, как молитву, ушли из памяти, как будто растерял он их в этой ветреной темноте. Что сказать Наталье? Как объяснить ей, что в этих днях он метался, словно раненый зверь, умирал без неё и в то же время не мог пойти к ней, потому что рана эта была глубокая, она не давала покоя, приносила боль и страдания, а заглушить их могла только Наталья? Как объяснить Наталье, что он весь, без остатка, принадлежит ей; что он, как слеза незамутненная, чист в своих помыслах и поступках, и состояние его души встревожено, словно в тихую речную заводь бросили камень?..

Калитку Иван открыл с шумом, на что Муха твякнула пару раз, как бы для порядка: она давно признала его, наверное, считала своим хозяином, во всяком случае, как заметил Иван, когда приезжал на ферму, Муха быстро находила Воронку, весело облаивала его и потом любила подремать в тени под телегой. В доме горел свет; занавешенные окна выбрасывали его на дорожку, и Ивану он показался довольно ярким, чуть ли не прозрачным. Подошел к окну, заглянул поверх занавески. Наталья стояла возле стола, на нём ворох белья, утюг, – очевидно, гладила. Иван не шевелился минут пять, смотрел и смотрел, не отрываясь, ловил каждое её движение и всё ждал, когда она повернется в его сторону, чтобы увидеть лицо, васильковые глаза.

Она не поворачивалась, утюг скользил по столу, и Иван, больше не раздумывая, постучал в окно. Увидел, как Наталья вздрогнула, утюг замер в её руке. Так и стояла какое-то время, не двигаясь, пока, наверное, не почувствовала запах подпаленной материи; потом поставила утюг и пошла к двери. Иван метнулся к порогу. Загремела задвижка, и он услышал Натальин голос.

— Кто там?

Конечно, это был голос её, Натальин, но чем-то уже не такой, какой слышал он не раз за этой дверью: в нём жила болезненная грусть, смешанная с тревогой, какая-то просветлённая печаль, но самое главное, что уловил Иван, не стало в нём былой радости.

— Наташ, я, — отозвался Иван.

Сердце бухало в груди, во рту пересохло. Иван застыл в ожидании, и если бы дверь не открылась, сердце, наверно, не выдержало напряжения, и он упал бы на порог и больше не поднялся. Дверь открылась. Наталья стояла перед ним секунду-другую, потом вдруг зашаталась, так как ноги уже не держали, и, не подхвати её Иван, наверняка упала бы. Он крепко держал Наталью, прижимая к себе и чувствуя трепетное биение её сердца. А Наталья обвила руками шею любимого человека, бессильно уронила голову ему на грудь, и ещё долго глухие женские рыдания подхватывал ночной осенний ветер и уносил в космическую высь. Они стояли в густой темноте ночи, ещё чужие, но не одинокие, согретые теплом украденной ими любви.

Такое состояние души человеческой в природе бывает не часто, и редко кто может это предугадать, как не могут наперед знать люди, где и когда они допустят роковую ошибку. Иван и Наталья также не сумели этого сделать, но, страдая от одиночества, сгорая в огне вспыхнувших чувств, они нашли в себе силы выстоять; они снова шли навстречу друг другу, и уже ни его, ни её нельзя было упрекнуть за это, потому что чувства их прошли суровое испытание, и они снова были вместе.

Время бежало незаметно. Ещё недавно холодные ветры со свистом обрывали в садах последнюю листву и расстилали её по дорогам, чтобы потом, грязную и скрученную морозом, укрыть толстым слоем снега; ещё вчера разгуливали над речными поймами тёплые дожди и буравили оттаявшую прель зеленые шильца травы, чтобы через полтора-два месяца там вымахало по пояс людям разнотравье, и потом все это скошенное и уложенное в скирды добро неспешно переправлялось в тёплые коровники и телятники, радуя людей и давая им надежду наперёд. Это значит, незаметно прошёл ещё один год, не менее сложный и для Ивана, и для Натальи.

О трагедии, случившейся в их личной жизни, никто ничего не знал, а могли только догадываться; и хотя пересуды, похожие на свитую верёвку, ещё тянулись по деревне, они уже не были горячей темой дня, на них уже не обращали внимания, воспринимая отношения Ивана и Натальи самыми обычными, как нечто естественное. Словно гонимые ветром грозовые тучи, эти нехорошие дни обходили наших героев стороной, над ними, как и прежде, светило солнце и было тепло и тихо. Наталья, выплакавшая море слёз, выправила душу и телом, наладился и голос, так что она снова была такой же, какой однажды открыл её для себя Иван: густые накрученные пряди волос из-под фиолетового платка, васильковые глаза. И только пристальный взгляд мог заметить, что несколько поблекли их цвета — и платка, и густых прядей, и глаз.

Иван жил той же размеренной жизнью. Проедет по фермам, поговорит с людьми, подлечит скотину, причем делал всё это теперь основательно, не наспех. Не обходил стороной и телятник, где снова работала Наталья, естественно, и дом её. Он даже стал заезжать к ней чаще, не стеснялся и детей, если они были дома. И только одна Хомутиха, с кем бы ни секретничала, постоянно ворошила прошлое и всё тем же одним глазом пыталась заглянуть в будущее. «Лопни мой последний глаз, а вторая девка его, — бубнила она, — они и ещё сгородить могут, не старые».

И как покажет время, циклопий глаз Хомутихи был самым зорким.

Обрывки сплетен долетали и до Маруьски, но она с каким-то спокойствием относилась к ним, словно речь шла не об Иване, а о чужом человеке. И когда однажды Хомутиха, по-прежнему не жалея свой последний глаз, шепнула Маруьске на ухо надоевшую всем байку, та ей в ответ как отрезала: «Смотри, Варька, глаз-то лопнет, как тогда будешь бегать к Евсееву с дыркой».

Хомутиха поняла намёк и сразу прикусила язык, потому что Маруьска попала в самую точку: Хомутиха была безобразна на лицо, но в своих любовных исканиях преуспевала, опережая многих деревенских красавиц. Последним в амурных связях с нею был замечен Игнат Евсеев, большой выпивоха и любитель женского пола.

Но Иван знал, что внешнее спокойствие жены ещё не означало, что для неё было безразлично, чем занимается муж. Конечно, Маруьске были неприятны эти разговоры, она и верила им, и не верила, и сомнения прорывались наружу, как произошло это в один из дней за обедом.

На столе давно дымились щи, а Иван всё топтался возле умывальника, наверное, уже третий раз подправлял бритвой виски. Подбреет с одной стороны, приглядится — вроде бы чуть перебрал; подбреет с другой — недотянул, кажется, и тогда ещё начинает скрести.

— Щи остывают, — поторопила его Маруьска. — Приклеился к зеркалу, как под венец собирается.

— Поди, сама подправь, — отозвался Иван.

— Что там править, под шапкой не видно будет, а через неделю всё сравняется.

— Это через неделю.

— А кому на тебя смотреть-то, кроме меня, — сказала Маруьска. — Хотя твои подружки подсказывают мне, что кто-то у тебя есть...

Потом после небольшой паузы добавила:

— Да, женщина у тебя есть... или две.

— Во выдумывает, — засмеялся Иван. — Что мне с ними делать, коров лечить?

— Найдёте что делать, — кисло сказала Маруська. — А не было бы — и не говорили бы...

С этими словами она взяла у него бритву, оглядела виски, как заправский парикмахер, провела ею несколько раз то с одной стороны, то с другой:

— Всё, вид бойцовский, — и похлопала его по щекам. — Теперь все девки твои будут.

Иван решил её подразнить: взял небольшое зеркальце, полупился в него, довольно хмыкнув, и как подвёл итог:

— Ну, не все, а половина точно моя.

Его слова Маруську особо не тронули.

— Пусть и больше, Вань, — отозвалась она от газовой плиты. — Хочется — порезвись, я не против, потому что, кому надо, в этом деле не спрашиваются. Может, тебе молодая нужна, а я, видишь, старая уже.

— Ладно уж, застарела, — теперь Иван и не рад был этому разговору. — Самой бы коляску ещё катать. Нас-то матери рожали уже в сорок...

Но эта Иванова фраза осталась без ответа.

Маруська любила Ивана той неброской, тихой любовью, когда человек не объясняется в любви, но любовь можно без труда разглядеть за его словами и поступками, в его взаимоотношениях с другим человеком. И словно равнинная река, текла их семейная жизнь, с раннего утра до позднего вечера заполненная заботами о домашнем хозяйстве, о детях, которым давали всё, что должны были давать как родители. Маруська справлялась с делами без особого труда и не сетовала на судьбу за хомут, надетый на свою шею после замужества. Она спокойно тянула этот воз, ей даже иногда казалось, что по-другому и не смогла бы жить; она готова была выполнять эту работу без сна и отдыха, если видела рядом с собой Ивана, довольного тем, как по-хозяйски, надёжно делает она свои дела. Довольство это проглядывало во всём — в выражении его лица, в полусуштливых фразах, брошенных в её адрес, и в том, как иногда спешил в чём-то помочь, что было для неё и моральной поддержкой.

Они принялись за еду, и разговор их плавно перешёл в другую плоскость, далёкую от этой темы, древней, но зло-

бодневной во все времена. Пройдёт ещё много времени, пока Ивану не откроется за этим откровением жены доброта её души и готовность к самопожертвованию ради любимого человека.

После рождества морозы спали. Атлантика всё чаще и чаще напоминала о себе сильными ветрами, обильными снегопадами, которые докатывались до серединной России и бесчинствовали на обширной её территории по несколько дней кряду. Деревенские дома занесло по самые крыши, водоразборные колонки и колодцы были под снегом, и, чтобы набрать ведро воды, людям приходилось сначала поработать лопатой. Также трудно пробирались к скотным дворам и подвалам.

Иван по темноте откапывал дверь пристройки, выводил Воронок и быстро впрягал его в легкие санки. Выгresti из них набитый за ночь снег, бросить туда охапку соломы — и вот уже Воронок, пофыркивая и поскрипывая гужами, везёт его на ферму. Иван только держит вожжи, иногда подёргивая ими и похлёстывая по крупу, как бы поторапливая своего верного друга, а дорогу в этой снежной круговерти Воронок находит сам. Да и как иначе, ведь за многие годы умная лошадь изучила дорогу, и бывали случаи, когда её хозяин, хорошо подвыпив и отключившись от реальной действительности, вообще не брал в руки вожжи, но неизменно просыпался возле родного дома, куда самостоятельно доставлял его Воронок. В таких случаях Иван говорил, что добрался домой на автопилоте.

Он ехал на первую ферму, но думки его были в другой стороне, там, где стоял Натальин дом, также продутый ветрами и занесенный снегом. Уже больше недели они не виделись. Да и вообще, теперь они виделись редко. Так уж получилось, что Хомутиха оказалась пророком. В тот самый студёный декабрь новая весть всколыхнула деревню, прокатилась от дома к дому, затем по всей округе: Наталья Савельева беременная и должна скоро родить! То ли земля

гудит от морозов, то ли разговоры-пересуды над землёй стелются. Люди верили и не верили, пока она сама не пришла в бухгалтерию и не положила на стол больничный лист. И всё встало на свои места, вроде бы и разговоры потухли, потому что наговорились на эту тему вдосталь, да и знали, в общем-то, кто к этому причастен.

— Я же вам говорила, — твердила Хомутиха на очередных и внеочередных посиделках в их доме, — Ванька объездил кобылку, Петровичу не доверил.

Бабы мололи каждая своё, словно гусыни, качали головами, но неизменно сходились во мнении, что это Ванькина работа. И только Гаврила недовольно хмурил брови, сердчая на участников несанкционированного митинга.

— Раскагакались. Какое ваше бабье дело до этого, — осаживал он их. — завидуете?

— Чему завидовать? — тарасила на него глаз Хомутиха. — Скоро из пробирки рожать будут. Семена уже берут от мужиков, как от быков... А может, ей Веруха искусственно и впрыснула.

— Будя брехать, сказал, а то я тебе так вспрысну, что черти заберут! — гаркнул Гаврила.

— Чурбан необтёсанный, сидел бы лучше да молчал, — отбивались бабы. — Тебе ли говорить об этом, не чета ведь Ивану, кишка тонка.

Гаврила сердито плевался, окуривал баб дымом, но митингующие не расходились, пока не проясняли до мелочей «политическую обстановку».

Иван понимал, что разговоры докатятся и до жены, узнают и родители, но почему-то относился ко всему спокойно. Вообще-то, тревога жила в его сердце, порой она усиливалась, покалывая острыми иголками, но покалывание длилось недолго. Это тревожное чувство было похоже на ощущение какой-то вины, но какой, перед кем — этих границ ещё обозначено не было.

Не всё суждено было знать деревне. Она, как мельница, перемолола бы все косточки, узнай их великую тайну. Наталья, как и решила, не стала носить её в себе, потому что лежала она, эта тайна, тяжёлым камнем на сердце, и ей одной была не под силу.

Однажды Ивана нашёл Илья. Старик редко появлялся на центральной усадьбе, но если его там видели, значит, можно смело предполагать, по важному делу. Так оно и было: встревоженный Илья перехватил его посреди деревни, когда Иван направлялся на свиноферму.

— Еле нашёл тебя, — отдышавшись, сказал он. — Поросянок что-то слёг, не ест. Посмотрел бы, а то уйдёт на тот свет... Жалко будет.

— Давно не ест? — спросил Иван.

— Второй день.

— Садись, — и он подвинулся к правому борту санок, освобождая место для старика.

Ивану, можно сказать, и некогда было ехать к Илье, его ожидали на свиноферме, но деда словно бог послал, так как появилась возможность заглянуть и к Наталье, а она как раз была на перерыве.

Воронок резво развернул санки, железные подреза зацепили свою извечную песню. Илья ещё прояснил ситуацию с поросёнком, и пока ехали, Иван определил, что это, по всему, рожа навалилась на поросёнка.

Иван уважительно относился к Илье не только потому, что тот каждый год плёл ему плетушки, чинил сбрую. У Ильи можно было поучиться правильно судить о людях, быть не пустомелей, а хорошим хозяином. И очень благодарен был Иван старику за помощь, которую тот постоянно оказывал в трудную минуту Наталье.

Иван не ошибся: у поросёнка действительно была рожа. Сделал ему укол и сразу же хотел уйти, ведь надо повидаться с Натальей, но Илья остановил его:

— Не спеши, молодой человек. Успеешь ещё. Знаю, куда спешишь. Давай-ка лучше помоем руки да присядем за стол.

На столе уже стояла выпивка и закуска. Приглашая его к столу и намекая на Наталью, Илья говорил это без какой-либо насмешки или осуждения, что Ивану понравилось, и он не стал отнекиваться. Выпили по рюмке. Кочан квашеной капусты, разваленный острым ножом на части, сочно хрустнул на зубах. За второй рюмкой Иван выпил три сырых яйца, и ему стало сытно и тепло — водка и еда делали своё дело.

— Спасибо, диду, — поблагодарил Иван, вставая и шутиливо называя Илью по-украински.

— Тебе тоже, — не остался в долгу Илья. — Теперь можешь идти, она дома. Скажу тебе, она теперь не уйдёт, пока не дождётся тебя.

— Всё знает, — улыбнулся Иван, посмотрев на старика, и уже серьёзно добавил: — А мы от тебя и не прятались, сам знаешь. Спасибо тебе, дед Илья, и за заботу о ней, что помогаешь.

— Да уж, какой я помощник, — не согласился Илья, — себе в пору помощников искать.

Иван не стал слушать, хотя знал, что это не так. Когда Наталья оказалась в больнице и дом остался на произвол судьбы, Илья разобрался в сложившейся ситуации и до последнего дня, пока не переступила порог хозяйка, вёл её нехитрое хозяйство: выпускал утром и загонял вечером кур, кормил поросёнка и рыжую Муху, которой пришлось скоромить и протухшее мясо, оставленное Натальей на скамье. Пообещав заезжать, чтобы делать уколы, Иван заспешил к соседнему дому.

Илья как в воду глядел: Наталья не спешила на ферму, заметив привязанную к столбу лошадь, — знала, что зайдёт. И по её виду он понял: что-то ещё заставило её не спешить, что-то беспокоило, хотя задумчивый взгляд был светлым и теплым, словно погожий летний день, подсвеченный васильками. Иван обнял Наталью, потом стал целовать: сначала в губы, потом его губы почувствовали прохладу её глаз и кончика носа, шершавость огрубевших от работы рук.

— Радость моя ненаглядная, — шептал ей на ухо Иван, а сам прижимал и прижимал податливое тело к себе, и так хорошо ему было в тиши этого захолустного дома, как может, не было никогда в жизни.

— Раздавишь, чудной, — тихо сказала Наталья, легко отстраняясь от Ивана и поправляя волосы. — ну что, пообедал у деда?

— Угостился, — ответил Иван.

— Ну и ладно, тогда не буду хлопотать, — голос у Натальи неожиданно дрогнул, она замолчала, но всего лишь

на секунду-другую, затем продолжила: — Я, Вань, что... Да, сейчас оденусь.

С этими словами Наталья набросила на голову пуховый платок, сняла с вешалки и одела пальто. Иван не понимал, что она задумала.

— Пошли, пошли, — спокойно сказала Наталья, беря его под руку, и они вышли на улицу.

Зимнее солнце скупо сочилось сквозь пелену облаков, ветра не было, но мороз поджимал хорошо. Свернули за угол, и она подвела его к груше, стоящей в нескольких метрах от дома. Шли не по целине, снег был притоптан, а из-под свежей ночной пороши кое-где проглядывали такие же следы, какие оставляли её серые валенки.

— Что тут у тебя? — Иван понял, что Наталья ходит сюда часто.

— Он лежит, — глухо ответила она. — Наш...

Как той ненавистной осенью, по её щекам покатались слёзы.

— Не могу... каждый день сюда хожу.

Иван обнял Наталью за плечи.

— Не надо убиваться, — успокаивал он её. — Дура, конечно, но что теперь...

— Теперь ничего, — неожиданно твёрдо сказала Наталья. — Этого не похороню. Этот будет мой.

Они стояли рядом, тесно прижавшись друг к другу, и если бы посмотрел на них со стороны великий художник, он разглядел бы их лица и непременно нарисовал картину или изваял скульптуру в их честь: столько в них было страдания и скорби, твердости духа и любви! И неважно было для Ивана и Натальи, что завтра плохо скажут о них, осудят за украденное у кого-то счастье, они верили в свой завтрашний день, который обещал быть хорошим.

Эти события и вспомнились Ивану, пока исхлестанный метелью Воронок вёз его на первую ферму. Работы для ветврача было невпроворот — телились нетели, надо было брать пробы крови на анализы, обработать лишайных животных, так что Иван и не заметил, как пролетел день. Раз два он выходил к привязанному в затишье Воронку, чтобы дать ему ведро воды и насыпать овса, и снова прини-

мался за свои дела. Домой приехал уже в густой вечерней темноте, поставил коня в пристройку, задал ему корма. Все двери на дворе и в подсобках были закрыты, а это означало, что Маруська справилась с делами, накормила и напоила скотину и живность. Довольно хмыкнув, Иван обмахнул веником снег с валенок и вошёл в дом.

Стоватговая лампочка щедро разбрасывала по кухне свет. В топке веселилось пламя, печная труба утробно отзывалась на порывы ветра, злобствующего вторые сутки, а по всем комнатам и от самой печи, и от труб водяного отопления расплывалось желанное тепло. По кухне плавали сладкие запахи жарившейся картошки — на плите стояла сковорода, в ней шипело, свистело, скворчало.

— Где блудишь? — спросила Маруська, раскрасневшаяся то ли от жары, а может, только недавно пришла в дом, и с её щёк не успел сойти румянец, какой обычно бывает на морозе у здорового человека.

— Где был, — усмехнулся, устало Иван. — Где был, там уже нет, — и добавил после короткой паузы: — За день не разогнулся. Такой вот день.

— А тебя тут ищут. Дед Илья всё ждал.

Она поставила на стол сковороду, сняла крышку, и над столом поплыло небольшое пахучее облачко пара.

— Что там у него? — садясь к столу, спросил Иван. — Вроде бы поросёнок зарезал давно.

— С Натальей что-то плохо, а может, рожать пора. Приходил.

У Ивана ёкнуло сердце, но он не подал вида, что эта новость его волнует. Потянулся к окну, где стояла бутылка с самогонном и рюмка, — они всегда были у него под рукой, не надо было в таких случаях вставать и куда-то за ними идти, — налил, а в другую руку взял огурец.

— Что замолчал? — присаживаясь рядом, спросила Маруська.

— А что я должен сказать? — ответил вопросом на вопрос Иван и разом опрокинул в рот содержимое рюмки; огурец хрустнул во рту как сигнал тревоги.

— Что должен? — переспросила теперь Маруська. Она смотрела куда-то мимо него, как бы в окно, хотя там

ничего нельзя было увидеть, только чёрный её квадрат. — Говорят, ты там бываешь, значит, должен лучше меня знать.

Взгляд её был спокойный, говорила она ровно, без каких-либо эмоций, и весь их разговор напоминал скорее дружескую беседу, чем выяснение такого цепетильного вопроса.

— Да, заезжал кое-когда, но уже давно не был.

За столом сделалось тихо, очевидно, каждый думал о своём; только постукивали ложки, еще дважды тревожно прохрустел огурец, и Ивану показалось неловким дальнейшее его молчание. Вопрос напрашивался сам собой.

— Так что сказал Илья?

— Бестолковый какой-то стал, — рассердилась Маруся. — Объяснила же, с Натальей плохо, а ехать не на чем, да и кто повезёт её в больницу в такую погоду. Так что не трати время, езжай, а то вдруг что...

Маруся не договорила. А Ивану трудно далось это спокойствие. Тревога за судьбу любимого человека не выплеснулась наружу и на этот раз. Он ещё с минуту посидел за столом, сделал пару глотков горячего чаю, и только тогда загремел под ним отодвигаемый в сторону стул.

Через десять минут он снова впрягал в санки Воронка; ещё немного — и поглотила бы его снежная круговерть и Маруся не успела бы отдать ему забытые возле порога рукавицы.

Воронка легко нашёл дорогу до Натальино дома, ни разу не сбился в сторону, и когда уже в нескольких метрах вдруг разглядел Иван сквозь мутную пелену снежного крошева светящиеся окна, по-настоящему оценил достоинства своего верного друга.

Входная дверь не была заперта на задвижку, и когда он вошёл в дом, первое, что бросилось в глаза, — бледное, вымученное лицо Натальи. Она сидела на кровати, опустив ноги на пол, потом тяжело поднялась:

— Пораньше-то нельзя было?

— Знаешь, — виновато улыбнулся он, — целый день не был дома, только недавно приехал. Да я и не думал, что так быстро.

— Вань, надо ехать, не опоздать бы нам. Боюсь...

Всё, что надо было для больницы, она уже приготовила. Иван осторожно помог одеться, так же осторожно вёл её от дома и усадил в санки, затем накрыл с головой ватным одеялом. Ночь завывала вокруг них на разные голоса, хлестала снегом по глазам, набивала его за ворот и в рукава. Они ехали уже около получаса. Деревня была позади. Воронок без особых усилий тянул санки, при этом низко опускал голову, скорее всего, искал защиту от ветра. Санки утопали в снегу, порой наклонялись, переваливаясь с сугроба на сугроб, и тогда Ивана охватывал страх, что Наталья вывалится. Неожиданно Воронок замедлил ход, потом дернулся в сторону и остановился. Не поняв, в чём дело, Иван вылез из санок и, держась за оглоблю, по снежной мути обошёл вокруг лошади. Причина прояснилась: супонь прослабла, гуж соскочил с оглобли. Заложив рукавицы за пазуху, Иван распустил супонь, поставил гуж на место и снова туго затянул супонь. Сев в санки, приподнял край одеяла, спросил:

— Как ты там?

— Да ничего, — услышал тихий ответ. — Хотя тяжело.

— Ну, потерпи, — и его карета скорой помощи тронулась дальше.

Но вдруг Иван заметил, что ветер изменил направление: то дул с правой стороны, а теперь как бы зашел сзади, хотя, как он помнил, дорога всё время должна была идти прямо. Подумал, что Воронок потерял её, а тот и сам, видимо, почувствовал это, проваливаясь в глубокий снег, и остановился. Иван дернул правую вожжу и пустил лошадь наугад. Через десяток метров они выехали на дорогу, но ещё дважды теряли её; и опять распрягался Воронок, а время между тем не стояло на месте. Сколько времени они уже ехали, Иван сказать не мог, но по каким-то незначительным приметам — по дереву, проплывшему мимо, по тёмной гривке бурьяна вдоль дороги — он определил, что не проехали и полпути, как вдруг Наталья позвала его. Иван наклонился к ней и сквозь завывание ветра услышал Натальин стон, почувствовал, как задергались под одеялом её руки. Он понял: не сумел сделать то, что должен был сде-

лать, чего бы оно ему ни стоило. И как бы подтверждая это, в суматошной снежной круговерти услышал крик незнакомого, но желанного, родного для него человека.

— Всё, — через силу выдохнула из-под одеяла Наталья. — Теперь нечего туда ехать.

Не мешкая, Иван развернул лошадь, и Воронок, почувствовав неожиданную перемену маршрута, резво затрусил домой. Он уже не сбивался с дороги, не распрягался, и скоро Иван подвез Наталью к родительскому дому. Почему он так сделал, и сам объяснить не мог, очевидно, решил, что ослабевшей Наталье одной в своём доме будет трудно, а мать и поможет, и даст добрый совет.

Малец только попискивал в Натальиных рейтузах. «Живёхонький», — радовалась она и для надёжности, как соску, засунула ему в рот палец.

Подъехав к дому, Иван бросился к окну, сильно застучал в раму. Яркий свет разорвал снежную занавесь, проявил стучавшего, облепленного с ног до головы снегом, а потому похожего на Деда Мороза.

— Кто там? — донеслось из-за двери.

— Я, ма.

— Что ты, Иван?

— Открывай, Снегурочку привез...

* * *

Родился новый человек. Он начинал жить. Но это будет уже другая жизнь, другая история любви.

Часть II

1

— Снегурочка-а-а! Доча-а-а!

Наталья стоит возле дома; она ещё и ещё раз громко кричит в дремотную тишину июньского полдня, и голос её слышит вся округа — он полон жизненных сил, в нём ра-

досьт вешних дней, тепло светозарного июня и ласковость бабьего лета.

— Снегурочка-а-а! — плывёт над истоком мелководной Неручи, где бьёт бесчисленное множество прозрачных ключей, где в густых зарослях ивняка наперебой поёт, квакает и крикает, где кипит жизнь.

Ты, наверное, догадался, дорогой читатель, что это Савельева Наталья зовёт домой свою маленькую дочь, которую подарила им несколько лет назад сама природа, запеленав её в белые снега вьюжной ночи и убаюкав колыбельной суматошного ветра.

— А-а-а! — слабым эхом доносится из-под горы, где среди яркого многоцветья плавают сочные запахи вызревших ягод.

Наталья на минуту замирает, вслушиваясь в звуки дремотного полдня, затем идёт туда, откуда прилетело эхо.

— Ах, вот куда спряталась. Давай посмотрим, чем ты здесь занимаешься.

Она с улыбкой смотрит на дочку: настоящий цветик-семицветик! И вот уже вся светится от счастья при виде дочери. Ах этот семицветик! Из-под цветастой косынки в разные стороны две короткие чёрные косички, на смуглой щеке украшением крупная родинка, такое же цветастое, как косынка, платице, на ногах красные сандалики; а ещё среди всего этого многоцветья, где маленький человек слился с природой, мерцают совсем маленькие озера синих-синих глаз.

— Алёнка, — смеётся мать, — на кого же ты похожа!

Она берёт её на руки, краем передника, такого же цветастого, как эта луговина, вытирает дочери испачканные ягодами щёки и губы, и затем на них ложатся смачные поцелуи.

— Ну что, пошли обедать, — и Наталья на руках выносит её наверх.

* * *

Как быстро летит время: не один год прошел с тех пор, как вьюжной ночью привёз их Иван Кондрашов к своим родителям.

Словно дед Мороз, продутый ветром, обсыпанный снегом, он подхватил их, завернутых в одеяло, и осторожно занёс в дом. Мать поняла всё сразу; уже через минуту Наталья лежала на кровати, ей было тепло, а на душе радостно, потому что рядом с ней сладко посапывал и чмокал губками самый дорогой для неё человек.

Иван топтался на кухне, всё хотел что-то сказать матери, но, чувствуя в ней какую-то неприступность, всё-таки не решился, пока она сама не избавила его от дальнейших мук:

— Чего стоишь дергаешься? — сказала строго, но тихо, очевидно, чтобы не слышала Наталья. — Сделал дело — пора к дому, герой.

Иван не заставил себя упрашивать.

Воронок рысью промчал его по улице, взрывая протянувшиеся поперёк дороги рыхлые сугробы, отчего казалось, что ещё сильнее задувает ветер и сыплет снег. И точно такая же буря бушевала в груди у Ивана; но когда он спрятав коня и сбрую под крышу и зашёл в дом, жена, вышедшая отпереть дверь, ничего особенного на его лице не прочитала, а только спросила:

— Ну что, отвёз?

— Нет, — ответил Иван, отряхивая с полушубка снег.

Маруся в недоумении замерла среди кухни.

— Не повёз?

— Повёз... — он ещё помедлил чуть, как бы сдерживая волнение и приводя в порядок свои мысли, — повёз, да не довёз. С полдороги вернулся — у матери оставил.

— Родила дорогой? — то ли испугавшись, то ли удивившись, спросила она.

— Девку, — стараясь быть равнодушным, ответил Иван. Но это равнодушие далось ему с трудом: от теплоты прихлынувших чувств сердцу в груди было тесно.

Чтобы избежать дальнейших расспросов, он взял стоящий возле двери веник и снова скрылся за дверью; там он долго топал ногами, шаркал им по валенкам, сбивая снег, потом снял шапку и похлопал ею по дверному косяку, словом, тянул время, чтобы остудить свои мысли. Эти несколько минут сделали своё дело: чувства улеглись,

он снова был самим собой и мог спокойно рассказывать о том, что пережил во тьме бушующей ночи.

Маруся за это время успела поставить на стол еду; и, отвечая на вопросы жены, он взял стоящие на подоконнике бутылку со своей и рюмку, потом, на мгновение задумавшись, оттуда же, с подоконника, взял ещё одну рюмку, налил их, а бутылку поставил на место.

— Намучилась баба, конечно, — сказал Иван. — Но всё вроде нормально, так что давай обмоем новорожденную.

Маруся взяла рюмку, они чокнулись; и сколько потом сидели за столом, перебирая по мелочам события прошедшего дня, Маруся ни единым словом не осудила Наталью, а только печалилась, что из-за метели получилось всё не как должно быть.

* * *

Утром также непогодило. Люди сидели по домам, лишь на короткое время выходили за порог, чтобы бросить скотине охапку сена да напоить её, а потому и никто не знал, даже Хомутиха, что по стечению обстоятельств Наталью приветили Ивановы старики, что есть у неё ещё одна дочка, которую уже называли по-уличному Снегурочкой.

Иван уехал на ферму затемно, послав всего часа три; да и какой это был сон — всего лишь беспокойно-радостные раздумья с обрывками воспоминаний.

Маруся тоже не стала ждать, когда распогодится; только рассосалась синева, подсвеченная белыми полосками снежной замети, она укуталась в пуховик, чтобы не секло крупным снегом лицо, повесила на дверь замок и, по колени утопая в сугробах, через полчаса была у Кондрашовых. Старики уже не спали. Свекровь мыла посуду, очевидно, после раннего завтрака, а свёкор сидел у плиты, подбрасывая в топку дрова; огонь рвался в её нутро, с треском их пожирая, в трубе гудело от сильной тяги, и казалось, что плита задыхается, надрываясь, словно живое существо, выполняющее непосильную работу.

— Я уже на проводки, — поздоровавшись, спокойно сказала Маруся. — Может, чем помочь?

— Да со всем вроде управились, — таким же тоном ответила свекровь. И предложила: — Раздевайся, продуло, наверно.

Маруська разделась, а свекровь продолжала говорить; и по ходу её мыслей можно было понять, что во всём свершившемся этой ночью вообще ничего необычного нет, за что можно кого-либо осуждать.

— Хорошо, что совсем не заблудились, — продолжала свекровь, — на таком ветру долго не протянули бы. На моей памяти, не один замёрз в такой чичер.

Наталья села к столу, где было ближе к плите, от которой шло тепло.

— Да, вот в такую непогоду, — пояснила свекровь. — Раньше суровые зимы были, ещё круче... Но обошлось: и с самой, и с малышкой всё хорошо. Спят.

В её голосе появилось тепло, им веяло от каждого слова; слушая свекровь, Маруська чувствовала, что и у неё в груди становится теплее от слов этой пожилой женщины, прожившей большую и сложную жизнь и, как казалось Маруське, легко разобравшейся в этой непростой ситуации. Почему непростой? Как же, только и посмеиваются по деревне, мол, это Иван Маруськи Кондрашовой начудил с Натальей, и ей, конечно, неприятно слушать такие намешки. Свекровь, очевидно, тоже не глухая.

Неизвестно, что ещё подумала бы Маруська, слушая свекровь и в мыслях перебирая события последних дней, пересуды деревенских баб, если бы та сама не заговорила вдруг об этом.

— Чудаки люди, — спокойно размышляла она, — из одного материала сделаны, а вот на тебе — все разные. Чего только ни говорили за моего деда, мол, такой-рассякой он, то с той играетя, то с этой. Со зла, что ли, спешат люди донести, не зная в точности, так ли это на самом деле. А хоть и так, на то он и мужик... Не убивать же мне его за это, хотя, конечно, и обидно. Разводиться? Тоже не годится, да и люди в своих догадках такое могут наговорить — самой жить не захочется после.

— Умная старуха моя, — вступил в разговор свёкор. — На меня столько наговоров было, что сам удивлялся.

Я, старух, виноват только тем, что такой весёлый в разговоре с бабами: пошучу, посмеюсь...

— Ишь, ожил, когда за баб заговорили, — перебила его свекровь. — Никогда не забуду, как после сватанья убежал от меня с гармошкой за речку, где девок было тьма.

— А чтобы я у тебя дома делал — возле тебя сидел? А из дома ты не шла на улицу.

— А ты меня приглашал? — съязвила свекровь. — А может, ещё скажешь, что неправда, когда работал животноводом, на ферме лапал всех доярок подряд?

— Не было этого, старух.

— Не было? — переспросила свекровь. — А как же тебе за это Настя заляпала глаза глиной?

И, уже обращаясь к Маруське, добавила:

— Скотный двор по осени обмазывали, так он решил поиграть с Настей. Только он в пазуху к ней свои клешни запустил — она ему все бельмы глиной и заляпала.

И опять к нему с вопросом:

— Не было?

— Ну, было, — хмыкнул свекор, — но только не так.

— Вот тебе и «не так», а надо было так: тебя всего в этой глине извезить, и в штаны побольше, чтобы знал, кобелина душа, как с чужими бабами заигрывать. В тебя дети и внуки пойдут — тебя судить судом нещадным надо будет.

Ведя разговор на такую щепетильную тему, они между тем не повышали голоса, говорили спокой-но, даже как бы шутя, а потому и на сердце у Маруськи если и было что тревожное, оно незаметно улетучилось; так бывает в природе, когда вроде бы погожий день начинает хмуриться, небо темнеет, набухая влагой, которая должна вот-вот пролиться, да вдруг повеет лёгкий ветерок, робко скользнёт по земле первый лучик — и день посветлеет, потом засветится всеми красками радуги.

А Наталья не спала. Она лежала в боковой комнате и, слушая их спокойно-рассудительный разговор, думала о том, что неизвестно как сложилась бы её жизнь, не связи она свою судьбу с Иваном. Ну что делать, если такое случилось! Ни Иван, ни она не смогли поступить иначе, и теперь всё завязано в тугой узел, который ни развязать, ни раз-

рубить они не в силах. А тут ещё вот такое приключение с нею.

Ясное дело, знают и старики, и Маруська, что она с Иваном скрутилась, а, видишь, как говорят, словно ничего и нет. Конечно, со стыда провалиться за такую подлость по отношению к ним — как-никак, а семью разбивает.

Ход мыслей прервал плач малютки; она лежала рядом, и Наталье было видно, как сморщилось её личико, губки сложились в трубочку. Не вставая с кровати, Наталья поправила завернувшийся угол пелёнки, переложила малютку на другой бок.

Занавеска на дверном проёме раздвинулась, и она увидела Маруську.

— Здравствуй, девушка, — просто сказала она, придерживая руками полотна. — Как чувствуешь себя?

— Вроде бы ничего плохого.

— И молодец. Такого, как с тобой, у нас ещё не было.

Голос у Маруськи спокойный, смотрит по-доброму.

— Можно посмотреть твою Снегурочку?

Наталья улыбнулась:

— Конечно.

— Я не глазливая, да и теперь она родня нам будет, — весело сказала Маруська, вглядываясь в черты лица малютки, словно выискивая в них это самое родство. Ей то хотелось смотреть и смотреть на это нежное создание, потом вдруг захотелось подержать на руках, но она сдержалась, не высказала вслух такого желания, а только сказала:

— Даже позавидовала тебе. Знаешь, давно не смотрела на младенцев. Моя старшая такой же была смоляной.

Голос у Маруськи всё такой же добрый, но в нём появились нотки мечтательности.

— Точно, Наталья, теперь она родней нам будет, а Ивана в крёстные запишешь.

И, словно соглашаясь с Маруськой, малютка улыбнулась во сне счастливой улыбкой.

* * *

Через день непогода утихла, и по белому безмолвию пошли-поехали люди. Тропки-дорожки ложились от дома

к дому, до колодцев и колонок, разбросанных вдоль единственной улицы, обозначилась дорога, которая с каждым часом становилась всё оживленней, потому что по ней люди добирались до магазина, до мастерской и на ферму, а дети в школу. Это была дорога их жизни, не всегда лёгкая и весёлая, но всегда открытая для сердца и глаз ходивших по ней людей.

Удивительное дело: первой понесла по деревне новость опять же Хомутиха, что в очередной раз подтверждало: в деревне по этой части у неё равных нет. А получилось всё просто. Лишь только ослабли за стылými окнами белые сполохи непогоды, Хомутиха откомандировала Гаврила на двор. И напутствовала:

— Разлётся... Прележни уже заработал. Ходи на двор, открой двери — пусть птица погуляет, а то надоело ей взаперти.

Гаврил и без неё уже прикинул, что надо сделать: конечно, выпустить, но сначала откопать двери. Пока Хомутиха готовила завтрак, он отбросил снег, а когда двери открыл, индюшки и куры наперегонки вывалились из полутёмного помещения и рассыпались в разные стороны в поисках корма — воля есть воля.

Гаврил сделал своё дело — и в дом. Честь по чести доложил о выполнении, добавив при этом, что птицу неплохо бы покормить, как и его, кстати.

— Покормлю, — буркнула Хомутиха, и принялась собирать на стол.

А потом они завтракали; и хоть сидели за столом недолго, но, пока натёрла птице свёклы, потом грела ей воду для питья и одевалась, время пролетело. Вышла, позвала — куры прибежали какая откуда, а индюшек нет. «Подвоярки, — ругала она их в сердцах, — думаете, я за вами бегать буду. Завтра порублю».

Хомутиха недолюбливала индюшек — они не знали своего двора и могли разгуливать по всей деревне; она отказывалась их водить, но Гаврил каждый раз вступал в спор, и всё оставалось в их небольшом хозяйстве без изменений. Она знала, где искать это беспокойное племя: взяла палку и пошла к центру деревни — именно

там, в зарослях бурьяна, находили они для себя что-то вкусное.

И на этот раз индюшки оказались на своём излюбленном месте, часть их даже перелетела через изгородь к Кондрашовым, ветврачём старику. «Кыш, проклятые!» — шумнула на них Хомутиха, миновав калитку.

Индюшки продолжали копать под окнами, возле самого фундамента. Она пугнула их ещё, уже проходя под окнами... И вдруг услышала за двойными рамами детский плач. Хомутиха остолбенела: «Ребёнок? — её удивлению не было предела. — Чей? Кто это у них гостит?»

Индюшки выбрались на дорогу, а она уже забыла про птицу; она скорее к входной двери, по веранде — дальше, дальше, и только взялась за ручку, собираясь войти в дом, как дверь перед ней отворилась, и на пороге во весь рост могучий свой рост встал хозяин.

— Ты? Чего тебе? — хмуро спросил Кондрашов, пытаясь оттеснить её от порога и закрыть за собой дверь.

Это у него получилось; Хомутиха сделала два шага назад, но всё-таки успела ещё раз услышать всё тот же плач и знакомый женский голос, убаюкивающий ребёнка. «Наталья!» — подпрыгнуло мячиком сердце. — Вот это да!» Но старика о своей догадке расспрашивать не стала, а только улыбнулась ему, через силу сдерживая раздражающее чувство ликования:

— Индюшек искала, а они у вас оказались, в изгородь забрались...

— Нечего тут шастать, — перебил её Кондрашов, — индюшек твоих тут нет.

— Да я с бабкой твоей поговорить хочу, — решила схитрить Хомутиха.

— Нечего шастать, говорю, — посуровел лицом старик. — Бабка моя болеет, не до тебя ей.

«Ясное дело, не до меня, — ликовала Хомутиха, выходя на дорогу и пошутивая индюшек. — Лопни мой последний глаз, Маруська и не ведает, что в их семье прибавка».

Отдохнувший Воронок затемно доставил Ивана на ферму. В деревне было не так снежно и ветрено, но когда выехал за околицу, по-настоящему оценил всю силу стихии, обрушившейся на них ночью, и понял, что вчера счастье их не обошло, — они не заблудились, вовремя прибились к жилью. О дальнейшем Ивану почему-то думалось довольно спокойно — и когда ехал на ферму, и позднее, когда делал прививки лопухим телятам. Даже не вызывали у него беспокойства языкастые бабы с их пересудами, а уж они-то не пропустят мимо себя такое событие. Да, отсюда могут быть для них с Натальей неприятности. Но родители поняли его, а это главное. А ещё Иван смутно представлял, как поведёт себя после всплеска всевозможных разговоров Марусяка, хотя, если судить по вчерашнему, никаких осложнений не ожидалось.

Доярки, как и обычно, делали своё дело, готовясь к дойке, делились новостями, но в их поведении ничего не замечалось такого, что могло бы вызвать у Ивана беспокойство: ни единого намека, ни прямых вопросов к нему или к кому-то ещё. Словом, бушевала одна природа, но и она уже к обеду начинала мириться, если принимать её буйство за несогласие с их поступками.

Справившись с делами, Иван решил заскочить на посёлок, проведать Илью, а заодно и попросить его, чтобы приглядывал за домом Натальи: ведь не лето, надо и протапливать его, иначе выстынет, и потом тепло придётся долго нагонять. Только сел в санки, как появился Петрович, он у отелившейся коровы удалял послед.

— Иван Дмитрич, — быстро заговорил он, — проблема тут... Тёлку украли.

— Как украли? — не понял Иван.

— Вечером все были в сохранности, а сейчас хватились — одной тёлки нет. Только обрывок верёвки остался.

Иван снова привязал Воронка к столбу, и они пошли в коровник, где собравшиеся доярки и телятницы горячо обсуждали пропажу.

— Увели, — доказывала Подшивалиха. — Некуда ей больше деться. Да и какой из Петрухи сторож — пришёл замакушенный, а тут ещё добавил с Толиком. Вот и пролякали всю ночь в красном уголке. Даже навоз не выгребли.

— А что бы Петруха сделал? — заступалась за него Валяха. — Свет погас, везде холодина, вишь, даже вода в полках замерзла.

Снова все разошлись по коровнику, просмотрели, пересчитали: да, одной тёлки не хватало. Прошлись вокруг коровника, затем по всем помещениям, что стояли на территории фермы, но тёлку так и не обнаружили. И никаких следов — их накрыло толстым слоем снега.

Иван был также озадачен: территория обнесена полутораметровым дощатым забором, железные ворота на замке, так что тёлка сама не могла уйти от фермы.

— Я раньше всех пришел, — услышал Иван голос слесаря Севалкина. — Минут пять с Петрухой постояли, покурили. Он мне сказал, что с вечера мимо фермы какие-то сани проезжали, кто в них — в темноте не разглядел. Может, они и увели.

Севалкина стали расспрашивать, откуда сани ехали, в какую сторону, но тот пожимал плечами, таращился на людей, как на чудаков, и вскоре от него отстали, поняв, что с Петрухой он не только курил. Но если всем оставалось только гадать, кто проезжал здесь прошедшей ночью, то Иван сразу понял, что это его, приехавшего вечером за Натальей, случайно увидел Петруха.

Люди ещё постояли в глухом тамбуре коровника, порассуждали о пропаже, и каждый занялся своим делом. Завфермой Любочка Суетова отправилась докладывать о пропаже председателю, а Иван отвязал Воронка и плюхнулся в санки, предварительно бросив на сиденье и в передок свежего сена.

Дороги не было видно совсем, её замело основательно, а местами, где близко к ней подступали заросли бурьяна, вообще возвышались брюхатые сугробы, и Воронок, барахтаясь в них, тянул санки рывками. Иван отворачивался от ветра, пряча лицо за поднятым воротником полушубка,

и только изредка косился на коня, который хорошо знал, куда надо везти хозяина.

Илья встретил его на пороге.

— Отыскался, бродяжий сын, — поздоровавшись, упрекнул старик. — Смотрю в окно — едет.

И шутиливо похвалил:

— Хороший мальчик. Но вчера был плохой: полдня проискал, а по такой погоде ходить — одни муки.

В доме у Ильи было всё просто, как бывает всегда у людей трезвых и самостоятельных, не теряющих своего человеческого достоинства и по-хозяйски решающих все житейские вопросы. Просыпался он всегда рано, но вставал не сразу: лежал, размышляя о вчерашнем дне, прикидывал, что ему предстоит сделать, словно приглядывался к новому дню со стороны. А потом были несложные дела по хозяйству, но в любом случае беспорядка в доме не наблюдалось, всегда было чисто и аккуратно прибрано, и каждый, кто навещал Илью, не испытывал неприятных чувств от посещения.

Иван снял полушубок и, отряхнув с него снег, повесил на гвоздь, забитый в стену возле двери; на другом, над дверью, повисла шапка.

— Ближе к столу, греться будем, — ставя на стол бутылку, сказал Илья. — Меня тоже продуло, ходил смотреть, что там в доме. Замело хорошо.

Илья не сказал конкретно, куда, в какой дом ходил, но этого и не требовалось, так как сейчас они думали об одном и том же; не стал он расспрашивать и о Наталье, что было признаком правильного его воспитания: надо будет — расскажет сам. Так же думал Иван, а потому и не собирался что-либо утаивать от старика.

— Тебе теперь придётся походить туда, — сказал он. — Не довёз я её вчера, у стариков моих они. С полдороги развернулся.

— Кого привёз? — сощурился Илья, и в глубине его глаз, в самой их глубине, зажёгся добрый свет.

— Снегурочку. Будет кому косички заплетать.

— Ну что ж, хорошо, что девка, теперь у неё веселее будет. Эти-то уже на отходе, а жизнь потянется ещё, так что давай выпьем за их здоровье.

Они чокнулись, выпили дружно; и ещё долго, до самых сумерек, сидели за столом и, как родные люди, вели на эту тему откровенный разговор.

* * *

Наталью Иван проведаль только на третий день, когда возвратился из райцентра, а ездил он в ветлечебницу за лекарствами. Не зная, как отнесётся к нему мать на этот раз, Иван чувствовал себя стеснённо, и она это заметила. Конечно, она поняла, откуда у сына это доселе незнакомое ему чувство, но виду не подала, а, чтобы создать нормальную атмосферу общения, только спросила, как обычно спрашивала его с самых малых лет:

— Чтой-то голос у тебя простуженный, уж не заболел ли ты?

— Да вроде бы нет, — ответил Иван; хотел ещё сказать что-то, но мать и не думала его слушать, перебила.

— Зима плохая, а ты всё на ветру. Я раньше думала, что у тебя самая хорошая работа: сам себе хозяин и всегда найдёшь время домашние дела поделать; люди уважают тебя, и зарплата есть, а сейчас что-то по-другому думается. А как, смотри, иначе? Вот налетело — а ты будь на ферме, езжай в райцентр...

Иван засмеялся:

— Да не один же я в колхозе такой. Люди работают — идут доить коров, кормить-поить телят, молоко везут, за хлебом едут. По всей стране так.

— Я о том, что беречь себя надо.

— Старуха, — отозвался из-за стола отец, — он молодой, в таком возрасте не простужаются...

— То-то ты на улицу носа не кажешь, спрятался за печкой, — перебила его мать.

— Да я старый уже.

— Старый? Водку пить не старый, — мать уже оседлала своего конька, — с молодыми равняешься.

— Старуха, — не сдавался в неожиданно возникшем споре отец, — в его возрасте, да и в моём, на фронте никто не простывал. Зимой купались на снегу: веток еловых под ноги, воды горячее на себя — только пар стоит.

И махнул перед собой указательным пальцем, словно подвёл черту:

— Не болели, потому что всегда были в работе, в напряжении.

Увидев над столом его большие огрубевшие руки с длинными и толстыми пальцами, мать распалилась:

— Растопырил каталки! Весь в тятю!

— Прекратите! — не выдержал Иван. — Я не упреки ваши слушать пришел... Каждый раз одно и то же.

— А чего он?..

Мать взволнованно ходила от стола к газовой плите, потом заглядывала то в холодильник, то в буфет, повторяя одну и ту же фразу:

— Всё он!.. Всё он!..

И вдруг налетела на Ивана.

— А ты чего пришёл?

— Хлеба вот принёс вам.

— Только нам?

Голос матери был сердитым, но чувствовалось, что запал её уже пропал: так разбушевавшаяся от ливня река входит в свои берега.

— Я говорю, нам только?

Иван растерялся: он не сразу понял, на что она намекает.

— А им вот, — и подал пакет, в который в районном магазине наложили ему конфет, печенье, апельсинов.

Течение реки уже было спокойным.

— Иди сам вручи, акушер... Хотя нечего тебе там делать, — и вдруг позвала. — Наталья!

Из боковой комнаты вышла Наталья. Иван смотрел на неё и ничего не видел, кроме бледного лица и синих глаз, из которых, это он хорошо разглядел, обещали пролиться слёзы: глаза набухли, вместе с синим светом из них струилось необыкновенно теплое чувство, желанное для него.

— Вань, спасибо тебе, — просто сказала она, и голос её дрогнул, — за всё.

Постояла, помяла в руках пакет; взгляд её был потушен, очевидно, хотела скрыть свои чувства, и это ей удалось.

— Да, Ванька молодец, — сказала мать.

Какой смысл вкладывала она в свои слова, ни Иван, ни Наталья так и не поняли, им было не до этого; они ещё посмотрели друг на друга, и Наталья ушла за перегородку, где неожиданно отозвался, словно почувствовал родную кровь, ещё один свидетель их разговора.

* * *

Наталья прожила у Кондрашовых несколько дней; потом в один из вечеров, когда на деревню напоззли синие сумерки и в окнах зажглись огни, а дед Илья хорошо протопил в её доме, Иванов Воронок знакомой дорогой без приключений доставил их туда. Что говорили по этому поводу в колхозе — плохого, хорошего, Наталья не знала. Она жила первые дни после рождения дочери одними заботами, давно знакомыми ей, но забытыми, а как всё у них получается с Иваном, что скажет деревня, ей было теперь всё равно: это только их дело — Ивана и её.

У Кондрашовых Наталье было хорошо, но вместе с тем и неудобно перед хозяевами: как ни суди, а она разбивала семью их сына, и наверняка слух об этом дошёл до них. Она тогда ждала Ивана, чтобы увидеть, как он будет вести себя при родителях, как сами старики — по отношению к нему. И как же облегчённо вздохнула, когда со Снегурочкой переступила порог своего дома.

В январскую стужу ей помогал по дому Илья: приносил воды и угля, откапывал занесённые снегом двери, колол дрова. Через неделю, как переехала в свой дом, пришли на проводки с фермы. Шумной ватагой перекатились через порог, весёлые, пропахшие морозом и силовом, и в считанные минуты стол был уставлен выпивкой и закуской.

— Вот мы на тебя и посмотрим, как ты тут зимуешь со своей Снегурочкой, — разрезая буханку хлеба, хохотала Веруха, исполняющая на ферме обязанности техника по искусственному осеменению. — У тебя в доме не всё хорошо: нас много, а стол маленький, — нужен большой.

— Тебе, Веруха, не о столе надо думать, — перебила её другая хохотушка. — Коров осеменяешь, а о себе забыла; поучись у Натальи...

По дому хохот, а как выпили, пожелав счастья матери с малышкой, и вовсе от шуток и песен жарко стало.

3

И новый день обещал быть погожим. Перед этим спал мороз, угомонился, залег в набитых снегом лощинах юго-восточной ветер, тот самый, что со страшной силой налетал из-за Неручи несколько дней подряд и трепал, трепал нахохлившиеся дома и скотные дворы. И вот уже которое утро светло и радостно выходит народ на улицу. «Звяк-звяк», — это прошел к колонке с пустыми вёдрами дед Вася; «тук-тук», — это сосед с другой стороны, тоже Иван, а по-деревенски Кулачок, отбивает примерзшую дверь откоса, где зимуют его овцы; «гав-гав», — и за деревню выкатывается собачья свадьба.

Иван в этот час обычно уже катил с первой фермы на вторую, а сегодня побывал только на первой — и к дому: надо побриться, умыться, переодеться и успеть на собрание в Дом культуры. По каким вопросам собрание — не уяснил, председатель колхоза на ферме предупредил всех, чтобы пришли, и весь разговор.

— Что-то Николай Максимыч невеселый, — заметила Любочка.

— Чему радоваться, — сочувственно сказал Иван. — Со всех сторон жмут колхоз, а ему, бедолаге, за всё в ответе быть.

А начинались девяностые годы, и в стране творилось непонятное: все хотели свободы, демократии, депутаты во всех Советах клеймили, позорили партийную номенклатуру, но та не сдавалась, и в этом противостоянии деревне с её извечным укладом становилось всё хуже и хуже. И Кондрашову не по душе такой бардак, а потому осуждал каждого, кто пытался бросить плохие слова в адрес человека с партийным билетом в кармане, хотя сам в партии не состоял.

Вступить в партию у него не получилось, и не по его вине. Иван часто вспоминал эту неприятную историю, в какой-то мере повлиявшую на его жизнь, но разговора

о ней не вёл ни с кем, разве что иногда с Ильей. Так уж устроена человеческая жизнь, что, шагая по ней, каждый из нас не может уйти от прошлого. Не ушёл и он, вспоминал, как начинал работать в колхозе, как выбрали его секретарём комсомольской организации. С обязанностями вожака молодёжи справлялся, с работой тоже, и однажды в преддверии одного из съездов КПСС ему предложили вступить в партию. Тогда он не захотел, считая, что проживёт и без партии, но позднее, когда пришло время расставаться с комсомолом, вдруг осознал свою ошибку и написал заявление.

Ему дали рекомендации бюро райкома комсомола и два старейших коммуниста. Но к этому времени у Ивана сложились неприязненные отношения с тогдашним председателем колхоза Сотовым, и тот сделал всё, чтобы партийное собрание проголосовало против. В чём только ни обвинял он Ивана: собрал всё, плохое, что было на тот момент в хозяйстве, а ведь тогда мало что зависело от него, всё больше от самого Сотова.

Очевидно, по его же указке секретарь партийной организации, ровесник Ивана, только-только выдвинутый на эту должность и готовивший его к приёму, вдруг обвинил в неплате комсомольских взносов. Иван хотел возразить, мол, это неправда, он даже за других платил те самые копейки, которые они задолжали в комсомольскую кассу, но ему не дали слова.

Коммунисты, а это были простые колхозники, с кем Кондрашов встречался каждый день, решая самые разные вопросы, недоумевали: к чему такой концерт? Послышались недовольные голоса, и всё могло сложиться в пользу Ивана, но в этот момент, прочувствовав критическую ситуацию, взял слово присутствующий на собрании второй секретарь райкома партии Морозов.

— Я думаю, обсуждать этот вопрос не стоит, и так всё ясно, — сказал он. — Как вы проголосуете, товарищи коммунисты, — это ваше дело, но мы в райкоме ещё посмотрим.

И ударение сделал на слове «мы».

Кто эти «мы» — стало ясно; и тон его голоса был таким, что все стихли, и никто не посмел сказать ни одного слова в

пользу Ивана, как и не поднялось ни одной руки, а те двое, что давали рекомендации, просто воздержались. Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая жизнь Ивана Кондрашова, колхозного ветврача, попавшего в немилость к председателю, человеку желчному и мстительному: возможно, лишился бы он и работы, но, видно, не судьба была сбыться этому: разглядели вскоре в райкоме, что представляет из себя Сотов как человек и руководитель, и убрали его из колхоза, а на смену ему пришёл Николай Максимыч. И в жизни Кондрашова всё отладилось, но в партию вступить по новой отказался; почему — объяснил так: доверие к партии утратил, ведь столько пороков у неё, и как ломает судьбы человеческие!

— Это не партия виновата, — убеждал его тогда третий секретарь райкома, ведающий вопросами идеологии, — это вина конкретных людей. Ведь разобралась партия за ошибку с тобой, да и за другие ошибки: Морозов от работы освобождён. И Сотов тоже.

«Но партия и состоит из конкретных людей», — ответил ему Иван, и остался при своем мнении. И все последующие годы он жил легко и просто, обвешанный хозяйскими заботами, рядом с односельчанами, среди которых были и проголосовавшие против него. И, самое главное, общаясь с ними, Кондрашов никогда в разговорах не возвращался к прошлому и ни разу никого не упрекнул за это, потому что обиды в душе не держал. Они жили одной жизнью, и сегодня, как и все прошедшие годы, им вместе предстояло решать какие-то вопросы в Доме культуры, куда подкатил на Воронке Кондрашов.

Люди сходились, не спеша. Кто посвободнее — пришел пораньше и топтался на высоких порожках у входа в фойе; кто-то только подтягивался, это были в основном работники ферм — доярки, телятницы, слесари, спозаранку поделавшие дела на ферме, потом домашние. Слышны весёлые разговоры, смех, шутки. У входа курильщики — дым клубами вместе с паром. Чуть в стороне, ближе к углу здания, на холостом ходу тарыхтит трактор. Подвыпивший тракторист, низкорослый, рыжеватый, в фуфайке и ватных штанах, на голове шапка набекрень, вместе со

всеми докуривает уже не первую сигарету; разговор бес-
связный, перескакивает с одного на другое, то злой, то
с шутками.

— Мне зарплата нужна, — сердито твердит тракторист. —
Отработал месяц — отдай. Не важно — сколько, но отдай,
я заработал.

— Ты и сейчас работаешь, — это ему мастер-наладчик
Юрин.

— Работаю. Корм вожу на ферму.

— Больше пропиваешь, чем зарабатываешь.

— Ты в чужом кармане не считай, — сердито огрызается
тракторист. — В своём считай.

— А они у него худые, — подначивают Юрина, — а потому
денег никогда не бывает.

— У него баба всё вытряхивает.

— Нет, зазноба — она деньги любит.

— И его тоже.

Для Юрина это сполна: все знали, что есть у него подруга
жизни, что нередко не добирается он после работы до дома,
а ночует у неё. На порожках смех, а Юрин что-то бубнит в
их сторону и отворачивается, недовольный разговором.

— Свои пропиваю, — хорохорится тракторист, —
пропил — ещё заработаю. Зиме конец, скоро сеять поедем.
Там и заработаю.

— Насеял осенью, — это снова Юрин. — Одни огрехи.

У тракториста улыбка во весь рот:

— Это не мои, это Николаич виноват, — и тычет пальцем
в сторону коренастого, пузатенького мужика, одетого в та-
кую же фуфайку. — Это он на сеялке был. Сеялка перестала
сеять, а он всё не видит. Уже на краю поля спрашиваю, где
перестала сеять, а он мне: «Вон там, от того грача». Грачи
сзади, я развернул трактор и по этому же следу снова от тех
самых грачей. «От того грача, — передразнил тракторист
Николаича, и продолжил. — Грачи-то по полю вслед за се-
ялкой, от какого грача, в каком месте — не определишь, а
он мне: «От грача...»

— Ты лучше расскажи, как он тебе в мотор масла до-
ливал, — смеётся Юрин.

Невесело уже Николаичу.

— О, это комедия! — живо откликнулся тракторист. — Утром, думаю, надо побыстрее в поле, вот и говорю ему: «Ты, Николаич, сделай доброе дело: пока я прошприцую, долей маслица в мотор». Копаюсь, вижу: и он работает. Смазал, шприц прячу и спрашиваю: мол, долил масла-то? А он мне: «Последнее ведро сейчас...». Я чуть не умер. Он на щуп не смотрел, и не знает, что это такое; он собирался доливать до тех пор, пока масло не покажется в горловине. Ещё, говорит, ведёрочку, а туда надо было не больше литра.

Тарахтенье трактора заглушает взрыв хохота. но веселье неожиданно стихло, когда почти к самому порогу Дома культуры подкатил «уазик», а из него вылезли двое: один — в кожаном пальто и каракулевой шапке, из-под черных густых бровей пристально-строгий взгляд; его спутник — в короткой куртке на меху, вид интеллигентный. Они поднялись по порожкам, поздоровались, и уже было прошли в фойе, как вдруг тот, что был в кожаном пальто, остановился у входа и, обернувшись, спросил:

— Чей трактор? Кто приехал?

— Ну, я, — отозвался тракторист.

— Как фамилия?

— Похлебаев.

— Чего он рыкает, солярку жжёт. Заглушите или на работу езжайте.

Похлебаев, если выпивши, — неуправляем.

— Каждый пастух мне будет указывать.

Взгляд приезжего посуровел, по лицу красные пятна. Развернулся круто — и в фойе, где в боковой комнате уже собирались члены правления и отраслевые специалисты во главе с председателем. А на порожках снова оживленный разговор на тему только что увиденного. Главный вопрос — кто это был?

— Судить по шоферу и машине, — заметил Юрин, — из райкома человек. По всему самый главный.

И уже к Похлебаеву:

— Уезжал бы ты, друг, отсюда подальше.

Похлебаев уехать не успел: из дома культуры вышел главный инженер, откуда-то появился участковый, и скоро

тракториста уже везли в райотдел милиции, а трактор молчаливо стоял на машинном дворе.

— Заработал, — ухмыльнулся Юрин. — Посидит до утра, потом отпустят, но штраф пришлют обязательно. И за пьянку в рабочее время приварят.

Кто-то сочувственно поддакнул, кто-то молча согласился, потому что так всегда и было: работал человек, к примеру, тот же Похлебаев, отлично, если пахал зябь — от зари до зари, по две нормы выпахивал, спал в поле, возле трактора, а по итогам полевых работ бухгалтерия начисляла ему большую зарплату и хорошую премию; но потом передовик производства уходил в загул, то есть пил денно и ночью, мог на тракторе в пьяном виде что угодно сотворить, и как результат — зарплату пропивал. За пьянку в рабочее время его лишали премии, а потому в карманах у него всегда было пусто.

На этой грустной ноте и закончился их разговор, все направились в зал. Из боковой комнаты вышел Николай Максимыч, следом за ним гости из района, и все трое поднялись на сцену, где стоял длинный стол, накрытый красной плюшевой скатертью, и стулья. Члены правления, а это были в основном главные специалисты, зашли в зал минутой раньше и разместились на первом ряду, места на котором никто из простых колхозников из-за своей скромности не занимал, за исключением пенсионеров, страдающих глухотой. Зачем правленцев приглашали в боковушку, никто не знал, но по их виду сидящие в зале предположили, что разговор предстоит серьёзный. И не ошиблись.

Николай Максимыч встал, молча посмотрел в зал, ожидая, когда наступит тишина, затем объявил, что на собрании присутствует первый секретарь райкома партии Потуроев Иван Иванович и главный инженер управления сельского хозяйства Торопов Виктор Николаевич и что в повестке дня собрания включены два вопроса: о подготовке к весенне-полевым работам и организационный.

О том, как идёт ремонт тракторов и прицепного инвентаря, доложил главный инженер колхоза Суханов и начальник машинного двора Паршин. По их словам, механизаторы своё дело знают, запчасти есть и, несмотря на

морозы и снега, значительная часть техники подготовлена. Затем выступал Торопов, который говорил о готовности к весне в районе в целом, сравнивал с показателями соседей, дал несколько советов, как ускорить ремонт гусеничных тракторов. Но все его отчеты и советы люди слушали без особого интереса, они ожидали главного, ради чего, как они предполагали, и пригласили их сюда.

— Переходим ко второму вопросу, — объявил наконец Николай Максимыч. — Он организационный. Слово для информации предоставляется первому секретарю райкома партии Ивану Ивановичу Потурову.

Потуров вышел к трибуне, говорил недолго, и речь его была предельно проста и понятна каждому.

— Работа в нашем хозяйстве организована неплохо, — говорил он. — Животноводческая отрасль стабильно справляется с планами, подготовка к весеннему севу, как вы слышали, ведётся. Правда, с трудовой дисциплиной не везде ещё в порядке. Вот только сейчас, перед собранием, пришлось одного нетрезвого тракториста отправить в милицию, но это частности, главное — вы на правильном пути. Вопрос в другом: Николай Максимыч подал заявление с просьбой освободить его от работы.

В зале стояла гробовая тишина, потом вдруг возник шум; так бывает, когда среди дневного затишья вдруг почувствуется легкое движение воздуха, затем как бы пробежит сквознячок и вслед за ним, устроив хаос, прошумит-промчит ветер.

Потуров говорил ещё что-то, но его уже не слушали: каждый пытался сказать своё, перекричать соседа, так что некоторое время собрание было неуправляемым. Порядок наступил лишь только после того, как к трибуне подошел Николай Максимыч.

— Ну вот, — сказал он, — а то раскричались. — Да, подал заявление и прошу вас отпустить меня.

В зале снова шум. Однорукий Осипов Шурка, глуховатый старик, с чудинкой в разговорах и поведении, тянул Хомутиху за рукав и надрывался ей на ухо:

— Уходит?.. Снимают, что ли?...

Та отмахивалась от него, стараясь всё увидеть и услышать, что говорили люди.

Когда шум утих, снова заговорил Потуроев.

— Не снимаем мы. Я же говорил, что он руководит хозяйством грамотно, но мы предложили ему работу поответственной, если можно так сказать — помасштабней... с повышением, что ли. Бюро райкома рекомендует его на должность начальника управления сельского хозяйства, а вам подобрали новую кандидатуру, вы уже познакомились — это Виктор Николаевич Торопов, — и сделал жест рукой в его сторону.

Битый час Потуроев и Николай Максимыч не могли утихомирить собрание. Правда, иногда становилось потише, но это затишье было перед бурей: одни кричали, что Николая Максимыча не отпустят, другие упёрто твердили, что чужаки им не нужны, третьих взбесило, что с их мнением в районе не считаются.

Истинную причину смены руководства в колхозе знали немногие. История эта тянулась ещё с прошлогодней весны, когда на День Победы в колхозной столовой был праздничный обед, и Николай Максимыч умирал одного из подвыпивших ветеранов войны, Шурку Осипова, а тот каким-то образом потерял юбилейную медаль. Ветерана попросту усадили в машину и отвезли домой, но ему стало обидно: как же, я бывший пулемётчик, офицер запаса, а со мной так!.. И написал письмо в ЦК, да избразил происшедшее в другом свете: мол, праздник ему испортили, награды сорвали. Оттуда письмо переправили в обком, из обкома на райком, причём с резолюцией: во всём разобраться, а виновных наказать. Естественно, разобрались, что не прав Шурка Осипов, учинивший дебош; но вот медаль-то оказалась на полу, и он утверждал, что её сорвал с груди председатель. А по письму надо давать ответ о принятых мерах; и на бюро райкома партии Николаю Максимычу объявили выговор и одновременно приняли решение об освобождении его от работы. Это было официальное решение, о чём уже сообщили в обком партии.

Но у райкома была и другая точка зрения: Николай Максимыч опытный хозяйственник, а кадры надо беречь, и по-

тому можно доверить ему ответственную должность начальника управления сельского хозяйства. Так решили в райкоме; и Потуроев приехал в колхоз проводить решение в жизнь, но это у него не получалось, а потому не вписывалось в их планы.

Трудно сказать, сколько бы времени ещё бурлило собрание, если бы не Паршин. Как начальник машинного двора он был безупречен в работе, состоял в партии, и все хорошо знали его человеческие качества, считались с его мнением; и когда он неожиданно встал со своего места и вышел к первому ряду, в зале опять стало тихо.

— И-и так мы будем до ночи шуметь, — чуть заикаясь, тихим голосом сказал он. — У меня так-к-кое п-п-предложение: и-и если просит Николай Максимыч, мы н-не должны ему отказать. А в-в-в вместо него...

Паршин замолчал, очевидно, выискивая нужные слова, помял в руках шапку, словно их выдавливал из неё, и вдруг добавил без всякого заиканья:

— Кондрашова.

Какое-то время в зале стояла тишина; потом послышался одобрительный гул, кто-то захопал в ладоши; и Потуроев с облегчением вздохнул, так как теперь можно было надеяться, что решение бюро райкома он выполнит — пусть даже в первой его части, которая предусматривала освобождение Николая Максимыча от должности председателя.

Собрание шумело уже не так сильно, очевидно, обсуждало предложение Паршина. Потуроев понимал, что на людей надо ещё надавить и убедить их проголосовать за Торопова, но как это сделать, ещё не знал, хотя считал себя опытным в таких делах. «А что, надо спросить самого Кондрашова, — мелькнула мысль, — вдруг откажется... Да-да, конечно, послушать, что скажет он».

И с просветленным лицом объявил:

— Товарищ Паршин очень правильно сказал, что можно до ночи шуметь, и всё без толку. Бюро райкома считает, что Виктор Николаевич справится с обязанностями руководителя колхоза. Вы предлагаете кандидатуру Кондрашова, значит, надо узнать его мнение.

Такого поворота событий не предполагал никто, а для Ивана тем более это было неожиданностью. Он некоторое время размышлял, как ему поступить; слышал гул одобрения сидящих в зале, видел, как Николай Максимыч жестом приглашает, и, ещё не зная, что скажет людям, вышел к трибуне.

* * *

Вся следующая неделя была для Ивана Дмитрича Кондрашова совсем не похожа на те, которые он встретил и проводил за время работы в колхозе: все её дни были наполнены новыми заботами. Выйдя тогда к трибуне, Иван понял, что судьба уготовила ему ещё одно испытание, и он как бы готов к этому; а ещё понял, что люди, чьи глаза он видел перед собой, доверяли ему и готовы именно с ним идти по жизни дальше.

Иван согласился, они дружно проголосовали за него, но своё первое утро в качестве председателя он так же встретил на ферме, и в дальнейшем этой традиции старался не изменять. Трудно сказать, почему: то ли должность приучила его к этому, то ли дорого ему было прошлое, тот самый день, когда в красном уголке впервые так близко увидел Наталью, её васильковые глаза, глубокие-глубокие, словно предвесеннее небо.

В его поведении практически ничего не изменилось, он так же вёл себя с людьми: говорил о делах, шутил, но с грустью заметил, что впервые в помещение фермы вошел без своей сумки и словно чувствует себя виноватым, так как надо бы выполнять свою прежнюю работу, а он не может.

Как и в тот памятный день, перебрасываясь шутками, доярки затащили его в красный уголок, заставили обмыть новую должность; Иван предполагал, что так оно и будет: шутками да намеками, а то и напрямую напомнят ему о традиции обмывать новое место работы рюмкой вина.

— Так, Иван Дмитрич, — куртка на Любочке нараспашку, красный шарф ниже пояса, а сама — руки в бока, ну вылитая боярыня, — с тебя два магарыча: первый — тебя обмоем, второй — тёлку.

Иван никак не поймет, что значит «тёлку».

— А так: ставь магарыч, председатель, нашли мы тёлку.

— Нашли, нашли, — скороговоркой вторит ей Веруха. — Пришли утром, слышим — где-то мычит корова, как бы за забором. Начали искать — за забором никого, только снега почти на метр; стали по этой стороне смотреть — сугроб выше забора. Полез Петруха на сугроб, да и провалился в него с головой. Оказывается что: возле забора лежала копна сена, телка отвязалась, и никто не видел, как она вышла из помещения и спокойно пристроилась к сену, между забором и копной. А что ей надо? От ветра спряталась, стоит себе, пожевывает. Метель закрутила, ну и засыпало её. Три дня стояла тихо, потом, видно, скучно стало — и замычала...

Это отложенный магарыч: времени-то прошло вон сколько, а ты всё тянешь.

— Да я не знал, что нашлась, — как бы оправдывается он.

Доярки хохочут, Иван — с ними. Но всем им, рано-рано начинающим здесь свой рабочий день, ещё неведомо, что наступят другие времена, и вслед за полой водой ветры перемен принесут новые заботы и тревоги: приближалось время великого позора, когда ломались устои общества и государства, и ошалевшие на волне беспредела люди будут попирать извечные общечеловеческие ценности и нормы морали.

4

Короток зимний день; ещё короче он становится, когда человеку от забот даже пообедать некогда — в этом Иван убеждался довольно часто в начале своей работы в новой должности. И если до этого он жил заботами только одних ферм, то теперь список его должностных обязанностей распух неимоверно: на Кондрашова свалились заботы и тракторного парка, и агрономической службы, и общехозяйские.

А время шло к весне. Осталась позади Аксинья-полужимница, полухлебница — по народному земледельческому календарю этот крестьянский праздник приходится на 6 февраля. О нём Иван прочитал в районной газете,

и ещё о нескольких, относящихся к февралю, запомнил их; и нередко перечитывал эту статью, стремясь уяснить смысл народной мудрости, заложенной в поговорках и приметах. Хорошим знатоком народных праздников и обрядов считали в деревне учителя местной школы Немыткина. Уже находясь на пенсии, Олег Борисыч продолжал учить деревенских детей русскому языку и литературе, и лучше это делать не смог бы никто. Большой эрудит во всех областях человеческой жизни, он с охотой и подолгу мог объяснять любому, как правильно выращивать картошку и помидоры, разводить пчёл, хотя соседи видели, что у него самого нередко не всё получалось в этих делах. Но это на практике, а теорию он знал превосходно, а потому и прилипло к нему деревенское прозвище Теоретик.

Немыткин уже несколько раз заходил к нему после занятий в школе: то поздравить с должностью, то просил выписать зерна, как он выразился, петушку поклевать нечего стало, и Кондрашов тогда подписал накладную, но поговорить с ним не пришлось: спешил в госбанк. На этот раз в делах наступило неожиданное просветление, и, увидев в окне поднимающегося по ступенькам учителя, он настроил себя на разговор.

Олег Борисыч поздоровался и попросил разрешения присесть. Зная его ещё со школьных лет, Кондрашов заметил одну странность в поведении учителя: он не любил рукопожатий, первым руку никогда не подавал, а если это случалось, как бы между прочим, незамедлительно доставал из кармана платочек и, раз-другой фыркнув в него для видимости, старательно вытирал им руку.

— Дай, думаю, зайду, — усаживаясь на стул, приятно улыбаясь, заговорил Немыткин, — всё-таки ты мой ученик.

— А в колхозе, наверно, все ваши бывшие ученики, — засмеялся Кондрашов.

— Да, почти полвека учу, с самой войны.

Его живые глаза словно заискрились, в них прибавилось света, да и сам он весь как бы встрепенулся, очевидно, чувство гордости за работу, которую выполняет, в нем не дремало.

— Это не пять лет, не десять... Но уже душа покоя просит. Иду вот, а кости ломит, по всему перемену погоды чувствуют.

— У вас, Олег Борисыч, барометр свой и всегда при себе, — пошутил Кондрашов, — а я сейчас сидел и размышлял, как угадывали погоду предки наши.

— О-о-о! — оживился учитель. — Это целая наука. Крестьянин извечно смотрел на небо, вокруг себя, так как полная зависимость от природы заставляла его изучать явления, улавливать их закономерности и связи между ними. Существовало множество правил и примет, верных наблюдений, которые накапливались десятилетиями, веками, и хорошо бы сегодня знать их каждому деревенскому жителю, да и городскому тоже.

— Кто-то знает... Я знаю, что вчера, да, шестого февраля, была Аксинья-полухлебница; от неё полсрока осталось до нового хлеба, и надо посмотреть, сколько фуражного зерна съедено, а значит, столько ещё съедим до новины... Потому и называют полухлебницей.

— Кто-то, где-то... — перебил его Олег Борисыч. — Я же говорю: это целая наука, и её надо изучать; она несет пользу, она интересна. Ну, хорошо, вчера была Аксинья. В году вон сколько дней, и почти каждый с именем и своими приметами. После Аксиньи Григорий Богослов... А ты знаешь его приметы?

Кондрашов пожал плечами.

— А-а-а, — протянул с превосходством победителя учитель, — тогда слушай: наши предки наблюдали за погодой в течение всего этого дня. Каков день с утра до полудня, такова, говорили, будет первая половина следующей зимы. Вот и записывай себе, какая зима будет.

— Мне важнее, какими будут весна и лето. Да осень ещё.

— Да нет, — не согласился тот, — допустим, завтра тебе надо будет навоз с фермы вывозить, и ты с вечера планируешь, кому что делать; а ещё соломки про запас на половеде завезти собрался и вроде бы рассчитал всё, как вдруг на другой день метель... Нет-нет, что это я? Наблюдательный мужик посмотрит на небо, оглядится и по приметам и угадает, что приближается ненастье. Нео-

жиданности не будет... Да-да-да! — заметив сомнение на лице Кондрашова, задакал Немыткин и указал пальцем в окно: — Видишь галок? Я обратил внимание сейчас, что они обсиживают нижние ветви деревьев, значит, ненастье зачюляи.

— А может, наоборот?

— Наоборот, мил человек, будет, если на верхние ветки громоздиться начнут... Да, тогда жди мороз. Вот под новый год завируха поднялась, а для меня она не стала неожиданностью: перед этим вышел ночью кобеля отвязать, вижу — месяц непогожий над речкой: столбом стоит, нижний рог повис, а сам весь в каком-то кругу туманном. Что гадать-то? Ожидай метель назавтра, да ещё с морозом. И сбылось же.

Кондрашов слушал своего неожиданного собеседника, с чем-то соглашался, о чём-то переспрашивал и неожиданно для себя заметил, что этот человек ему сегодня был кстати, что в каждодневной суете за председательскими делами у него ещё не было такого безоблачного часа, несущего душевное удовлетворение. Кондрашову казалось, что именно этого и не хватало ему; и он с какой-то жадностью стал расспрашивать Немыткина о школе, о той жизни, которая была где-то рядом и о которой практически мало что знал, потому что, к его стыду, уже не помнил, когда заходил в школу последний раз.

Учитель заспешил домой, а Кондрашов ещё долго сидел в тишине кабинета, размышляя о мудрости предков, сравнивая их с людьми, живущими рядом.

«А ничего, — размышлял он, — предки умные люди были, но и наш народ ничего, не глупый. Вот Олег Борисыч всё знает; у деда Ильи мудрости набраться; отец вот... мать...» Мысли привели его к отцовскому дому, к событиям недавних дней, когда он, похожий на Деда Мороза, появился из снежной круговерти с дорогим для себя и Натальи подарком. «Как-то они там», — подумалось ему; и он тут же пожалел, что о Наталье и Снегурочке знает только со слов Ильи, а сам так и не удосужился заехать к ним. Кондрашову стало как бы неловко за себя; он встал из-за стола, оделся и, словно спеша расстаться с этой неловкостью, быстрыми шагами вышел из кабинета.

Но неловкость оказалась настырной: она не отставала от Ивана, она вселилась в него и начинала разрастаться, перехватывая дыхание. В таком растревоженном состоянии Кондрашов постоял на пороге, полупился на галдящих галок; а ещё вспомнил, что, по словам учителя, в пристяжку с Григорием Богословом, в этот же день празднуется Ефрем Сирийский — запечник, прибаутник, сверчковый заступник. В этот день предки кашу варили и ставили на загнетке, как бы задабривали домового, чтобы он оберегал скотину. Почему Ефрем Сирийский, Иван не знал, на эти заботы предков смотрел с улыбкой, но вот что касалось приметы: на Ефрема ветер понесся — к сырому году, он задумался и решил записать её и проверить.

Неловкость не покидала Кондрашова; ему даже казалось, что она лишь отголосок более глубокого чувства, лежащего в недрах его души и постоянно приводящего его в трепет при мысли о Наталье.

«Да, конечно», — мысленно поддакнул сам себе Иван. Он ещё полупился на галок, слушая их непонятный разговор, потом сошёл с порошков и направился к зерноскладу, посмотреть, как идет сортировка семян и как они хранятся. Ворота были открыты; в глубине помещения, освещенного двумя небольшими лампочками, шумела очистительная машина, было сумрачно и пыльно, и Кондрашов вначале не узнал женщин, обслуживающих машину. Механика разглядел — Иван Кузнецов, по-деревенскому Кулачок.

— Это Куталиха с Назарихой да Карповна, — подойдя к нему поближе и поздоровавшись, подсказал он. — Ничего, дело идет, бабы работу знают.

Кондрашов улыбнулся на слова механика: ну и привычка у русского человека — величать людей по-уличному. Давно заметил, что сам он тоже склонен к этому: нет-нет да и называет кого-нибудь по прозвищу, и, самое главное, люди не обижались, потому что сами жили по неписанным законам деревни.

— А ты? — поддел его Кондрашов.

— А моё дело простое: сита поставил, машину смазал — и вперед. Так вокруг неё кругами и хожу целый день.

- На первый класс вытянем?
- А это дело агронома, — хмыкнул Кулачок.
- Где он сейчас?
- Как раз пошёл на первый класс тянуть.
- Это как понимать?

Механик засмеялся; в разговоре наступила небольшая пауза, и Кондрашов понял, что здесь что-то не так и Кулачок недоговаривает не случайно.

— Так где, говорю, агроном?

— Я и говорю: в другом складе семена отбирает, завтра собрался пробы в лабораторию везти.

Склад стоял рядом; в нём было также сумрачно, но в небольшой конторке, сбитой из теса, горела лампочка, и света хватало с избытком, чтобы даже читать газету. Агроном Михаил Савелич Лылов сидел на лавке, стоящей возле стены, как раз под лампочкой; придерживая на коленях широкую деревянную лопату с рассыпанными на ней зёрнами ячменя, он длинными и тонкими, как у музыканта, пальцами откатывал из общей массы самые крупные, а затем смахивал их в ладонь и сыпал в небольшой мешочек. За этой работой и застал его Кондрашов.

— У тебя, Михаил Савелич, своя сортировка работает, — съязвил он — Хорошо идёт дело. Завтра ты мне доложишь, что семена первоклассные, а на самом деле будем сеять мусором. Так говорю?

Лылов даже не покраснел и не заставил ждать ответа:

— Все так делают, — и осторожно поднял лопату с колёней. — Для чего? Во-первых, в сводке будем выглядеть неплохо; во-вторых, ругать нас за этот показатель не будут; и в-третьих: мы-то знаем, какие они у нас, ещё пропустим через сортировку. Опоздать не опоздаем: вторую машину запустим.

— А чего тянуть с другой, запускаяй.

— Нет, дорогой мой человек, нельзя сейчас.

Лылов свою сортировку закончил; мешочек положил в карман пальто, а оставшиеся на лопате зёрна, по его мнению, ниже классом, просто сыпал в стоящее тут же ведро.

— Нельзя сейчас в полную силу работать, — повторил он в раздумье. — и когда можно будет, не скажу... Нет, скажу:

когда спадают морозы чуток. Вся сложность в том, что на морозе зерно становится хрупким, вот и колется при сортировке, что, конечно, нежелательно. Вывод простой: надо подождать, но мы, как полагаю, не отстанем, до сева успеем.

— Тогда какой резон лукавить со сводкой? Что имеем, то и надо давать в отчёт.

— Дело ваше, Иван Дмитрич, — не стал спорить Лылов. — Ну, хорошо, отвезу пробы на анализ без моего отбора, контрольно-семенная своё дело сделает, и в сводке мы можем оказаться в хвосте. Это значит, надо будет готовиться на бюро, а какие выводы там делают, вы знаете.

— Положение поправим.

— А мы и без бюро справимся, нам погоняльщики не нужны.

То, что сильные морозы создают такие сложности при сортировке зерна, Кондрашов услышал впервые и, доверившись практике опытного агронома, перечить ему не стал. Лишь только напомнил, уходя из склада, что люди, которые будут на подработке семян и на севе во время полевых работ, должны пройти медосмотр в районной больнице.

5

Тихо и звёздно. Только-только отгорел закат — ясный, подсвеченный сверху жёлтым светом, словно из далёкого лета лоскуток луговины с цветущими одуванчиками проплыл над горизонтом и зацепился за тонкий осколок месяца; осветил людям в синих сумерках, порадовал — и угас. Кондрашов ехал из райцентра и в раздумьях о завтрашнем дне вначале не обращал внимания на эту красоту. Закат горел как бы в стороне, потом дорога шла через лес, но когда выехал на просёлок и она повернула направо, к закату, — и открылась его взору величественная картина встречи дня и ночи. Много раз, уже в новой должности, возвращался он домой в вечернее время, но красоты такой, как ему показалось, ещё не видел. Воронок весело пофыркивал, также весело поскрипывали железные полозья, и, впитывая в себя все звуки, цвета и запахи уходя-

щего дня, Кондрашов чувствовал, что эта величественная картина, написанная талантливейшим художником всех времён, вливает в него новые силы. И ему веселее стало думать о делах, которыми он был занят сегодня и которые ожидали своей очереди. Они забрали у него весь световой день, хотя, как ему думалось, некоторыми из них могли бы заниматься с успехом отраслевые специалисты — агроном, инженер, зоотехник; ветврача Кондрашов ещё не успел подобрать, его прежняя должность оставалась вакантной, и на фермах хозяйничал пока один Петрович.

Конечно, могли бы, как в своё время делал это он, но почему-то ему приходится вникать во все мелочи. «Не доверю, что ли? — подумалось вдруг Кондрашову, и он тут же обрадовался своему открытию. — Да, так и есть. Если Лылов решает свои вопросы, то зоотехник всё больше говорит, а вот в делах не особо».

Он стал перебирать в памяти, чем занимался в последние дни зоотехник; зримо представил, как тот проводил на первой ферме контрольную дойку, как сидел над отчётами в конторе, как ездил в райцентр за молочными бидонами. Но опять же именно он заставил его сделать это после того, как побывал на ферме и поговорил с доярками. Он не видел, что не хватает бидонов? Видел. А ведь хватало. Почему не хватает, молока прибавилось? Спросил у него, и тот не моргнув глазом дал ответ: разворовали. Заставил разобраться, у кого они были под отчетом, — у завфермой; значит, пусть или платит за них, или находит. ещё воруют сено; скирдок стоит возле фермы, и берегут его молодым теляткам, потому что сено, как чай, — душистое, мягкое — луговое, и убирали его в погоду.

Подумал о телятах, а мысли, как всегда, дальше: вспомнил Наталью. Вообще-то о ней он помнил постоянно; чтобы ни делал, а зримо подумает о ней, хоть на секунду, но представит, как, например, идёт она за водой, как стоит у плиты и готовит обед; самая главная картина — как держит на руках малютку. Иван только один раз и посмотрел на неё, когда перевозил Наталью от родителей: чёрненькая, лупастенькая, а глаза — две синих полынни, на щеке родимое пятнышко.

— Чёрная — в тебя, — сказала тогда Наталья, — да и родинка твоя. И не одна — как у тебя, вот где приклеить сумел.

С этими словами она распахнула пелёнку и показала их целую россыпь.

В светлых думках через полчаса Иван был уже в деревне, но домой не поехал, а сначала завернул в контору; сидел с полчаса в кабинете, просматривая почту, потом позвонил по неотложным делам и наконец, считая рабочий день законченным, решил проскочить на ферму, где по ночам, словно зайцы молодые яблони в колхозном саду, общипывали скирдок сена ночные гости. Конечно, посмотреть на скирдок — это был всего лишь повод поехать в ту сторону; на самом деле Ивана потянуло к Наталье, с которой не расставался в мыслях, которую хотел видеть и слышать вместе с малюткой.

В помещениях фермы горели тусклые огни. В самом дальнем, а этот был телятник, где в своё время хозяйничала Наталья, побряхтывал навозный транспортёр, очевидно, ночные скотники, заступившие на дежурство, выкачивали навоз. Скирдок стоял за телятником; и Кондрашов привязал Воронка на привычном месте, а сам медленно пошёл в ту сторону, вслушиваясь в темноту. Его шаги скрадывала рассыпанная по снегу то ли солома, то ли сено, а потому к скирду Кондрашов подошёл неслышно; остановился, прислушался: за его углом слышалось недовольное бормотанье, непонятный шум, по всему кто-то ворошил сено.

Тот, кто дергал из скирда сено, должен будет идти мимо него, прикинул Кондрашов, так как вокруг фермы забор и всё занесено снегом, а дорога к деревне только через ворота, которые давно примёрзли и не закрываются. Он стоял и думал о том, что будет делать в этой ситуации; и даже потужил, что завернул на ферму: ну зачем ему эта война с народом за вязанку сена или соломы? Кондрашов считал, что украсть людей гонит нужда, и, кроме колхозного скирда, им разжиться больше негде.

Ну остановит он ночного вора, постыдит, обругав при этом, и заставит вязанку отнести назад; а человека-то всё равно будет жалко, так как, может, он и рад был бы сено

выписать и уплатить деньги, да на заседании правления решили никому не выписывать — ни за наличные деньги, ни в счёт зарплаты. Выходит, виноват колхоз: не обеспечил кормами.

Кондрашов вспомнил рассказ председателя соседнего колхоза, как тот боролся с хищениями сена: посидел под скирдом, дождался, когда человек с вязанкой пошёл домой, и, тихонько подкравшись сзади, на ходу чиркнул спичкой и сунул её в вязанку. От этих мыслей Кондрашову сделалось неприятно; он круто развернулся и быстрыми шагами пошёл от скирда.

* * *

И вот уже в который раз за эти годы Воронок торопится к Натальиному дому. В морозной тишине поскрипывают гужи, санки переваливаются на сугробах с боку на бок — дороги-то на посёлок никакой, как не было их совсем недавно по всему колхозу: поработали прошедшие недавно снегопады, а трактор с бульдозерной навеской подготовить к зиме не смогли. Сани и люди торили свои пути — узкие и ровные, и по этим набитым дорогам легко ходилось и ездило. Вот почему Кондрашов не спешил расставаться с Воронком и пересаживаться на «уазик». «Пусть постоит, — решил он. — Надо мотор перебрать, да и по мелочам много чего надо сделать».

Уже две недели водитель с утра до вечера в гараже, а Иван — с послушным Воронком; дёрнет за вожжи, причмокнет губами, словно подсказывает, куда надо ехать, и умная лошадь понимает хозяина. Так и сейчас: причмокнул губами, шлёпнул по крупу вожжой — и Воронок по сугробам к посёлку. Днём посёлок как на ладони — рядом и весь просматривается, а сейчас не разглядеть. В эту зиму у его жителей особой нужды не было: кормов и топлива заготовили, а остальные мелкие заботы из-за снегопадов отставили, разве что узенькой тропкой выберутся в магазин за хлебом.

Но и без дороги Воронок скоро стоял на своём обычном месте, у электрического столба, а Иван — под окнами; они ярко светились, они звали его. Короткий стук в стекло,

а сам к двери — замер, слушает: гудит на морозе электрический столб, стучит в груди сердце; а ещё слышит он, как скрипнула, открываясь и потом закрываясь, в доме дверь, слышит лёгкие шаги за входной дверью и её голос:

— Кто там?

— Я, Наталья.

Дверь открылась, и Наталья очутилась в его объятиях — тёплая, нежная и желанная-желанная, какой, как казалось ему, ещё никогда не была.

И когда они вошли в дом, Иван не стал оставаться со своими чувствами наедине; он снова обнял Наталью, поцеловал сначала в одну щеку, затем в другую, несколько легких поцелуев пришлось ей на кончик носа, и, глядя ей в глаза, признался:

— Люблю, и сильно. Всё время хотел к тебе, да дел много было. И Снегурочку посмотреть хочу.

Наталья счастливо улыбалась, глаза её влажно блестели. С минуту они стояли посреди комнаты — глаза в глаза, нос к носу, потом, словно очнувшись, Наталья сказала:

— Ну, иди, посмотри, какая она у нас.

Малышка лежала в коляске, стоящей возле плиты. Иван подошел, наклонился над коляской: родной для него маленький человечек, завернутый в пелёнки, спал, посадывая пустышку; и чем больше смотрел на него Иван, тем роднее он становился ему, а сердце захлёстывало волной светлое чувство близости.

Потом они сидели за столом — ужинали, вели неторопливый разговор, обсуждая все дела, — и колхозные, и личные. Они с удовольствием проводили время, потому что соскучились друг по другу и хотели рассказать, как жили всё это время, чем занимались, о чём думали.

— Вань, а я думала, что ты меня забыл, — призналась Наталья. — Каждый день ждала, а тебя всё нет и нет.

— Радость, не забыл и не забуду.

Они сидели на углу стола: она по одну сторону, он по другую.

— Не забыл и не забуду, — повторил Иван.

Он положил на стол вилку и хлеб, погрузил в ладони её руки, поцеловал их, прижал к своим щекам.

— Глупышка, я без тебя жить не могу. Чтобы ни делал — все думки о тебе и о малышке. Ты её так и назвала Алёнкой?

— Да. Редкое имя, ласковое. Да и ты, по-моему, не против был.

— А я ничего. Хорошее имя, а как звучит-то: Алёна Ивановна.

— Вань, — она погладила указательным пальцем его брови, потом нос и губы и снова брови, — как это воспримут, если запишу Аленку на тебя? Ивановной?

— Не знаю. Кто как, а лично меня это не волнует.

— Я что-то тебя не пойму: рассуждаешь, как чужой.

— Ну почему чужой? Не чужой, я, может...

— А как тогда понимать твоё «не волнует»? — перебила его Наталья. — Правильно, значит, мне недавно сказали за тебя. Все верно: корова телится, у быка задница не болит.

— Наталья, ну причём тут бык и ещё кто-то? Я же тебе сказал, что мне всё равно, кто и что подумает. Это наше с тобой дело, и на каждый роток не накинешь платок.

У Натальи слёзы близко: Иван ещё не закончил говорить, а у неё уже повлажнели ресницы.

— Я что, — сквозь слёзы заговорила она, — сижу вот. Это ты меня посадил, и сижу, жду, а тебя всё нету и нету...

— Наталья, ведь столько дел свалилось, — начал оправдываться Иван. — Ну разве я враг себе... Нам? Я же сам к тебе хотел, а всё никак не получалось.

— Я не знаю, где ты, с кем ты, что думаешь... Ты хотя бы письмо прислал, если сам не мог приехать, — почта к нам ходит.

— Видишь — приехал, — успокаивал её Иван. — Не плачь. Работа сложная, всё ново, но вот начал осваиваться, значит, проще теперь будет...

Иван снял со спинки стула полотенце и, поддерживая одной рукой её голову, вытер им слёзы. От того, что он говорил и делал, Наталье сделалось легче, на сердце отлегло, она снова поверила: это не просто доброта его души, это тревоги и волнения любящего человека; а слёзы сами по себе перестали застилать свет, и близко-близко увидела она его лицо, наполненные тревогой глаза; она успокоилась, потому что рядом был любимый человек, который её не

забыл, не бросил, значит, она ошиблась, и сомнения её были напрасны.

— Вань, — словно из последних сил, тихо, как бы выскзывая просьбу, промолвила Наталья, — не бросай меня, ладно? Бросишь — считай, что я мёртвая сразу. Алёнку только не оставь одинокой, доведи до ума.

— Ты что несёшь чепуху! — возмутился Иван. — Я же тебе сказал, что и в голове у меня ничего такого не было.

— А знаешь, Вань, ведь я тогда ещё, давно, уже хотела закончить с собой: дура, подумала, что ты меня бросил, и не захотелось жить. Потом поверила — не бросишь, а сейчас опять к тому же.

— Наталья ты, Наталья, — осуждающе сказал Иван, — травмишь свою душу домыслами, всякими выдумками. Ты лучше думай теперь о ней, — и показал пальцем на коляску, где заворочалась, всхлипнув во сне, Алёнка, — а я каким был с тобой, таким и останусь.

Наталья посветлела лицом:

— Ты знаешь, я вообще-то тоже так думала. И совсем тебе поверила, когда ты, как Дед Мороз, меня и Снегурочку в метель спасал.

— Вот и я говорю, нам теперь надо о Снегурочке думать, — сказал Иван и вдруг засмеялся.

— Чего тут смешного?

Наталья не видела причины для смеха.

— Чего смешного-то? — переспросил Иван. — Скорее, — весёлого: ещё одно имя будет у малышки — Снегурочка.

— Ваня, я о ней думаю. Она вырастет, — уверенно сказала Наталья, — мне не особо тяжело с ней. Хорошо, что помогает Илья, без него, конечно, труднее было бы. Я вот сейчас всё о ней, а думки мои и о тебе тоже; и, знаешь, о тех девках, о старших моих, стала меньше тревожиться. Наверно, надеюсь на них — уже взрослые, а самостоятельные с детства; им нянька не нужна: и стирают на себя, и обед приготовят. Они меня понимают; приезжали недавно... Как же рады были Алёнке! Купали её...

Наталья, как на исповеди, рассказывала о своём житье-бытье; Иван молча слушал, иногда поддакивал или что-то переспрашивал, и весь их долгий разговор похож

был на семейный совет на пороге какого-то большого события.

6

Время бежало вместе с талой водой. Поздней весной, уже по теплу, когда стал править делами май, разукрасив в зелёный цвет луга и сады, а затем разбросав по этой зелени жёлтые одуванчики, вихрастые кисти сирени, по просохшему просёлку, который вёл от берёзового перелеска, подскочил к дому крытый грузовичок. Наталья толком ничего не успела расспросить, как водитель с напарником разгрузили и занесли в дом пахнущие свежим деревом диван, кровать, стол и несколько стульев. Она, конечно, догадалась, кто старается ей помочь, хотя на её вопрос: «откуда всё это?» — водитель промолчал; его напарник буркнул что-то невнятное: мол, им сказали в магазине отвезти, а остальное не их дело.

В доме похорошело после небольшого косметического ремонта: Илья переложил плиту и помог оклеить стены обоями, затем собрал и расставил по местам мебель; под потолком сверкала, переливаясь огнями, весёлая люстра, а на окнах висели шторы — широкие и такие же цветастые, как светозарный июнь. И, глядя на Снегурочку, которая в свидетельстве о рождении была записана как Алёна Ивановна Савельева, Наталье было легко и радостно: дочка с каждым днем набирается сил, и где-то рядом, совсем недалеко, Иван, самый близкий для них человек. Так она думала и чувствовала это сердцем.

Но порой сомнение снова закрадывалось в её трепетное сердце; проходили день за днем, а его всё не было; даже Илья, у которого пыталась расспросить, не видел ли он Ивана, даже Илья не мог ничего сказать конкретного и только пожимал плечами. «Дорог у него много, и все в заботах, — говорил он. — Обещался заехать». Время измерялось днями, неделями, и всегда получалось, как говорил Илья. Он приезжал уже на уазике, и уже не со стороны фермы, а с противоположной, от берёзового перелеска; он словно подкрадывался узеньким просёлком, и всегда либо

перед сумерками, либо в ненастную погоду, когда меньше всего была вероятность встретить на пути постороннего человека, тем самым избежать ненужных сплетен.

— Собака не видит — не брешет, — говорил он. — А то прославят на всю округу.

Встречи их были такими же жаркими, а потому казались короткими, и, очевидно, только поэтому расставались они с желанием скорее увидеться снова. И хотя Иван говорил Наталье, что к работе привыкает, осваивается, что возможность увидеться теперь у них будет чаще, но надежды его не оправдывались; наоборот, всевозможных забот прибавлялось, они забирали всё свободное время, они засасывали его, как трясина, и когда Иван приезжал, он чувствовал себя виноватым перед ней за долгую разлуку.

Так прошёл год, потом ещё один; Алёнка подрастала, и Наталья уже подумывала, что надо бы выходить на работу, но вот как быть с малышкой, не знала: до детского сада далеко, да и водят туда детей часам к восьми, а на ферму ей надо будет уходить затемно. Она так и не придумала ничего хорошего, а потому смирилась со своей судьбой домохозяйки, и все думки её в свете уходящих дней были похожи одна на другую. Но вот в один из дней цветущего лета стукнула калитка, и Наталья увидела за окном свою старшую, Настюшку: сумочка через плечо, в руках пухлый целлофановый пакет, очевидно, с вещами. Она за порог; посмотрели друг на друга и засветились, засияли от счастья-радости, заговорили наперебой:

— Приехала, дочка.

— Да вот, мам, и приехала.

— И молодец; а то я вспомню-вспомню вас... И посмотреть на вас хочется, и поговорить вот так.

Маленькая Алёнка сидела за столом; она чайной ложкой ела манную кашу и с интересом смотрела, как два взрослых человека радуются, словно малые дети. Но скоро малышка оказалась на руках у Настюшки; она обнимала Алёнку, прижимала к себе, теребила чёрные волосы, а то брала в рот её маленькие розовые пальчики и начинала их играючи кусать; и на все эти заигрывания с нею ребёнок заразительно смеялся, обнимая Настюшку за шею, пытался как-то спря-

таться от неё, отстраниться, увернуться, но не в силах это сделать, захлебывался от счастливого смеха.

— Ах ты, Снегурочка! — Настюшкиному счастью не было предела. — И как это тебя не заморозил тогда дедушка Мороз?

Наталья быстро поставила на стол еду. Они продолжали разговор, и Наталья, также счастливая до бесконечности, с материнской нежностью любовалась детьми, говорила им ласковые слова, угощала. Приезд Настюшки сделал всех под крышей Натальино дома счастливыми.

На своём веку этот дом повидал много всякого, что выпадало на долю его обитателей: и плохого, и хорошего, и теперь вот становился свидетелем события, которое вместе с короткой радостью несло им новые заботы и тревоги. С приездом дочери отошли на второй план её беспокойные думки о любимом человеке; она все больше думала о Настюшке, о Ларисе, и даже Алёнка как бы меньше стала получать от матери душевного тепла. В своих раздумьях она неизменно приходила к мысли, что судьба её старших дочерей складывается такой же незавидной, как у неё самой; иначе о них думать не могла, ведь выросли без отца, с детских лет постоянно были в домашней работе: помогали по хозяйству, полости огород, потому что большую часть времени Наталья проводила на ферме, и, кроме них, помощников у неё не было. С детьми Наталье легче было переносить трудности, какие преследуют матерей-одиночек, и это она почувствовала, когда дети после восьмого класса сельской школы ушли учиться в райцентр, где была десятилетка с дошкольным интернатом.

Судьба повела дочерей дальше, в город, но Настюшка учиться и получать высшее образование не захотела, посчитав, что проживёт и без него. Наталья переубеждать её не стала, — очевидно, нет интереса к учебе, подумала она, хотя видела, что училась дочь легко, без напряжения, словно мимоходом, справлялась с уроками, любила читать художественную литературу и подолгу могла рассказывать о прочитанном. Настюшка пошла работать на завод приборостроения, и по всему такая жизнь её вполне устраивала. Лариса более серьёзно смотрела на жизнь и потому

выбрала для себя другую дорогу: после десятилетки подала документы в педагогический институт, сдала экзамены и перебралась в студенческое общежитие.

Дочери были для неё и моральной поддержкой; Наталья уже по-иному смотрела на житейские неурядицы, иногда оценивала свои действия и поступки с их позиций: мол, девки мои сделали бы именно так, не иначе; или в разговоре с кем-то скажет одно, а потом поругает себя, мол, девки мои так бы не сделали.

Они ушли от неё, жили своей жизнью, и Наталья это видела; в минуты большой грусти она чувствовала себя одинокой и думала о том, что с каждым годом её дети будут уходить всё дальше и что это неизбежность в судьбе каждого поколения. Но она мирилась с этим до тех пор, пока не вошёл в её сердце Иван; нет, теперь она не представляла себя в одиночестве, она знала: даже если и останется одна, всё равно не будет чувствовать себя одинокой. А когда появилась на свет Алёнка, это невинное дитя земли и неба, словно Снегурочка, сотканная из белых хлопьев снега и синевы небес, Наталья совсем забыла об одиночестве, и её трепетное сердце пугало лишь одно: она боялась потерять Ивана, которого любила не меньше, чем своих детей.

На другой день их радость улеглась; Наталья и Настюшка переговорили о многом, и впервые мать уловила в поведении дочери, во взгляде, в её разговоре что-то новое, чего раньше не замечала: взгляд стал более выразительным; разговор был уже не юной девушки, в нем присутствовали рассуждения человека с определенным жизненным опытом, способного к анализу. «Это от самостоятельности у неё, — подумала Наталья. — Слишком рано ушли от матери. Пожить бы им рядом со мной — лучше было бы». Наталья только подумала, а в голове вихрем пронеслись события далёкой юности, когда намного моложе дочери вышла замуж, а в её возрасте — нет, чуть постарше — уже возвратилась с детьми в родительский дом, оставив мужу всё, что нажили совместно. И хорошо, что рассталась, а то мучилась бы с ним всю жизнь: по разговорам, доходившим до неё, бывший муж спился совсем, дважды пытался за-

вести новую семью, но его избранницы также расставались с ним, как это сделала в своё время и Наталья.

«Да, девки созрели уже, — подумала Наталья, и тут же спросила Настюшку, сама не зная зачем:

— Настюш, что-то не похвалилась ты за женихов своих?

— Мам, а что хвалиться — ухаживают, провожают. Один особенно усердно: давай, говорит, поженимся.

— И что он из себя представляет?

— Так себе: высокий, стройный. В торговле работает: мать его каким-то начальником, вот и пристроила. Машину купила ему.

— Ну а ты?

— А что я? Провожает, подарки дарит. А знаешь, мам, — и Настюшка доверчиво прижалась к матери, посмотрела ей прямо в глаза, — не люблю я его. Приятно с ним бывать, но мне нравится другой.

— А он?

— Кто?

— Тот, который нравится?

— Тоже провожает, но только ничего не предлагает.

Наталья в задумчивости поправила завернувшийся воротничок её платья:

— И что же ты думаешь делать?

— А что бы ты сама сделала?

Наталья даже растерялась: и, правда, что бы сделала? Она помолчала, вспоминая свою первую любовь. Конечно, это была не любовь; мать же говорила: «Дура, какая любовь тебе, если человек из плохой семьи и сам что зря. Одумайся». говорила, а она не одумалась. Как же — любила...

— Чтобы я сделала? — переспросила она. — Не знаю. Я выходила замуж, как мне тогда казалось, по любви, но, видишь, лучше бы не выходила. Это была не настоящая любовь, скорее, сильное увлечение. Лучше выйти без любви, главное, чтобы жизнь хорошей была. Мне мать рассказывала, что раньше так и выходили замуж, без любви: пришли сваты — родители смотрят, из какой семьи жених, то есть хорошие ли хозяева его родители, долгожители или нет, может, какие больные; если что не так — хорошие хозяева ни за что не отдадут хорошую девку.

— Мам, а я какая, плохая или хорошая?

— А я какая хозяйка?

И они весело засмеялись, но при этом Настюшка поспешила мать успокоить:

— Ты хорошая, значит, и я тоже. А ещё скажу тебе по секрету: провожая меня сюда, Андрей сказал... — и тут же пояснила, — его зовут Андреем, — да, Андрей сказал, что через неделю придет меня сватать.

Наталья опешила:

— Ты это всерьёз?

— Да, так и сказал.

— Это какой Андрей, что предлагал жениться?

— Да, так и сказал.

— Что же тогда молчишь, ничего не говоришь? Приедут сваты, и чем я их угощать буду?

— Сказала, — и Настюшка виновато улыбнулась, мол, что тут поделаешь — виновата; но в душе она обрадовалась, что мать восприняла её сообщение, словно бы уже дала согласие на их свадьбу. — Мы договорились, что Андрей привезёт продукты.

— А что будем делать с любовью? Может, она не нужна людям, и всё — выдумка?

— Не знаю, — призналась Настюшка.

— Девка ты, девка, — сочувственно сказала Наталья, — запуталась в женихах совсем. Мать была душой, и дочь такая же непутевая. Твоя бабушка говорила: семья — не хомут, с шеи не сбросишь, хотя, конечно, времена другие теперь, всё можно. Но если смотреть по матери, то ничего страшного нет: мать твоя всех переплюнула — в шестнадцать лет выскочила замуж, а тебе вон уже сколько.

Наталья в волнении заходила по комнате: от стола к окну, потом к плите и обратно к столу, загремела посудой.

— Ты думаешь, мне легко было замужем? Иди попробуй, а ещё лучше — порасспросай у кого-нибудь, как там живётся.

— У всех разная жизнь.

— Правильно, я об этом и говорю. Мне замужем хорошо жить счастье не выпало, а дочери, может, повезёт.

— Мам, а, собственно, я не собираюсь замуж.

— Зачем же тогда это сватовство?

— Я ему говорила, что нечего огород городить, а он своё: приедем да приедем. А прямо сказать, что я за него замуж не пойду, духу не хватает.

— Надо было говорить.

— Mam, спасибо. Ты у меня хорошая, — и Настюшка поцеловала её в щеку. — Я тебя понимаю, а себя ещё не совсем. Андрей тоже хороший: выпивает мало, не курит, постоянно в делах и с родителями ладит; во мне души не чаёт, и мне всё чаще становится его жалко.

— Ну и хорошо тогда. Приедут, — значит, приедут, вот только бы Ларису предупредить надо.

— Она всё знает, Андрей за ней заедет.

— Девка ты, девка, — в очередной раз тяжело вздохнула Наталья; и заспешила управляться с делами на двор, где давно повизгивали в ожидании кормёжки два хрячка: недели две назад Иван вытряхнул их в закутку из мешка и пообещал вскорости заехать и сделать из них боровков.

* * *

Все последующие дни прошли у Натальи в хлопотах. Вместе с Настюшкой они мыли, скребли, подбеливали, и в доме заметно посвежело, стало выглядеть празднично, особенно после того, как повесили выстиранные и выглаженные шторы. Алёнка с интересом таращила свои синие глаза, пыталась в чём-то помочь им, но настоящей трудовой спайки со взрослыми у неё не получалось.

— Снегурочка, не мешай, не до тебя, — отмахивались от неё взрослые, и Алёнка, обиженно надув губы, уходила в свой угол, где лежало много больших и маленьких разноцветных игрушек.

Иван заехал с Ильёй. Они сразу пошли на двор, и скоро оттуда донёсся пороссячий визг; через полчаса всё закончили и уходили, и как ни старалась Наталья уговорить их зайти в дом и перекусить, Иван отказался.

— Ты знаешь, при девке неудобно как-то. Мы лучше у Ильи посидим, — объяснил он. — Всё равно приятно на душе будет — рядом же; и на тебя вот посмотрел.

— Вань, она уже взрослая; и я уже тебе говорила, что они всё знают. Да, и ещё: замуж она собралась, на днях сваты должны приехать.

Иван расплылся в улыбке:

— Поздравляю. Глядишь, скоро бабкой станешь.

— Пойдет в меня — и стану, — и пожаловалась. — В пень стала, целыми днями на ногах.

— Сказать Илье, чтобы помог?

— Это не его работа, а женская.

— Может, чем ещё помочь?

— Я же говорю, всё женская работа.

Илья давно ушёл домой готовить закуску, а Иван всё стоял с Натальей под окнами, расспрашивал об Алёнке, ещё о Настюшке и Ларисе, и за этим нехитрым разговором им обоим было тепло и радостно. Понимая, что времени прошло много и Илья заждался, Иван заспешил уходить.

— Иди, — сказала Наталья, легонько подёргав его за полу пиджака, — но смотри не шельмуй с кем зря.

— Никого, кроме тебя, у меня нет, — успокоил её Иван, — и даже в мыслях не держу.

От её слов на душе у него стало неуютно. «Не доверяет, — подумал он, — думает, что я кобель». С тем и пошел к Илье, где стояла его машина.

Они сели за стол; дед разливал свою фирменную по рюмкам, Иван резал хлеб; затем чокнулись, но, прежде чем выпить, Иван попросил:

— Илья, доберись завтра до кладовой: возьми мяса и принеси Наталье. Я скажу кладовщику.

— Понял, — кивнул головой дед, и опрокинул рюмку в рот.

Иван не отстал. Пока закусывали и выпили по второй, к нему пришли другие мысли. «Это у неё не от плохого, — думал он, — ревнует — значит, любит». Об этом и сказал Илье.

— Молодой человек, — откликнулся на его откровения дед, — после всего, что произошло у вас, глупо думать по-другому.

Сказал — как поставил точку в разговоре на эту тему.

Как ни ожидала Наталья сватов, а нагрянули они неожиданно. С утра с Настюшкой и Алёнкой они носили из колодца воду, потом сидели под окнами на лавочке, грелись на солнце и размышляли, что ещё можно приготовить из мяса, принесённого Ильей. Перед обедом собрались сходить в магазин и посмотреть чего-либо, чего, по их мнению, не будет хватать на столе, как вдруг из-за сада неслышно выкатилась легковушка, за ней другая, и, просигналив, они остановились у калитки. Открылись дверцы — и к дому толпа людей с шутками-прибаутками.

— Хозяйка, открывай двери-ворота, — и молодые озорные ребята кто через калитку, а кто через изгородь; кто постарше — степенно, оглядывая её домишко и их, стоящих возле порога с пустыми сумками.

Наталья повернулась к Настюшке, чтобы отдать ей сумки и пойти встречать приехавших, и ужаснулась: дочь стояла бледная, готовая заплакать. Вчера и сегодня утром они снова вели непростой разговор; Настюшка твердила одно:

— Не люблю и замуж за него не пойду.

— Дура, — также настойчиво убеждала мать, — тыщу раз не предлагают. Иди, семья хорошая. Посмотри, кругом одна пьянь, а этот, говоришь, не пьёт, с деньгами, с машиной. Барыней будешь жить.

Выслушав материнские речи, Настюшка согласилась.

— Мам, ладно, пойду, пойду. Разве плохо замужем быть, тем более барыней, — говорила она, похохатывая, и мать не могла понять, шутит ли её девка, или всё это на полном серьёзе.

Наталья сунула сумки дочери в руки и строго сказала:

— Шагай в дом, быстро приведи себя в порядок.

А сама — к сватам; на лице вымученная улыбка.

— Здравствуй, хозяйка!

Сватам весело, у них на душе праздник, а у Натальи — кошки скребут: и рада всему, что происходит, и не рада. Сквозь землю провалиться бы, да не провалишься.

— Здравствуйте, здравствуйте!

Улыбка на лице Натальи потеплела: вместе с молодежью Лариса, тоже весёлая, смеётся, с каким-то кучерявым за руку держится.

Пока молодёжь суежилась вокруг неё и Алёнки, подошли старшие, очевидно, родители.

— Добрый день. Савельевы здесь живут?

— Не ошиблись. Проходите, — приглашает Наталья, а сама смотрит, где Лариса. — Дочь, позови Настюшку.

Через минуту они появились на пороге; Настюшка успела переодеться, поправить причёску. Тот самый кучерявый, что держался с Ларисой за руку, подошёл к Настюшке.

— Вот и мы; как говорил — приехали.

— Поздравляю, — буркнула в ответ Настюшка.

Наталья видела, как трудно приходится дочери совладать с собой, а потому и сама была на грани срыва. «Упаси Боже испортить всё дело, — мысленно уговаривала она Настюшку. — Непорядочно будет всё выглядеть». Дочь словно услышала молитву матери: она улыбнулась, кому-то помахала рукой, при этом хохотнув, но не каждый мог разобраться, что за её смехом скрывается и что несёт он с собой. И потом уже, когда сваты зашли в дом и сели за столы, когда в разноголосье подвыпивших людей Настюшкин смех звенел, как колокольчик, Наталье показалось, что дочь не сможет пересилить себя и тем самым причинит матери острую душевную боль.

Но молитва матери дошла до Настюшки: «Всё хорошо, — сказала она сама себе, — это всего лишь простые поделки, они ничего не решают». И Настюшка веселилась: в очередной раз смешно хохотнув, поцеловала Андрея в кучерявую макушку, когда он после долгого молчаливого сидения попытался ей что-то сказать; сваху назвала мамой. Она превзошла сама себя: так могут играть на сцене самые талантливые актёры, а в жизни простые люди, суть характера которых поэт объяснил стихами: «В грозы, в бури, в житейскую стынь, когда нелегко и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусство».

Так получилось, что ухаживания Андрея Настюшка всерьёз не принимала. Провожает? Всех девчат провожают.

Дарит подарки? А кому их не дарят? Порой ей казалось, что Андрей какой-то бесхарактерный, всегда больше молчит, даже побриться хорошо не умеет. Подруги спрашивают, что, мол, он у неё такой смирный? А он не её. Завидуют, что с машиной... Приятно, конечно, но отвергать его ухаживания у Натальи основания были, и о них Настюшка ещё никому не говорила, даже матери...

Наталья угощала сватов: то водочки нальет, то предложит котлету, и всякий раз старалась сделать так, чтобы они на Настюшку обращали внимания меньше. Это ей удалось: сваха — её звали Полина Григорьевна — от выпивки не отказывалась, но каждый раз пила не больше одного глотка; полная, светловолосая, лет сорока пяти, она оставляла о себе мнение как о женщине скромной, воспитанной, с хорошими манерами, чего нельзя было сказать за свата.

— Я Иван Иванович, — подвыпив, сипел он на ухо своему соседу, одному из друзей Андрея, — а вы зелень пузатая. Не жили ещё... Что мой отпрыск, что ты — ещё лиха не знаете. Это я говорю, Иван Иванович.

Услышав пьяный бред мужа, Полина Григорьевна дёрнула его за ухо:

— Сиди смирно, а то в машину пойдёшь.

Иван Иванович по всему был слушником: несколько минут старался сидеть тихо, потом всё повторялось по такому же сценарию. Но за это время свахи не спеша порешали многие вопросы; самое главное — договорились: если молодые решили, они перечить не будут; с ответным визитом, как обычно говорят, смотреть лавки в доме, где жить молодым, тянуть не будут — через неделю.

Сваты уехали, а вместе с ними и Лариса — у неё своё, утром на занятия. Наталья, усталая то ли от хозяйских забот, то ли от душевного напряжения, а может, от того и другого вместе, присела на лавочку под окнами дома; рядом пристроилась Настюшка. Она обняла мать, положив голову ей на плечо, и сквозь слёзы призналась:

— Мам, я ради тебя это сделала.

— Не плачь, дочка, всё будет хорошо, — тихо ответила Наталья, и голос её дрогнул: Наталья тоже плакала.

Не плакала только Алёнка; такая же уставшая от ласк незнакомых ей людей, которые постоянно хотели её понять, просто подержать на руках или потискать, она подошла к матери, положила голову ей на колени, а маленькими ручонками так же пыталась обнять, как сделала это её старшая сестра. Алёнка не плакала, но вся жизнь у неё была впереди, и, как было написано у них на роду, никто не избежит участи проливать горькие слёзы от житейских невзгод и слёзы любви и счастья.

* * *

Два дня, не переставая, лил дождь. Тёмно-бурые тучи ключьями висели над посёлком, и там, где они были ниже и темнее, водяные потоки белесыми полосами опускались с небес, заслоняя горизонт и всё, что было перед ним: лес и столбы высоковольтных линий электропередачи, помещения фермы, колхозный сад. В доме было также сумрачно и прохладно, а потому Наталья решила протопить; принесла дров, и скоро от горячих кирпичей и раскаленной чугунной плиты повеяло живое тепло. Настюшка с Алёнкой только пообедали и задремали на кровати, накрытые лёгким одеялом; а она села на стул перед дверцей, ноги к поддувалу, и ей сделалось хорошо в этой безмятежности, наваянной ненастьем и самой обстановкой в доме. Таких дней в её жизни было мало, все они проходили в хлопотах и тревоге, и — самое главное — душа не находила покоя; а тут вдруг на тебе: никому до неё нет дела, и душа не бунтует; полнейшая безмятежность — никуда не хочется идти, ничего не хочется делать. Нет, это состояние её души нельзя было назвать слабостью, скорее, к ней пришло чувство удовлетворения при виде всего, что её окружало; что к ногам подбирается тепло и теплее становится на душе, словно солнечный лучик карабкается по ногам всё выше и выше, до самого сердца.

Рассуждала Наталья просто: Алёнка растёт, и все зовут её Снегурочкой. Снегурочка так Снегурочка. Фамилия, имя, отчество есть, а остальное всё не важно. Настюшка работает, Лариса учится. Что ещё надо? Самой не везёт в жизни? Что делать, судьба такая выпала: была замужем,

потом стала разведёнкой, а сейчас мать-одиночка. Такое вот её бабье счастье. Но что плохого, если всё по любви? Пусть она украденная, но она есть, она греет, и сильнее, чем эта плита. А любить и быть любимой — разве это не счастье? Но это она, а вот Настюшка... Может, и дочь этого хочет — любить и быть любимой. Да все они имеют на это право.

Подумала так Наталья — и сильнее забилось сердце, и меньше стало умиротворения в доме, потом пришло ощущение, словно и вовсе не было его, а бушуют в этом стареньком доме страсти большого накала. Что это так — показали дальнейшие события.

* * *

На третий день непогоды небо посветлело; подгоняемый ветром дождь отполоскал туманные поймы Неручи и пошлёпал дальше, куда уносила река свои светлые воды, а вслед за дождём заторопилась на центральную усадьбу и Наталья. Чувствуя себя в этой ситуации беспомощной, она решила найти Ивана, к тому же утром Илья ей посоветовал то же самое.

— Иди к нему, ты помоложе меня, — сказал он. — У начальства сейчас много дел, так что заедет он сюда не скоро, а тебе без него не обойтись. И спеш: опоздаешь — уедет куда-нибудь.

Наталья пораньше управилась с хозяйством, наказала Настюшке приглядывать за Алёнкой, и через полчаса уже подходила к правлению колхоза; всего полторы версты от дома, а припарилась: шла напрямки, тропинкою через луг, часто сапоги её скользили, однажды чуть не упала.

Первый после ненастья погожий день развёл по рабочим местам даже самых ленивых. Кто-то по такой грязи выходить из дома не захотел, посчитав, что со своими проблемами можно подождать, а потому в правлении сидели одни работники бухгалтерии. Председательский «уазик» стоял за углом на асфальтированной площадке; значит, Иван никуда не уехал, сделала вывод Наталья, и сразу направилась к его кабинету, который размещался на втором этаже. Вошла осторожно, без стука. Иван сидел за ши-

роким столом, что-то писал в толстой тетради; поднял голову, сперва удивился, потом обрадованно улыбнулся:

— Что случилось?

— Ну, здравствуй, дорогой, — поздоровалась Наталья, всё ещё стоя у порога.

— Здравствуй, здравствуй, — ответил он, вставая из-за стола и подходя к ней. — Что по такой погоде примчалась?

— Решила вот на тебя посмотреть, как ты тут с чужими бабами шельмуешь, — шутливо ответила она на его вопрос, но дальше в таком тоне разговор вести не смогла: голос её задрожал, на глаза навернулись слёзы.

Иван взял её за руки, подвёл к столу, где стояли стулья.

— Присядь и рассказывай, что за беда.

— Правильно, Вань, беда, да ещё какая.

Наталья замолчала, не зная, с чего начать, потом собралась с мыслями:

— Тебе я говорила, что Настюшка собралась замуж. Готовились — и они, и мы, а сейчас упёрлась: не хочу, говорит, за него, и всё тут. Сил у меня больше нету её уговаривать.

Иван внимательно слушал, а она ему рассказывала, что приезжали сваты, и как вела себя Настюшка, что решили; рассказала о своей тревоге за неё, ведь живёт в душе боязнь, что заблудится среди ребят, собьётся с пути, а беспутная не будет нужна никому.

— Она-то что говорит? — спросил Иван.

— Не люблю, говорит, его, и всё.

— А зачем затевали сватовство?

— Сначала говорила, что не против, а вообще-то всё от сватов. Взяли да приехали. Вань, может, я виновата, что убеждала её сама: мол, кругом одна пьянь, а он парень видный, трезвый, родители вроде порядочные.

Жалкий, растерянный вид Натальи встревожил Ивана, но чем он мог помочь близкому человеку, не знал.

— Это когда лавки смотреть?

— Через два дня, в субботу.

— Думать тут особо нечего, — стал размышлять Иван. — Как и в любом деле, здесь три варианта: идти замуж — значит, ехать смотреть лавки; не идти — значит, не ехать; или повременить со свадьбой, но все равно ехать.

— Вань, она же не хочет ехать, — в сердцах сказала Наталья.

Иван ещё помолчал, очевидно, прикидывая, что ещё можно сделать в этой ситуации, и решил:

— Ладно, приеду сегодня, попробую поговорить с ней.

* * *

Чего-либо другого Иван придумать не смог. Провожая Наталью, заметил, как она облегчённо вздохнула, и осветлело её лицо; наверно, он рассудил правильно, и Наталья с ним согласилась.

Перед вечером обляпанный грязью «уазик», давно заменивший Воронка, по-тихому подкрался к посёлку и замер за углом Натальино сада. Иван подошёл к дому, постучал в окно, а когда хозяйка появилась на пороге, сказал, чтобы Настюшка вышла к нему. Подождал её, и потом они долго сидели в машине, но весь их разговор останется тайной и для матери, и для Настюшкиных сестер, и для сватов, которые всю эту неделю обновляли в своей квартире обои, красили, покупали продукты для застолья и подарки для невестинной родни и молодым.

Иван уехал. Настюшка с каменным лицом появилась на пороге, и Наталья поняла, что время, проведенное в машине, напрасно не прошло.

— Дочь, — сказала Наталья, — это и мой совет тебе. Дальше видно будет, как жить, но сейчас я плохого не желаю.

И погладила её по голове, как пожалела.

Наутро они встали как обычно; весело обсуждали свои дела, потом завтракали, но к обеду Настюшка помрачнела, стала ссориться с матерью по пустякам, раза два не поладила с Алёнкой, и та отреагировала на это плачем.

— Настюш, в чём дело? Что-то опять не так? — спросила её Наталья. — Ты чего, опять за своё?

— Да, мам, опять. Чужой он для меня.

Наталья так и села на стул; не будь его — лежала бы на полу.

— Дочь, живой в могилу меня отправляешь.

— Я первая в неё лягу — услышала она в ответ.

В обеде зашел Илья; потоптался под окнами, поправляя покосившуюся скамейку, затем его молоток простучал по корыту, в котором она давала курам мешанку и которое требовало ремонта. Наталья вы-шла к нему, и уже через минуту деда не было возле дома: сунул инструменты за порог, поправил на голове фуражку и потопал той же тропинкой, по которой вчера ходила Наталья.

— Сходи в правление, — попросила она его, — скажи Ивану, чтобы приехал. Он знает зачем. А мне уже неудобно — вчера была у него.

Иван не заставил долго ждать, приехал сразу, вместе с Ильёй. Как прошлый раз, стукнул в окно, предупреждая о приезде, но ждать, когда к нему выйдут, не стал, а сразу вошёл в дом и, поздоровавшись от порога, сразу спросил:

— Ну, как тут у вас?

— Никак, — Наталья сердито посмотрела на Настюшку. — Ветер у неё в голове, и наши слова — как горох об стенку.

Иван присел у стола, Илья примостился рядом.

— Ведь мы вчера с тобой договорились, — Иван строго посмотрел на Настюшку. — Как же теперь понимать?

— Дядя Иван, что вы меня сватаете? — заговорила она. — Избавиться от меня хотите? Так я для дома не обуза — живу сама по себе, работаю...

— Одним днём живёшь, — перебила её мать. — Жизнь-то потянется.

— И что мне потом делать?

— Жить, как все живут. Тебя любят, достаток будет.

— А если у меня к нему ничего нет... Да, Андрей неплохой, внимательный ко мне; да, любит... Но я-то равнодушна к нему.

— Дочь, время всё сгладит.

— Настя, ты вчера вроде согласилась со мной, — Иван внимательно следил за выражением её глаз и видел, что она колеблется в своем решении и словно ищет сейчас поддержки, но не находит. — Конечно, мать выходила по любви...

— Казалось, что любила, — поправила его Наталья. — Не любовь это была.

— Но иметь свою семью желание было, значит?

— Было, наверно, если шла.

— Вот и я говорю, что у женщины это основной инстинкт, от природы он, и в основном он влияет на выбор жизненного пути.

— У меня он ещё не заработал, я ещё не хочу создавать свою семью и иметь детей от Андрея, — не сдавалась Настюшка. — что ухаживает — мне приятно, пусть ухаживает, но жить вместе с ним — не представляю такого.

Илья слушал доводы сторон и молчал. По просьбе Натальи он также пытался внушить Настюшке, что выходить замуж за Андрея — это лучшее на сегодняшний день, но в душе соглашался с ней: это сегодня, а что будет завтра?

— Настя, а скажи мне, — вступил он в разговор, — какой ты представляешь свою жизнь дальше?

— Какой? — переспросила она. — Такой же, как и сейчас: работать, отдыхать с друзьями.

— А в семейной жизни?

— Не знаю. Полюблю — выйду замуж.

— А если тебя никто, кроме Андрея, не полюбит?

— Такого не бывает.

— Бывает. Ты полюбишь, и твой любимый предложит тебе выйти за него замуж, а любви-то у него, может, и не будет, как у тебя, к примеру, сейчас. Выйдешь ты за него, а он вдруг да и поймёт, что ошибся, и бросит тебя. Что будешь делать дальше?

— Жить.

— Это верно, жить дальше надо будет, но жизнь-то уже надломленной окажется.

— Взаимная любовь — это лучшее, — сказал Иван. — Но так бывает редко; всё больше — увлечение. А для девушки хорошо, когда её любят, ценят.

— Конечно, выйти замуж — не за водой сходить, — согласился Илья. — Но обычно молодые поживут-поживут вместе, и так их засасывает семейная жизнь, что трудно сказать, где у них любовь, а где увлечение; они своё предназначение выполняют перед обществом, при этом хорошо и им, и обществу. Но если где-либо не стыкуется, если кому-то плохо при этом — связи рвутся.

Хотел сказать, как получилось у Натальи, но не сказал, хотя об этом думала и сама Наталья. Она копалась в своей жизни и находила в ней многое из того, что ещё говорил Илья.

Настюшка сидела на кровати напротив, держа на коленях Алёнку; прижимая её к себе, она словно хотела спрятаться, словно искала защиты от людей, которые всегда были добрыми, но сейчас почему-то говорили не те слова и заставляли совершить плохой поступок. А потом вдруг подумала, что ей всё же Андрей нравится, иногда она скучает, когда его долго не видит, и, выходя, они советуют всё-таки не плохое; просто ей не нравится, когда дают советы, да ещё так настойчиво.

И как бы завершая мучительно долгий разговор, Иван встал, посмотрел на часы, на Настюшку, потом ещё на часы и спросил – тихо, словно заранее сочувствуя по поводу принятого ею решения.

— И что будем делать дальше?

— Подумаю, — ответила Настюшка, улыбнувшись; но улыбка её была вымученной.

8

Иван уехал от Натальи в глубоком раздумье; выполняя просьбу любимой женщины как-то повлиять на Настюшку, он тем не менее приходил к выводу, что в этой ситуации все правы: мать тревожится за будущее дочери и, убеждая её дать согласие выйти замуж, делает это не от плохого; дочь сомневается в правильности этого решения, хочет самостоятельности в выборе своей судьбы. Все хотят добра, но о путях к нему судят по-разному. И неожиданно Иван пришел к мысли, что советчики со стороны в этом деле не нужны по многим причинам: самое главное — велика ответственность, если совет дадут плохой, следовательно, плохими будут последствия. Так он размышлял. А хозяйские дела, словно водоворот, закручивали его по спирали с раннего утра и до потёмок, и мало-помалу эта проблема близких ему людей отошла на второй план.

Шел июнь. После обильных дождей прихлынуло тепло; напившись вдоволь влаги, запенилось цветами разнотравье; по буграм, где белела кашка и краснела ягода, поплыл медовый запах, в полях зацвели краснотрубные клевера. Надо было всё это добро косить, сушить и складывать в стога, как делали испокон веков их предки; но о косах теперь вспоминали все больше для другого: их доставали, чтобы убить сорняки на прилегающих территориях, а чуть позднее — скосить ботву на огородах перед уборкой картофеля. Бурёнкам своим луговую траву почти не косили, а ждали, когда закончатся заготовки сена в колхозе и будут выделены проценты — то ли вики, то ли многолетников, которых вполне хватало прожить безбедно зиму.

— Смотрел записи, — доложил ему повстречавшийся перед правлением Немыткин, — следующая неделя сухая будет. Месяц народился, обмыло его. Как раз давно пора на огороде порядок навести.

— Да, всё заросло, — согласился Кондрашов, а сам подумал о другом: пора сенокосная идёт давно, во всяком случае, сроки её пришли, травы перерастают, а сена ещё ни клочка. За два дня до этого, когда дожди свалились в низовье Неручи, а солнце и ветер, как заботливые хозяева, на славу потрудились в полях, он выгнал все косилки на клевера. «Пока отладят технику — не один день пройдет, — прикидывал он. — И держать их надо на одном поле, пока не скосят; потом на другое. Пораньше уберём, глядишь, другак* будет».

После обеда Иван решил проехать на поле, где работали косилки. Издали заметил: трактора не работали, сбившись на краю загонки, там же стоял «уазик». «Кажется, районное начальство», — подумал он. Подъехав поближе, узнал Николая Максимыча. Расставшись с колхозом, он по-прежнему был для людей своим человеком; частенько его видели в поле и на фермах среди колхозников, с которыми связывали годы работы в председательской должности; хорошо знал каждую семью, порой помогал им в решении личных вопросов, так как люди не стеснялись обращаться к нему, непременно рассчитывая на участие.

— Дай, думаю, посмотрю, как у тебя идут дела, — поздоровавшись, сказал он. — От графика все отстают, и много. Понятно, что дожди, но навёрстывать надо. Прогноз обещает сухую неделю, так что теперь всё зависит от вас самих.

Механизаторы докуривали, слушали разговор. Очевидно, об этом говорил Николай Максимыч и с ними.

— Не подведём, — откликнулся Похлебаев, — только сюда бы наркомовские и обед.

Все засмеялись, довольные условием.

— За этим дело не станет, — и Кондрашов окинул взглядом поле. — Здесь сто пять гектаров. Три косилки по семь гектаров за световой день, вот и считайте, сколько дней вам отведено. Почём что — завтра утром скажу, но чтобы на поле чисто было.

Довольные разговором, механизаторы сели в кабины, трактора рыкнули — только чёрные дымки в небо, а они присели на рубежке.

— И правильно, — сказал Николай Максимыч. — Пусть знают зарплату. И не скупись, а то больше потеряешь; запоздаешь с сеном — все силы уборка зерновых заберёт, а дальше сев, пахота, словом, за-хлебнёшься от работы. Да и время-то какое.

— Время поганое, — кивнул головой Кондрашов. — Всё советское, наработанное десятилетиями, сметают с лица земли. Колхоза «Россия» теперь не будет; читал постановление? За слово «Россия» в названии теперь надо будет платить большие деньги, а их и так не хватает на зарплату. Как же — рынок. Он диктует цены. А почём сегодня нам предлагают бензин, солярку и почём покупают зерно, молоко — без штанов останешься и слезой умоешься. Как жить? И все молчат. Раньше хоть партия вслух о проблемах наших говорила, государство поддерживало.

— Иван Дмитрич, ты же умный человек; какая партия, если все партийцы, как крысы с корабля во время пожара. Ты вот беспартийный, а я недавно на внеочередной партийной конференции был, и выступал, точнее, на двух; всё решали, как жить партии дальше. Я на первой выступил, так меня представитель обкома смешал с грязью: мол,

что это за коммунист, если он идёт вразрез с установками партии. Я взял слово на второй, они шли одна за другой через неделю; не мог утерпеть, но жаль, что не было того представителя.

— Я таких чиновников от партии встречал в своей жизни, — сказал Кондрашов, — потому и беспартийным остался.

— Сегодня ситуация очень сложная. Влияние компартии ослабло. Из-за чего получилось: чтобы как-то привлечь в свои структуры умных, энергичных людей, хороших организаторов, они повысили работникам райкомов, обкомов, парткомов оклады. Люди в грязи, в навозе, а получают меньше этих чистоплюев. Вот и говорю, не утерпел, на второй конференции всё и высказал с трибуны.

— Я краем уха слышал.

— Ты понимаешь, пошли на партию нападки, а защитить её некому. По плану жили: столько-то принять рабочих, столько-то колхозников, да самых лучших работников, передовиков, чтобы партия могла гордиться. Да, они лучшие в работе, но в политической борьбе на них нельзя рассчитывать — не смелые, не способные дать отпор оппонентам. Хорошо работать — это требование для каждого, а трезво оценить обстановку в партии, в стране в целом и сказать об этом вслух некому.

— А ещё не дают сказать, — добавил Кондрашов.

— Да, всё смотрим наверх, ждём команды — нас к этому приучили. Как же на меня они смотрели, когда я предложил сократить аппарат райкома и оставить в штате пять-семь должностей: инструкторы, заведующие отделами, кабинетами — все на общественных началах! Надо быть патриотами, тем более в работе с людьми. Вся страна переходит на хозрасчёт, а в партии штаты разбухали, зарплата — во! — и Николай Максимыч поднял над головой руки. — Тем самым они оторвались от первичных организаций, от простого народа.

— А кого набрали инструкторами, секретарями парткомов — молодых ребят после армии, — перебил его Кондрашов. — Приехал ко мне такой и давай учить, что и как делать в колхозе. Я почти на двадцать лет старше его,

у меня опыт, а он нигде ещё толком не работал и с людьми разговаривать не умеет. Но зато после пленумов, дней секретаря, что проводил райком, обязательно на нашем пруду; все молодые, весёлые, бреденьком туда-сюда, а то, глядишь, подерутся. У народа на виду, как на ладони.

— Знаешь, как это называется? — спросил Николай Максимыч и сам же сразу ответил на свой вопрос. — Политической близорукостью. Нам бы, например, на наш маленький район и одного секретаря райкома хватило. Зачем нам три? А как бы хорошо звучало: общественный инструктор райкома партии! А на базе райкома создать бы партклуб; в его больших комнатах на сэкономленные на зарплате средства обеспечить удобства для общения — видео, шахматы, бильярд. Пришел этот общественник туда в свободное время и работает с документами, играет, слушает лекции, участвует в дискуссиях, и, думаю, ничего плохого не будет, если даже бутылочку пива выпьет.

Николай Максимыч был взволнован: говорил быстро, жестикулировал руками, словно художник — мазок за мазком — рисовал кистью картину на широком полотне ясного июньского дня.

— Говоришь правильно, а что по жизни получается, — внимательно выслушав его, сказал Кондрашов.

— В том-то и дело, что ничего хорошего; КПСС уже нет, так как деятельность её запрещена. Президент по пьянке пугнул, и все разбежались. Есть Российская Федерация, и надо в районе создавать партийную организацию КПРФ; работа большая, и как это будет выглядеть, пока никто не знает, но в столице она уже проводится.

Николай Максимыч замолчал, долгим взглядом посмотрел на Ивана и неожиданно спросил:

— А ты не хочешь вступить в партию?

Ивана его вопрос не застал врасплох; разговор шёл о партии, и, слушая Николая Максимыча, он вспоминал, как в своё время проходил эту процедуру, от которой до сих пор на душе оставался неприятный осадок.

— Не хочу, — ответил он. — По молодости хотел, я даже не представлял себя вне партии, а теперь уже ни к чему. У меня и без партийного билета хватает смелости высказы-

вать своё мнение по любому вопросу, да и своими принципами никогда не позволю поступиться.

— Вот такие бойцы и нужны сегодня партии.

Николай Максимыч встал, стряхнул прилипшие к брюкам травинки; поднялся и Кондрашов.

— Ну что, я поехал, — подавая руку, попрощался Николай Максимыч. — А ты не пропадай, заходи ко мне почаще. Я всё-таки начальник управления сельского хозяйства и чем-то могу помочь. Ты видишь: в стране инфляция, цены скачут, и на этом фоне есть уже банкроты, так как государство в помощи отказывает и называет весь процесс свободным плаванием в рынке. Знаешь, страшно становится, когда видишь эту разруху и понимаешь, что порой бессилён бороться с ней.

Он сел за руль, хлопнул дверцей — и запылённый узик тёмно-зелёным пятном поплыл по просёлку среди запахов прихлынувшего сенокоса.

9

Этому посёлку всегда не везло, его словно преследовал злой рок: начисто стёрла посёлок с лица земли война, так как выпала ему доля стоять на передовой фашистской обороны; на полгода замерла здесь линия фронта, и всё это время — с февраля по июль — огонь с жадностью пожирал крытые соломой хатёнки. Часть их сгорела у жителей на глазах, как горели остальные, уже не видели: в марте всех погрузили в вагоны и вывезли в Белоруссию; а когда фашистов прогнали, то вернулись уже к пепелищам.

Мужики воевали, а жизнь надо было налаживать; и бабы помаленьку строились сами. Но не все мужики вернулись к своим хозяйкам, многие остались лежать на всём пространстве от дома и дальше, куда погожими днями спешит молчаливое солнце. Время дотрепывало посёлок и после войны, и за все эти десятилетия так и не нашлось для него хорошего заступника. Полтора десятка оставшихся домов, что спрятались в садах и вдобавок отгородились от внешнего мира вихрастыми ракетами, видели на своём веку много всякого: их хозяева рожали и крестили детей,

играли свадьбы и умирали; не подсчитать, сколько было пролито вдовьих слёз на этих берегах безымянного ручья: когда-то здесь стояли шестьдесят пять домов, и более чем в половине из них слышали рыдания — не по мужу, так по сыну или дочери. Ах, этот злой рок! Он не оставил в покое и детей не пришедших с войны, и тех, кто родился уже позднее: они сгорали в огне во время пожаров, замерзали в сугробах, тонули в пруду, спивались от безрадостной жизни. Многие, спеша избежать плохой участи, срывались с обжитого места и начинали метаться по стране в поисках лучшей доли, но злой рок настигал их и там.

В полтора десятка входил и дом Антоновых. Добротным назвать его было нельзя: из шлакоблочного кирпича, небольшой; кухня со спальней да зал вполне удовлетворяли в своё время родителей Натальи, а потом и её, когда она после их смерти возвратилась сюда. Что Наталья ушла от мужа, соседи её не осуждали: они хорошо знали и помнили Николая — дерзкого и хулиганистого сына Ольги Савельевой, от которого всегда были одни проблемы. В своём колхозе он закрепиться не сумел; выпивками и дебоширством нажил плохую славу, а потому решил уехать дальше, чтобы начать новую жизнь, с чистого листа, и уговорил на это Наталью. После их отъезда соседи иногда спрашивали Ольгу, его мать, мол, как там живет её Николай, на что она всегда отвечала: «О, Колька мой молодец! Не пьёт, работает» — тем самым лукавила и перед собой, и перед людьми. Колька её так же пил, работал кое-как, а потом вообще спился и загиб. Плакать по нему уже некому было: мать к тому времени умерла, а Наталья свои слёзы выплакала давно, так что для неё он был чужим.

Но это всё касалось мужа. Теперь же происходили события, о которых, как она считала, лучше бы никому не знать. Вот родила дочку, и всем надо знать, где её отец. Она с Иваном тайну сумели сохранить, Илья тоже, а больше никому ничего не надо знать. Чтобы замазать людям глаза, особенно самым надоедливым, говорила, что нашла ухажёра, когда лежала в больнице: думала, что сойдутся и будут жить вместе, но он её обманул. А со временем все раз-

говоры поутихли, стали считать, словно так должно и быть, и только одна Хомутиха жила беспокойно.

— Нет, лопни мой последний глаз, председатель наш попялся к Наталье, — твердила она в своих разговорах. — А иначе зачем бы он в такую метель, как Дед Мороз, таскался с нею. Вот и слепили Снегурочку.

Одни смеялись над Хомутихой, другие по-тихому думали, что такое возможно, третьи вообще ничего не брали в голову, считая подобные сплетни делом несерьёзным. Приезд Настюшки к матери, состоявшееся сватовство и связанные с ним дальнейшие события были настолько стремительны, что за ними никто из деревенских не уследил. В субботу рано утром, как и договаривались, Андрей подрулил к дому своей будущей тётки, усадил её, Настюшку и Алёнку в машину, и уже через час они сидели в роскошной городской квартире сватов, где предстояло жить молодым. Настюшка вела себя в рамках приличия, хотя прежней весёлости у неё уже не было; пугала неизвестность, а непонятный холодок в груди заставлял думать, что её поступок не есть окончательное решение. Да, она согласна, и поток событий неудержимо несёт и несёт её в неизвестность; ей страшно, но сил бороться нет. Нет и прежнего веселья; и за всё время застолья, пока многочисленная родня жениха выпивала и закусывала, а сваты вели переговоры о том, где играть свадьбу, сколько приглашать гостей, где будут расписываться молодые, её обычно заразительный смех не потревожил торжественность просторных комнат; так бывает в жизни, когда человек собирается сделать какой-то важный шаг, но неожиданно задумывается, чувствуя личную ответственность перед людьми за совершаемое. Наталья пристально следила за Настюшкой; она радовалась, что дочь спокойна и не дает повода плохо думать о себе, и в то же время пугалась — ведь такой её видела редко.

У сватов они долго не задержались: порешав все вопросы, поучаствовав в общем веселье, каким обычно оно бывает в застольях подобного рода, Наталья засобиравшись домой. Полина Григорьевна отнеслась с пониманием: всё, что надо, оговорено — свадьба через месяц, тянуть не стоит; сыграют

её не в городе — проще будет в колхозной столовой, да и распишутся в сельском Совете. И Андрей, не бравший в рот спиртного, к вечеру отвёз их обратно.

Последние события, произошедшие в Натальиной семье, для Хомутихи также не прошли незамеченными; воистину великим человеком была она в своём деле: уже через неделю с видом знатока рассказывала на посиделках новости из Натальиной семейной жизни:

— Иду в магазин, слышу — машина догоняет; я в сторону, а она как раз напротив меня и тормозит. Стеклышко пассажир опустил и спрашивает, так вежливо: «Девушка, как проехать к Савельевым?» — «Это к каким?» — спрашиваю.

— Девушку нашли, — ухмыльнулся Гаврил. — Эта девушка скорее на Бабу Ягу похожа.

— Сиди, Иуда! — налетела на него Хомутиха. — На себя бы посмотрел сначала, потом говорил. Приснишься кому — три дня спать не будет!

— Смотря кому, — всё с той же миной на лице ответил Гаврил. — А вот тебе только в мультфильме играть роль Бабы Яги, точно... и волка ещё.

— Заткнись! — сердито рявкнула на строптивного мужа Хомутиха. — Не мешай, говорю!

Она отвернулась от него и продолжила свой рассказ: «Это к каким Савельевым? — спрашиваю. — У нас их много». А он такой принаряженный, усики тоненькие, а вот тут — как у овечки».

И с этими словами провела указательными пальцами по вискам и ниже.

— Бакенбарды это, дура, — поправил её Гаврил.

— Сиди, говорю! — огрызнулась Хомутиха, но с рассказа не сбилась. — «Да, — говорит, — к тем, у которых дочь недавно просватали». Я так и опешила, а сама думаю: по нашей деревне у Савельевых никого не сватали, да и некого; стало быть, на поселке, у Натальи, точно — у Натальи. У меня сердце так и запрыгало: ага, думаю, хорош женишок, а сама спрашиваю: «Что же ты такой плохой жених: сватал, а дорогу к невесте уже забыл?» — «А я не жених?» — говорит. «Родня?» — спрашиваю. «Нет, — говорит, — друг». Все понятно, думаю, и указала дорогу на

посёлок, к Наталье. А то ещё раньше, смотрю, бежит Наталья в правление, потом в магазин и продуктов набрала; ага, думаю, что-то много набираешь, не поесть вам столько со Снегурочкой, значит, что-то будет.

Где только не затевала Хомутиха такие разговоры, какие только доводы не приводила в подтверждение своих предположений, порой ошибочных, но её циклопий глаз не лопался, а, как посмеивались бабы, даже становился зорче. Но однажды он подвёл крепко. Сидела сплетница возле магазина, судачила всё по этому же поводу и не заметила, как сзади подошла Маруська.

— Да, бабы, — поглаживая лежавшую на коленях сумку с двумя только что купленными бутылками вина, бубнила Хомутиха, — вчера опять тот самый, что другом назвался, приезжал. Я машину узнала — жёлтая такая. Лопни мой последний глаз, председателю нашему скоро на свадьбе гулять. Девка у Натальи точно его, родня, значит. Повариха говорила, что председатель приказал навести в столовой порядок, мол, свадьбу там будут справлять. Кто — не сказал, но, бабы, точно: председатель родную кровь чует.

— А ты что, в ногах у них стояла? — не дослушав, что ещё нагородит, перебила её Маруська.

Хомутиха испуганно замолчала, оглянулась, потом вскоčila с порожков; сумка с коленей на бетон, зазвенело разбитое стекло, из сумки потекла красная жидкость.

— А я ничего, люди говорят.

— Ты это видела? — сдёрнув брови, переспросила Маруська. — Я тебе говорю.

Хомутиха топталась на месте, что-то ещё хотела сказать в своё оправдание, но Маруська не стала дожидаться.

— Погань, — приблизившись к ней, зло сказала она, и жирный плевок залепил циклопий глаз. — Ты моего мужика не трогай. Не позорь, на то он и председатель, что во всех делах должен быть первым, и с бабами тоже. Работа у него такая.

Никто из сидящих здесь подружек Хомутихи не засмеялся, даже ни единого слова не услышала Маруська; она не стала выяснять отношения дальше, а повернулась и ушла в магазин. Что и говорить, какой бабе не обидно станет,

когда на её мужика такую напраслину возводят. Небось, скажи какая за её Гаврила, как он к своей залётке бегаёт, — глаза выцарапает сразу, сперва, конечно, ей, потом ему.

Маруська купила хлеба, немного сыра и, расплатившись, направилась к выходу; Хомутиху и её подружек как корова языком слизнула.

Но настроение уже было испорчено. «Вот поганка, — думала Маруська, — всё неймётся ей, пачкает людей, и надо же — сходит с рук». Потом подумала о том, что в каждой брехне есть доля правды, что Иван, возможно, и протоптал дорожку к Наталье; а кто знает, где он пропадает целыми днями и до полночи. Раньше к дому прибывался пораньше, особо не пылился, только лекарствами, бывало, несло от него, а сейчас приезжает весь в пыли и, как квартирант, — по хозяйству ни в чём не помогает, некогда, говорит. Надел хомут на шею и тянет. То был сам себе хозяин, а теперь не поймешь, ради чего каждый день куда-то спешит, кто его торопит.

День был погожий. Маруська медленно шла по улице; думки ворохались в её голове так же медленно, словно нехотя, и были они разного цвета: одни — с налётом грусти, другие — посветлее, это когда вспомнила о детях, которые умчались подальше от дома, живут самостоятельной жизнью, а к родителям уже редко-редко. Младший, Сергей, закончил железнодорожный техникум, побыл в армии и теперь работает. Серьёзный парень: собирается поступать в институт, о женитьбе не помышляет; и всё, что он делает, что думает о своей жизни, Маруське кажется неестественным, словно так серьёзно в его возрасте не рассуждают; и, конечно, она понимала, почему так ей кажется: она всё ещё считала его ребёнком, по-матерински жалела — ведь в семье он был самым младшим.

О дочерях думала по-другому, потому что их жизнь зависела от других людей, с которыми их связало замужество. Получилось это у них быстро и как-то весело; учились в Орле, домой в редкую стёжку — если деньжат да за продуктами, по выходным, конечно. Начнёт спрашивать: что да как? — засмеются, отшутятся, мол, живут нормально, свободное время проводят с друзьями в одной компании.

А однажды приезжает старшая, Ирина, и заявляет, что выходит замуж. Что в таком случае делать матери — иди. А через полгода другая, Ольга, запросилась; подошли к ней, держат друг за друга за руки и лукавенько так говорят: «Мам, ничего, если мы поженимся?». Она ещё от первой свадьбы не отошла, и слова не у кого спросить, что в таких случаях делают, — не было ещё в деревне, чтобы в одном доме с такой скоростью свадьбы играли. Только и спросила: «Давно дружите?» — «С Иринкиной свадьбы», — отвечают. Полгода, значит. И сказала, что ничего: разгнать-то их не было смысла — выбрали друг друга. И эту свадьбу сыграли; Иван как хороший хозяин денюжат на сберкнижке, ещё порезали поросят, так что и Ольгу отдали замуж достойно. Да и работа позволяла Маруське заняться всеми свадебными проблемами — работала в школе техслужашей и всегда могла выкроить час-другой свободного времени, а на свадьбу её вообще отпустили на несколько дней.

Но всё это было уже позади, вспоминалось с той самой грустью, какая обычно лёгким облачком неспешно плывёт навстречу и, не в силах что-либо изменить в природе и в душе человека, таже медленно уходит дальше, растворяясь в синей чистоте дня.

«Наверно протоптал, если молотят в открытую, — думала она, подходя к дому. — Хотя по его поведению нельзя сказать, что это так». И когда взяла тяпку и в огороде навела порядок на грядках, эта злодейская мысль сидела в ней, как заноза. Маруська не могла отделаться от неё: приводила разные доводы, вспоминала все разговоры с Иваном на эту тему и всё искала, искала какую-либо зацепку, что подтвердило бы, хотя бы чуть-чуть, правдивость Хомутихиных слов. Нет, Иван в её глазах оставался верным, она не находила ничего такого, что могло бы принести душевные страдания: в отношении к ней был добр и внимателен, в горячую пору в домашних делах стал плохим помощником, но это не значит, что нет заботы о доме, — то уголь привезет, то петуху поклевать, а это большое дело. Он и со всеми людьми такой же, никому ни в чем не отказывает: кому машину — бери, сена, соломы — не проблема,

в посылке нужда — ещё поможет погрузить, а потому в каждом доме был желанным человеком.

Вечером за ужином разговор на эту тему возник сам собой, когда Маруська управилась с делами и хлопотала на кухне.

— Вот она, бабья доля, — каждый день у плиты, — рассуждала она вслух, пока Иван переодевался в домашнее, — и с утра до вечера: себе приготовить, пороссятам свари и три раза отнеси, курам насыпь, собакам дай, гуси кагакают — есть просят; с коровой, конечно, летом легче, но всё равно вовремя встань, в стадо сгони; а огород к себе зовет; и, получается, как на каторге, потому что ещё работа есть и её не бросишь — пенсию-то зарабатывать надо.

Говоря такие слова, Маруська всё-таки кривила душой: эта домашняя работа не была для неё в тягость; она со всеми делами справлялась легко, но теперь не хватало его рядом, потому что за многие годы привыкла видеть мужа в определённые дневные часы возле дома, и неизменно что-то делающего. Рано вставая и уезжая на ферму, муж тем не менее мог возвратиться к позднему завтраку и часа два-три быть дома, до той поры, когда начинается обеденная дойка; после обеда свободного времени у него было больше, если, конечно, не надо было ехать на какой-либо вызов или проводить со скотом запланированную работу.

— А тебе стало проще, — подытожила Маруська, — натянул галстук — и на целый день. А где ты, с кем ты обедаешь...

Она смолкла, как бы обдумывая, говорить ей дальше или закончить этот неприятный разговор, но после небольшой паузы продолжила:

— Иду, а эта балаболка всем рассказывает, где ты бываешь.

У Ивана сердце ёкнуло, как уже ёкало однажды, когда они вот так же сели ужинать и Маруська, краем уха уловив что-то о тайных связях мужа, сразу сказала ему об этом.

— Это кто, говоришь?

— Хомутиха, говорю.

— Где я бываю?

— Тебе лучше знать — где: у Натальи.
— Совьют верёвку любому, — стараясь быть равнодушным к услышанному, сказал Иван.
— Зря не скажут.
— Скажут, — протяжно возразил он. — И такое наговорят, что диву даваться будешь.
— Откуда тогда этот разговор?
— Откуда? — переспросил Иван. — Рожать-то возил? Возил. Приходила — то зерна выписать, то мяса. А недавно приходила и денег в счет зарплаты просила.
— А какая у неё зарплата, если не работает?
— Я ей об этом и сказал.
Ивану стало легче, напряжение спало.
— И что?
— Собирается выходить на работу и, говорит, сразу рассчитается. А как не дать — свадьба у неё, говорит, старшую просватали. А ты знаешь, как их справляют.
Марусяка это знала хорошо, а потому не стала спрашивать мужа о Натальиных проблемах; в свадебных делах у всех они одинаковые, к тому же Марусяка чисто по-бабьи жалела Наталью, понимая, как трудно с детьми одной.

10

Вторую неделю над посёлком синь, на небе ни облачка. По утрам свежо и прозрачно, от росного луга аромат разнотравья — запахи мёда источает всё, что каким-то цветком смотрит в эту синеву. Пойдёт Настюшка к колодцу за водой — в глазах пестрит, от запахов голова кругом; солнце тёплой бархатной ручкой гладит по открытым плечам. В колодце вода близко; смотрит Настюшка в колодец — и там синё и прохладно, и не вода это вовсе, а небо, такое же чистое, подсвеченное синевой. Ведро плюх — и зачерпнула синевы, через край плескается; и несёт его осторожно — расплескать-то жалко.

Но солнце свою работу знает: по раkitам карабкается всё выше и выше, чтобы видеть всех и чтобы его видели, ведь без солнца жизни на земле не будет. Утром с одной

стороны оглядит землю, а к закату со всех четырёх полюбуется по-хозяйски, заодно где подсушит, где подкрасит, согреет. И рады под ним живущие — тянутся к нему, встречаются и провожают, славят делами добрыми.

Наталья с утра в огороде; после дождей пришло тепло, сорняки полезли в рост, и никак с ними не справится. Настюшка помогала, а всё равно лезут и лезут. «И будут лезть, — сказал вчера Илья. — Агрономы у нас плохие — севооборот не соблюдаем. До войны такого не было, потому что два года подряд на одном поле одну и ту же культуру не размещали. А у нас картошка с войны на одном и том же месте, значит, один и тот же сорняк прёт, и болезней накопилось тьма!

Вот и снова вышла пораньше; по прохладе веселее тяпкоймахать — земля мягче после ночной прохлады и росы. Настюшку брать с собой не стала — в отпуске, пусть отдохнёт, выспится. Да и вообще заметила она, что такая работа на свежем воздухе и в одиночестве ей в удовольствие: думается обо всём спокойнее, дышится легко. А о чём сейчас Наталье думать, как не о Настюшкиной свадьбе, — осталось-то до неё всего ничего, и вроде бы все главные вопросы решены. С Иваном договорилась, что застолье будет в колхозной столовой: на кухне есть всё необходимое, само по себе помещение просторное, так что будет где разместиться, да и деньги за него не платить. Сельсовет рядом, и день уже назначен.

Шмыг да шмыг Наталья тяпкой; думки всё об этом, а время идёт да идёт. Посуше стала земля, потому что солнце из-за ракит вылупилось во все глаза на бабу с тяпкой уже около часа назад и не стало спрашивать у неё, что делать, а ещё выше залезло; потянул лёгкий ветерок, и он ли принес, или без его помощи, — донёсся от недалёкой станции гудок поезда; показалось, что где-то рядом, очевидно, за садом, проехала машина. Хотела пойти посмотреть, что делают её девки, но раздумала: а что они делают — спят или проснулись и лежат забавляются. Наталья улыбнулась, представив, как Настюшка играет с Алёнкой, — смешно смотреть, и зовёт её не Алёнкой, а Снегурочкой. Только через час после этого она положила тяпку

на борозду и пошла к дому. На полпути бросила взгляд на калитку: приоткрыта, а чуть в стороне, за сиренью, — лежковушка. «Кто бы это? — подумала. — Но не Андрей. У него «жигулёнок» синего цвета, а это жёлтый. И вроде разговаривает кто-то».

Подошла — Настюшка и незнакомый парень.

— Здравствуйте, — поздоровался он.

— Мам, это Павлик, — торопливо добавила Настюшка. — Я рассказывала тебе о нём.

— Здравствуйте, — ответила Наталья и, не зная, что ещё сказать, повернулась и пошла к дому.

Алёнка по всему проснулась давно; она сидела на кровати и внимательно рассматривала куклу, подаренную сватами. Увидела мать — отложила куклу в сторону, быстрой прыгнула на пол и помчалась навстречу, издавая губами какие-то булькающие и только для неё одной понятные звуки: очевидно, они выражали восторг. Мгновение — и она уже на руках у матери; ещё мгновение — и вот уже она под потолком; вверх — вниз, вверх — вниз... Потом она прижала Алёнку к себе, шутливо куснула её за ухо.

Но неожиданно прилив радости закончился, веселье улетучилось, и так стремительно, что и Алёнка вдруг перестала смеяться и с удивлением посмотрела на мать: мол, что это с ней? Такими и предстали они перед Настюшкой и Павликом, когда Наталья с Алёнкой на руках снова вышла за калитку.

— Это который Павлик? — спросила она, как бы настраиваясь на продолжение разговора, всего лишь минуту назад начатого дочерью. И при этом пристально посмотрела на парня, стараясь разглядеть в нём то привлекательное, что приводит в трепет Настюшку; во всяком случае, так она призналась сама. Но ничего особенного в нём не увидела: такой же черноволосый, как дочь, ростом чуть повыше Андрея...

— Мам, ну я же тебе рассказывала о нём, — быстро ответила Настюшка. — Это Павлик; мы всегда вместе отдыхаем. Он шофёр, возит начальника мехколонны.

— И что, специально к тебе из города приехал?

— Начальник в райцентре на собрании, а я решил повидаться, — вступил в разговор Павлик.

— Как я знаю, ты уже не первый раз сюда приезжаешь, и тебе известно, что ты опоздал, милый человек.

Увидела на их лицах удивление; конечно, они удивились, откуда Наталье известно, что Павлик сюда уже приехал. Наталья повторила, но уже более твёрдо:

— Да, мил человек, сам знаешь, что опоздал. Да это и вся деревня знает, — и, уже обращаясь к дочери, добавила: — Пригласила на свадьбу?

Все стояли и молчали. Лишь только Алёнка что-то мурлыкала себе под нос и дёргала ногами, тем самым показывая, что не хочет быть на руках.

Но вдруг Настюшка подняла опущенную голову, посмотрела на Павлика, потом на мать:

— Не, мам, не опоздал, — голос её тоже стал твёрдым, взгляд прямой. — Нет ещё.

— Ты это о чём?

— Да я просто, — хохотнула Настюшка, — ни о чём.

У Натальи в груди холодок, и по спине пробежал.

— Тогда домой, нечего попусту молоть, — рассердилась Наталья и, перебросив Алёнку на другую руку, снова к дому.

А на сердце легла тревога от слов, сказанных дочерью. Что она задумала? Что значит её «ещё не поздно?» Это и стало предметом их разговора, когда дочь проводила друга.

— Пока это ничего не значит, — дернув плечами, объяснила Настюшка. — Ему друзья сказали, что я в отпуске и уехала в деревню, что меня уже просватали, вот он и примчался на меня посмотреть.

— Он уже не первый раз сюда дорогу топчет, — уточнила Наталья.

— Да, не первый. Но он мне нравится больше всех других. Наверно, я его всё-таки люблю. А Андрея... нет, конечно. Мам, скажи, как жить с нелюбимым?

— Опять за своё, — занегодовала Наталья. — Ничего больше не скажу, но знай, что через неделю свадьба.

— Знаю, — услышала в ответ.

— Тогда больше нечего говорить. Я пошла на огород, готовь завтрак.

* * *

До осени ещё далеко, ещё лету благоухать и радовать теплом и всякой вкуснятиной, зреющей в садах и огородах. Дни, как осенние листья, стремительно летят в прошлое — не остановить их, даже не замедлить бега; а, наоборот, становясь короче, они ещё стремительней скрываются в той стороне, куда спешит уйти малиновое солнце. Наталья в этих днях вся в заботах и тревоге; но, чувствуя сердцем неладное, так и не заметила она, как ещё дважды подкрадывался к саду жёлтый «жигулёнок» и Настюшка под каким-то предлогом отлучалась из дома; о них шептались в саду деревья, на них лупились во все глаза ромашки — за бугром, куда стремительно увозил свою подружку Павлик, но она так и не заметила этого, не сумела выследить заговорщиков вовремя. О чём они говорили там, знали только те самые лупастые ромашки да жёлтый донник, который дышал им в лицо медовым настоем; а ещё неслышно подкрадывался ветер-прелюбодей и нашёптывал, нашёптывал им самые красивые слова о любви и верности.

А подошла суббота, тот самый день, когда Настюшке предстояло надеть белое свадебное платье и на руке должно было засверкать золотое обручальное кольцо — его она с Андреем примеряла сразу после сватовства.

Перед обедом, пропылив по просёлку и нещадно сигналя, к Натальиному дому подкатила кавалькада машин — все в разноцветных лентах. Жених с дружкой впереди; смех, девичий визг, шутки — давно не видело это захоlustье такого веселья. Помпезности сватов только завидовать: лица светятся в довольстве от важности подступившего события; у Полины Григорьевны пышная причёска, Иван Иванович блистал пёстрым галстуком, как попугай перьями, и ещё в их облике было много чего такого, что заставляло обращать на них внимание.

Подружки к Настюшке; Лариса, наобнимавшись с Алёнкой, достала из шифоньера свадебное платье:

— Настюшка, пора надевать, через час в сельсовете ждут на роспись.

А невеста в какой-то задумчивости; говорит всё правильно, делает тоже всё правильно: вот и платье белое уже на ней, складочки-сборочки расправляет, в зеркало смотрится, где что ещё поправить; Лариса с подружками сзади оглядывают.

Вдруг открылась дверь, и кто-то позвал Ларису. Она ушла, через минуту возвратилась и что-то пошептала невесте на ухо. Не надо было пристального взгляда, чтобы заметить, как расцвело пунцовым цветом её лицо.

— Так, всё хорошо, — хохотнула Настюшка.

Ах, этот хохоток! Наталья уловила его среди всего шума и гама, и снова тот самый холодок обжёт в груди: снова что-то не так. Но виду не подаёт, со сватами всё о том, как да что будет. Краем глаза заметила, что Настюшка пошла к выходу и скрылась за дверью.

Всуете, когда все думали об одном: что вот ещё немного — и вместе с невестой они отправятся в сельсовет, где официально брак будет зарегистрирован, особого внимания не обратили на то, как невеста вышла за калитку, где также толпилась молодежь, как подошла к одному из парней и о чём-то быстро переговорила с ним. Кому какое дело, с кем и о чём захочет поговорить в этот торжественный день невеста? А она тем же следом назад, в дом. Подружки начинают примеривать на неё фату, а она о своём думает, оглядывается по сторонам. Потом вдруг подходит к матери и тихо так на ухо шепчет:

— Мам, я замуж за Андрея не пойду. Приехал Павлик и говорит, чтобы я за него замуж выходила.

Наталья обмерла, не зная, что ей сказать, что делать дальше. А дочь — как ни в чём не бывало, опять к зеркалу; и снова тот самый хохоток. Наталья вышла на улицу: все весёлые, все шутят, смеются, а у неё на сердце камень. Видит: Илья стоит с Петровичем. Подошла, отвела Илью в сторону; у самой лицо белое, руки трясутся.

— Дед, та самая беда и случилась: говорит, не пойду расписываться с Андреем.

У Ильи брови к переносице — большие и рыжие, как колосья; вывод сделал сразу:

— И не заставишь силком.

— Я тоже так думаю. Прошу тебя: сядь на машину, найди Ивана: пусть поговорит в сельсовете, может, распишут с другим — приехал, за бугром дожидается.

Быстро нашли водителя одной из машин, сказали ему, что надо срочно доскочить до сельсовета, и дед умчался. Приехал назад через полчаса, и можно себе представить, какими они были трудными для Натальи.

— Нет, — сказал Илья. — Ивану сказали, что нельзя. Надо новое заявление и новый срок.

— Что же делать? — чуть не плача, спросила она.

Илья молча пожевал губами, посмотрел на молодёжь, суетящуюся у дома, на нарядные машины:

— Что делать? Свадьбу играть. Столы-то уже накрыты.

— Со стыда сквозь землю провалишься. Как сватам-то говорить?

— Как-нибудь надо.

— Дед Илья, скажи. Я не смогу, — и заплакала.

Илья ещё с минуту постоял в раздумье, чуть ли не вырвавшись сгоряча, и потопал к калитке. Сватов нашёл в доме. Они уже знали его, а потому поздоровались как со своим. Илья осторожно взял Полину Григорьевну под руку, отвёл её к окну и, подыскивая нужные слова, произнёс:

— Свах... это, значит, такое дело: свадьбы не будет — невеста с отказом.

И замолчал. Полина Григорьевна оторопело смотрела на него, не в силах переварить, что услышала. Наконец до неё дошло. Круто развернулась и — к двери. На ходу дёрнула за рукав мужа:

— Пошли.

— Куда? — не понял тот.

— Пошли! — уже от порога зашипела на него Полина Григорьевна.

Когда её каблуки застучали по коридору, Наталья стояла в кладовке; как она потом рассказывала, спряталась от стыда подальше и плакала. Какие они были, её слёзы, и сама не могла сказать: горькие ли — оттого, что плохо

вышло по отношению к жениху и его родне; слезы ли счастья — что у Настюшки всё-таки получилось по любви.

Каблуки стук да стук рядом.

— Я с самого начала своей задницей чувствовала, что будет неладно, — услышала она голос свахи. — Сколько денег угробили.

Шаги стихли, и она вышла из своего укрытия. Родня жениха усаживалась в машины; с невестой остались подружки.

Вошел Андрей; Настюшка увела его в спальню, где они о чём-то недолго поговорили, а затем жених стремительно вышел оттуда, хлопнул входной дверью, и, ещё сильнее пыля, но уже не сигнала, кавалькада машин умчалась туда, откуда приехала.

Через несколько минут к калитке подкатил тот самый жёлтый «жигулёнок» — это был Павлик с друзьями. Настюшка встретила его на пороге в белом платье, в фате. Так и предстали они перед Натальей — рука в руке, взволнованные, но счастливые.

Как сложится у них жизнь дальше, никто из присутствующих сказать не мог; одно лишь было ясно: они нашли друг друга, а сделать это было невероятно трудно; они смогли избежать ошибки, которую в своё время совершила Наталья.

Остаётся добавить, что свадьбу они сыграли в тот же день, ведь в колхозной столовой столы уже ждали гостей; была лишь маленькая поправка: свадебные торжества начались на несколько часов позднее, зато они стали самыми счастливыми и для Натальи, и для молодых, которые начинали новую жизнь. Но это будет уже другая жизнь, другая история любви.

Часть III

1

Осень всегда подкрадывалась незаметно. Иван Дмитрич Кондрашов знал, что она почти рядом, и редко какая из них заставляет долго ждать себя, но в суете набегающих дней всегда обнаруживал её присутствие с опозданием, когда под угрозами зимы она уже командовала вовсю: там спрячь, там утепли, и поторопись, потому что скоро подступят холода. Он был слушником, делал всё, о чём напоминала ему осень как хорошая хозяйка: навёрстывал упущенное в полевых работах, готовил фермы к большим морозам.

А ещё знал Кондрашов, что с первыми пушистыми хлопьями снега, которые белыми мухами замелькают в свете остывающего дня, он будет удивляться: ведь ещё совсем недавно полыхали золотым пожаром берёзовые перелески, вдоль тихой деревенской улицы горбатились огрузневшие яблони, сохраняя в прихлынувших ночных холодах зеленый окрас, а сегодня вокруг голо и бесприютно, дали затянuty туманной пеленой, и на душе такая же бесприютная серость. Так было уже много лет, а сколько их ещё впереди — об этом не думал.

Единственным светлым пятном в этой осенней бесприютности была Наталья; нет-нет, в его доме всё шло своим чередом, с Маруськой он ладил, но домашние заботы ими и оставались; они не поддавались никакому сравнению с той жизнью, которой жил он с Натальей. Всё чаще думал Кондрашов, что спрятанный в густых зарослях Натальин дом становится ему дороже, и с каждым новым днём он всё полнее ощущал его значимость в своей жизни.

Это острое чувство близости поселилось в нём после Настюшкиной свадьбы: порой ему казалось, что выдал замуж свою родную дочь, и вместе со свадьбой навсегда ушло всё неясное, тревожное, довольно часто подступающее к сердцу. А время между тем на месте не стояло: остались позади ещё три года, наполненные событиями разной зна-

чимости в колхозных делах и спокойно-размеренными в домашних.

Изредка тревожили гладь времени всплески всевозможных пересудов, первой зачинщицей которых всегда была Хомутиха. Однажды среди баб, собравшихся под Петров день на брёвнах покараулить солнце, она заявила:

— Лопни мой последний глаз, если я брешу, но вчера председатель опять катал Наталью; куда — ещё не знаю, но по всему — далеко.

— Откуда новость такая? — заинтересованно спросила постоянная её собеседница Фролова Тося.

— А это давно не новость. Он сколько уже её катает; вон Снегурочку скатали и ещё, бабы, скатают.

— Откуда? — не унималась Тося.

Брёвна, на которых они сидели, возле дороги, напротив Хомутихиного дома; тихий тёплый вечер неспешно зажигал неяркие звёзды; и на брёвнах такая же тишина: все ждали, что скажет Хомутиха. Томились недолго, ей тоже невтерпёж поделиться новостью:

— Гаврил мой вчера собрался в район; вышел на дорогу и ждёт попутку, на перекрёстке как раз, и видит: «козёл» председательский едет. Только хотел поднять руку, а машина молоньёй мимо него; а в ней-то, бабы, и углядел мой дед Наталья со Снегурочкой.

— Вот событие, — съехидничала Тося. — Бабу с ребёнком подвёз.

— Не остановился почему? — загорячилась Хомутиха.

— А куда он ехал, ты знаешь? Он, может, не в район, а в сельсовет спешил, потому и не остановился.

Бабы заспорили, шум всё громче. Из калитки вышел Гаврил — и к ним:

— Ух, как разбирает вас! Опять за своё взялись!

Его слова никто не воспринял, так как Гаврил их сборище в обеде уже разгонял. Но он был настроен решительно:

— Вы доиграетесь со своими разговорами, что потом плакать будете. Или уже забыли про спектакль возле магазина? Хватит молоть попусту...

— «Хватит... Хватит», — копируя его слова, перебила Тося. — Заладил тоже. Что это на тебя сегодня нашло? Сказал бы лучше, в какую сторону они поехали.

Гаврил обложил сидящих крепкими словами со всех четырёх сторон и, видя бесплодность своих усилий, хлопнул калиткой.

Посудили-порядили бабы между собой — и снова тишина в деревне. Ни в праздничную ночь, ни на следующий день, и ещё много дней и ночей подряд разговоры на эту тему не возникали, а если где-то и проскальзывали, ни до Ивана, ни до Маруськи и Натальи они не доходили. Хомутиха же тогда дома получила от Гаврила трёпку, однако всё рассказанное ею было сущей правдой: Кондрашов уже не однажды усаживал Наталью со Снегурочкой в машину и увозил за пятьдесят километров, в соседнюю область, где на берегу небольшого укромного озера проводил с ними свой, как он считал, законный выходной. Конечно, преступно было в горячую летнюю пору уезжать из колхоза на целый день, но на какое-то время чувство критической оценки своих действий и поступков у него притупилось; да к тому же, готовясь к поездке, он щедро награждал специалистов поручениями и напоминаниями о служебных обязанностях, а по возвращении поздно вечером или рано утром объезжал все поля, чтобы своими глазами видеть сделанное без него.

Как-то на исходе лета, навестив деда Илью, Кондрашов ему признался:

— Знаешь, дед Илья, раньше я за собой ничего странного не замечал, а сейчас как заклинило: что о своих делах, о домашних, да, что о Натальиных — думаю одинаково; как бы и тут семья, и там семья, и дороги мне одинаково.

Дед Илья слушал Кондрашова, глядя в одну точку, на простенок, где висели в самодельных простеньких рамках его семейные реликвии; потом взгляд перевёл на него. Кондрашов замолчал, и за столом на какое-то время наступила тишина. Первым её нарушил дед Илья:

— Что я могу тебе сказать, мил человек, — голос тихий, и то ли печаль в нём, то ли раздумье о судьбе человека, решившегося в трудную минуту на откровение. — Я сам всё

вижу, не слепой. Значит, иначе не можешь... как бы это... словом, жить по-другому, то есть правильно. А кто знает, как для тебя будет правильно? Может, ты правильной жизнью живёшь, а начнёшь ломать её — ничего хорошего не будет. У меня всё проще было: любил я свою Феню, крепко любил, и не уйди она из жизни раньше времени по причине тяжёлой болезни — так бы, думаю, и радовался с нею рядышком. Выходит, что бог обидел и её, и меня...

Старик вдруг поперхнулся, потом откашлялся и, вытерев ладонью заслезившиеся глаза, продолжил:

— Хотя как сказать. Может, и не обидел. Любовь-то он сохранил во мне: много лет вдовствую, а вот ни одна не привилась. Живу на земле один-одинёшенек: ни детей, ни внуков. Вот она вся моя родня, — и указательный палец старика качнулся в сторону простенка, куда всего минуту назад был направлен его взгляд, — родители да братья-сёстры, которых давно нет на белом свете. Их кровные меня совсем забыли, можно сказать — потеряли. Ну а ты в своей жизни по отношению к людям вроде бы всё делаешь правильно, по-божески: вроде бы...

— Дед Илья, — не сдержался Кондрашов, — ясно-понятно, что у каждого человека должен быть свой стыд, врождённый, здесь, внутри.

При этих словах Иван легко постучал кулаком по груди:

— И глубоко ли он, или на поверхности и только чуть прикрыт одежкой, но в любом случае человек должен с ним сверять свои действия и поступки; а это и будет значить, что он поступает по-божески.

— Согласен. А вот если там, где у человека должен находиться стыд, осталось пустое место, или, может, его там вовсе не было, что тогда?

— Тогда он будет делать всё не по-божески, и по-другому от него не дождёшься. Вот у тебя, дед Илья, там не пустое место; у меня же, выходит, не всё в порядке, если ты говоришь, что я делаю вроде бы по-божески.

При этом Кондрашов сделал ударение на слове «вроде».

— Если сказал, значит, так и думаю. Давай рассуждать: с народом ты ладишь, помогаешь всем строить жизнь, и это по-христиански, по-божески, значит; что касается

Натальи, то — извиняй: не по-христиански это с твоей стороны.

— И почему же?

— Всё потому, уважаемый, что Наталья тебе не жена — это раз; и у вас ребёночек с ней — это два; и с какой стороны ни подойди — всё получается не по-божески.

Кондрашов опешил: не думал и не гадал, что дед Илья будет осуждать его за связь с Натальей. Он с самых первых дней не прятался от старика, доверялся во всех делах, если была нужда в какой-либо помощи ей со стороны; и даже советовался с ним, как лучше сделать, когда задумывали окрестить Алёнку.

Сначала он хотел по-тихому посадить Наталью и Алёнку в машину и уехать в соседний район, где его бывший однокурсник по сельхозинституту Андрей Дёмин также работал председателем колхоза и уже договорился со священником местной церкви совершить этот обряд.

— Нет, — возразил тогда дед Илья, — секрета из этого делать не надо. Кто будет тебя осуждать, и за что? Обычное дело. А чтобы вообще поганых разговоров не было, и люди правильно понимали совершаемое, надо делать это вместе с женой — Маруська, думаю, здесь лишней не будет.

В тот же день у него состоялся разговор и с Маруської; начиная его, сослался на деда:

— Илью сегодня видел — в магазин приходил и ко мне зашёл: ничего выглядит.

— Ещё лучше бы смотрелся, не вдовствуй столько лет, — сразу сделала вывод Маруська.

У неё всегда был свой взгляд на любую проблему, могла охарактеризовать человека со всех четырёх сторон, словно внутри неё сидел независимый эксперт; и при этом взгляд её непременно был добрым, так как жила в ней великая жалость ко всему, что её окружало.

— Чего приходил, нужда какая?

— У него — нет; у Натальи: решила окрестить Снегурочку и говорит, что ты ей когда-то намекала в крёстные пойти.

— Что-то говорила, вспоминаю, но только, кажется, о тебе шёл разговор.

— Крёстная мать тоже нужна.

Тогда они подумали каждый о своём: Иван — что дед Илья ему дал правильный совет; и хорошо, что нарекут Ивана отцом крестным, и Маруська это будет знать; ну а в народе сомневаться не приходится — на каждый роток не накинешь платок.

Маруська думала о трудной судьбе Натальи, её не сложившейся жизни, в которой, как ей казалось, Натальиным детям было радости мало. А как Наталье живётся сейчас, Маруська толком не знала. Со слов деревенских, да и муж кое-что рассказывал, её жизнь после Настюшкиной свадьбы особых изменений не претерпела: Снегурочка растёт; Наталья сидеть дома не захотела и пошла работать на ферму. Помог Иван, определил дневным сторожем, и выбирать ей не приходилось — жить-то на что-то надо; а какую ещё работу найдёшь удобную, когда ребёнок на руках? Пойдёт с Алёнкой на ферму утром — и до обеда; потом часа три дома, пока люди доят коров, поят и кормят телят; а там и до вечера недалеко, это когда доярки и телятницы снова появятся на ферме.

— Вань, надо бы доехать к ней, — нарушила молчание Маруська. — Это дело тоже нужное, а у неё тут никого из родни не осталось; один дед Илья выручает.

— По выходным девка приезжает, на каникулах живёт. А так, конечно, проехать надо.

На душе у Ивана легче: как задумал, так вроде бы и получилось.

На другой день они с Маруської выкроили пару часов и проскочили на посёлок. Потом отрядили ещё один день, чтобы проехать по ранее спланированному маршруту, к другу в соседний район, где бородатенький священник с моложавым лицом и лукавыми чёрными глазками, похожий на армянина, торжественно объявил их крестными родителями этого удивительного сокровища — Алёны Савельевой, по-уличному — Снегурочки.

Так развивались тогда события, а теперь дед Илья его обвиняет.

— Не-е-ет, диду, — протяжно возразил Кондрашов. — Что мы сделали плохого людям, обществу наконец? Да, мы любим; вначале стыдились своих чувств, но ведь жестоко

было бы поступить по-другому, не пойти навстречу друг другу; и скорее всего именно так было бы не по-божески.

— Может, так, а может, и не так, — сделал тогда вывод дед Илья.

Уже позднее, вспоминая слова, сказанные стариком, Кондрашов пришёл к мысли, что в них была истина; лежала она на поверхности и, конечно же, имела прямое отношение к их украденной любви, о чём дед Илья говорить не захотел, очевидно, чтобы его не обидеть.

У Кондрашова продолжать им же начатый разговор тогда времени не было, торопился в поле. Шла уборка зерновых, следом навалились другие работы. С клеверами управились — в погоду скосили и уложили в скирды, но оставалось закончить с однолетними, которые переставали; не за горами сев озимых, и надо готовить почву; кукуруза зажелтела метёлками, рослая, с тёмно-зелёной листвой и крупными початками, а это значит: пришла пора набивать силосные траншеи; в работе комбайны, так что ждала своей очереди солома — убрать с поля и также в скирды по погоде; ведь в прошлом всякое бывало: случалось даже, что до половодья пустели силосные траншеи, истаявал последний скирдок сена, и тогда выручала соломка, особо если травянистая. Но в этом году с кормами должно получиться, тем более удалась на славу вико-овсяная смесь, которая занимала сто пятьдесят гектаров.

На это поле он бросил все силы, рассчитывая справиться с ним по жаркой и сухой погоде; на клеверах такой расчёт оправдался, а здесь маленько не получилось. Поручив агроному не отходить от комбайнов, Кондрашов решил приглядывать за скирдовкой сена сам. Работа шла не без сложностей: техника выходила из строя — то косилки, то ворошилки, то стогометатели или копнителы, и приходилось в пожарном порядке мчаться в мастерские, копаться в поисках нужной запчасты на пыльных полках, по тёмным складским углам в соседних колхозах. К исходу дня, присев возле скирды, подводили итоги, обговаривали, что и как будут делать завтра. Шум работающих рядом стогометателей, подъезжающих и отъезжающих автомашин, грохот тракторных тележек и человеческие голоса им не мешали;

все эти звуки вместе с запахами высохшего сена, с массой неотложных забот сливались в один бесконечный день, в котором не оставалось места на сугубо личное, потому что было ещё немало вопросов, которые приходилось ему решать как председателю колхоза. Но Кондрашова это не огорчало; главное — работа спорилась: за день скашивали более пятнадцати гектаров, на другой день, с утра, там уже бегали трактора с граблями, на третий — ворошили и копнили. А когда поплыли копны с поля и приступили к работе стогометатели, люди стали видеть конечные результаты своего труда: что ни день — вдоль просёлка в ряд пристраивался скирд, ладный, как брат-близнец из многодетной семьи.

В течение недели убрали сто тридцать гектаров. Осталось работы ещё на один день, но перед обедом погода неожиданно испортилась: над полем, где властвовал сухойей, за какие-то полчаса потемнело, потом загремело, и на горячую землю, на ряды и копны высохшего сена, на дышащую жаром технику и на людей обрушились потоки воды. Поле опустело на три дня.

Вот когда Кондрашов огорчился: надо же, не успели — остался необранным угол поля, около двадцати гектаров. Дожди прошли, землю обсушило, и надо было сено в рядах ворошить, намокшие копны разбрасывать, потом снова ворошить и копнить. Промочило и незавершённый скирд, так что и он прибавил забот. Только справились со всем этим — дожди вернулись, и снова всё повторилось; но это было сено уже не то, каким его укладывали по погоде, а чёрное, утратившее свежесть и аромат.

Дожди приносили людям долгожданный отдых; но Кондрашов, оторванный в погожие сенокосные дни от других важных дел, которые отставлял на потом, и в ненастье работал в напряжённом режиме, стараясь наверстать упущенное: так же рано уезжал из дома, в обеде Маруська его не видела, лишь только вечером появлялся раньше обычного, за час-другой до сумерек.

Была суббота. Второй день висели над просёлками низкие серые тучи, и сеял, сеял надоедливый мелкий дождь. «Не по-божески,— посмотрев утром на небо, вспомнил Кондрашов слова деда Ильи,— совсем не по-божески: одного дня не хватило, чтобы закончить с сеном, а теперь этот клочок держит и людей, и технику».

Но жизнь не стояла на месте, она торопила, и, чтобы не отстать от неё, надо было самому не сидеть сложа руки, а делать дела. Утренние организационные вопросы он порешил быстро; затем собрал в кабинете всех отраслевых специалистов, и в течение не одного часа они вели подробный разговор о надоях и привесах, сколько убрано и не убрано, и почему мало вспахано, — словом, по всем строчкам статотчётности, которые передавали в район ежедневно. Вывод сделал неутешительный: появились проблемы с приобретением запчастей, запасы дизельного топлива невелики, а свободных денег на банковском счете практически не осталось. Кто их даст, и на каких условиях, он ещё не знал, но что искать их будет — знал точно.

Где на первых порах найти денег, подсказал Лылов. Многое из того, что говорил и делал агроном, казалось, не вписывалось в рамки поведения обычного человека: неординарно мыслящий, порой удивлявший своими взглядами, чаще всего критическими, на ту или иную проблему в масштабах государства, он между тем дела вершил в своей отрасли спокойно и уверенно; а вот критики в свою сторону не позволял, также спокойно и уверенно отметал её убедительными фактами, доказывающими его правоту. Лылов ушёл из кабинета последним, и брошенное им зерно в сознании Кондрашова начинало прорастать. Но до конца обдумать эту мысль не удалось — после стука в дверь вошёл Олег Борисыч; серенькая промокшая фуражка, длиннополая брезентовая накидка и высокие резиновые сапоги делали его похожим на пастуха.

— Дай, думаю, найду, — сняв фуражку и поздоровавшись, зачистил он. — Сколько ни заходил по погоде — в разъезде, говорят. Теперь вот непогода тебя к берегу и прибила.

— Не меня одного, — невесело уточнил Кондрашов, — люди сидят, машины стоят: не пашем, не сеем, не скирдуюм.

— Природу не обманешь, — с видом знатока заметил Олег Борисыч.

Кондрашову стало интересно: а что думает учитель о дождях? Как понимает эти природные явления в череде событий? И тут же вспомнил их давний разговор, здесь же, в кабинете, когда однажды зимой Олег Борисыч вот так же пришёл к нему и с интересом посвящал в тайны природы. Спрашивать не пришлось: он только подумал, а учитель уже заговорил:

— Природа, Иван Дмитрич, идёт своей дорогой, по своим верстовым столбам. Поясню: лето перешагнуло знойный возраст; сегодня первое августа, то есть август-разносол пришёл. В старину говорили, что в августе всего в запасе: и дожди, и вёдро, и серопогодьё, но это относится ко всему августу, а он только начался; и, выходит, завтра, уважаемый Иван Дмитрич, по народному календарю, да и по церковному тоже, великий праздник Ильин день.

— И что, что Ильин день? — улыбнулся Кондрашов, — Даёт людям время отдохнуть, водку пить? Не по-божески.

Он опять вспомнил деда Илью.

— Э-э-э, — погрозил пальцем Олег Борисыч, — не по-божески? Наоборот, Илью-пророка относят к самым почитаемым святым, как, скажем, Николая Угодника: в народном понятии он святой грозный, карающий и одновременно щедрый.

— В чём же проявляется его щедрость? в дожде?

— Дождь — это плодородие. Илья-пророк есть распределитель... нет, он распорядитель самых страшных и благодетельных сил природы.

— Если дождь — это божья благодать, тогда что есть кара?

— Молния, например: наслёт на нас — весь урожай подчистую сгорит, деревню спалит. Так и звали его в старину — громобоем.

Кондрашов начинал удивляться знаниям этого человека; но тут же память увела его в далёкое прошлое, когда Олег Борисыч на уроках литературы много чего рассказывал, а им было также интересно слушать.

— Да, я всегда говорю, что предки наши не дураки были. Представь себе картину: одного мужика, такого, как Кулачок, спрашивают: мол, что это за Илья-пророк и что он делает? Ты как бы ответил на такой вопрос?

Кондрашов пожал плечами.

— А-а-а! А вот что ответил мужик: «Илья, — говорит, — развозит по небу воду для святых и, если расплескает малость, на земле дождь идёт». Тогда мужика спрашивают, почему зимой совсем по-другому в природе: дождя нет, грозы нет? Тот почесал затылок, посмотрел на небо и говорит: «На что им зимой вода, святые зимой сидят без воды».

И Олег Борисыч смеётся, довольный своим рассказом.

— Не по-божески, — смеётся, но не соглашается Кондрашов. — Вот мужик сказал, что, мол, расплескает малость Илья-пророк, и тогда дождь на земле идёт. Чем он там воду носит: вёдрами худыми или решетом? Вот я на днях заехал на посёлок, к деду Илье, и смотрю: он воду несёт из родника; тропинка узкая, да в гору ещё, а он с двумя вёдрами; и ни капли на землю.

— Иван Дмитрич, Иван Дмитрич... — в словах учителя укор. — Это же в народном воображении.

— Да я понимаю, Олег Борисыч, что ты всё это не придумал.

— Нет, конечно; и могу сказать, откуда взял: в библиотеке; среди старых журналов, которые списали и хотели сдать в макулатуру, попалась никем ни разу не востребованная брошюрка — народный календарь. Редкая вещь, а вот в руки никто не взял, мне тоже не попадалась на глаза; теперь моя: выпросил.

Кондрашову стало неудобно: хотел вроде бы как пошутить, а Олег Борисыч воспринял его слова за насмешку; и он решил увести разговор в другую сторону:

— Да, в старину крестьянин жил по своему прогнозу, а мы ждём, когда Москва нам скажет, будет дождь или нет.

— Ценную науку в земледелии утратили, — согласился учитель, — потому и многие колхозы сегодня бедствуют.

— С общественными хозяйствами ясно, какие у них беды и откуда: вот сегодня полдня судили-рядили, где взять де-

нег на запчасти и горючее — касса-то пустая, а своей чеканки нет. Всё дорожает, но только не зерно, не мясо и молоко, и нам вбивают в голову, что рынок цены регулирует сам. Где он, тот регулятор, если каждый год крестьянин в убытке: то много зерна, но осталось невостребованным; то мало зерна, но перекупщик цену не поднимает и ждёт, когда крестьянин из-за нужды за дёшево отдаст. Ту науку утратили, а новую, выходит, не освоили? И не освоим, пока вошь за голову не укусит и государство не проявит интерес, так как эта проблема уже в масштабах государства и касается не только общественных хозяйств. Сегодня пусть никто не говорит мне, что это не так, — и, как бы пресекая любую попытку оспорить его мнение, резко добавил. — Никто.

Олег Борисыч молчал, очевидно, или осмысливал услышанное, или же попросту не хотел с хозяином кабинета спорить, потому что это не входило в планы его визита.

— Ну, вот скажи мне, как процветает сегодня твоё личное подсобное хозяйство? — спросил его Кондрашов, прикидывая, что могло заставить учителя идти к нему по такой погоде.

— Моё-то? — переспросил Олег Борисыч, обрадовавшись, что вопрос, из-за которого пришлось ему сегодня мокнуть, всплыл на поверхность сам собой. — Моё личное, как и ваше общественное, кстати, живёт такой же заботой: сенокос прошёл, а в зубах поковырять — ни соломинки, ни травинки.

— Это как сказать, — не согласился Кондрашов, — мы для себя вроде бы сенца приготовили — и клеверного, и вички.

— Так и должно быть, — как похвалил Олег Борисыч. — Раньше говорили: до Ильина дня в сене пуд мёду, после Ильина дня — пуд навозу. А у меня ни мёда, ни навоза, и корову кормить нечем: косить-то я староват стал.

Для Кондрашова это не новость: Немыткин был не один, кто сам не смог заготовить сена для своей коровы из-за подступившей старческой беспомощности. С надеждой смотрели на колхозное поле и механизаторы, которые

с утра до ночи не вылезали из кабины трактора и потому не имели времени позоревать с косой на неудобьях — по балкам и оврагам, по обочинам дорог да вдоль ручьёв, куда не доходили колхозные стада.

— Не волнуйся, — успокоил его Кондрашов, — всё будет по-божески.

И тут же, поймав себя на мысли, что после разговора с дедом Ильёй он часто употребляет слово «по-божески», поправился:

— Всё сделаю по порядку: берегу на дальнем поле вико-овсяной смеси — хватит на всех. Дожди пройдут — скосим, разделим на заработанный рубль; а кто в колхозе не работает — учителям, пенсионерам и прочим дадим на корову; ещё соломки привезёте, выберете потравянистей, яровой или гречишной.

— Это уже дело, — удовлетворённо сказал Олег Борисыч. — А то на днях в магазин зашёл — народ беспокоится.

— Скажи всему народу: без сена не будут; и ничего, что перестоялая.

На столе зазвонил телефон; понимая, что главный свой вопрос вроде бы прояснил, что теперь он может быть лишним, Олег Борисыч встал:

— За разговор, Иван Дмитрич, спасибо. Мешать теперь не буду, пойду.

И осторожно закрыл за собой дверь.

Кондрашов поднял трубку и услышал в ней голос сына, от которого уже давно не было вестей:

— Да, Серёж... да-да. Ты где пропал?

Сергей, как и дочери, родителей не обременял: закончил железнодорожный техникум и уехал по направлению работать в Москву, где определили его помощником машиниста электропоезда. Как складывалась жизнь вдали от родного дома, рассказывал мало, но для Ивана с Маруськой достаточно было знать, что сын жив-здоров и самостоятельности не утратил. Армия не дала ему долго работать: там же, в Москве, Сергею вручили повестку; и туда же, на прежнее место работы, возвратился он после службы, это было весной. К родителям приехал тогда всего на одну неделю, как сказал, повидаться с ними, посмотреть

на деревенскую жизнь, на родные места. Мать уговаривала, когда засобирался уезжать: мол, пожил хотя бы месяцок, отдохнул, на что Сергей только улыбнулся: «Мать, я в армии не надорвался, мне она была не в тягость; я даже хотел остаться там». И вот откликнулся:

— Не пропал я. Еду домой, а звоню уже из Орла. Может, встретишь с электрички, чтобы мне грязь не месить и не мокнуть.

- Конечно. Это во сколько?
- Шестичасовой электричкой.
- Где выходить будешь?
- Давай на разъезде.
- Давай.
- Тогда всё...

И в трубке послышались короткие гудки.

Разъездом в народе называли останочный пункт на 452-м километре Московской железной дороги; как полагал Кондрашов, название это пришло из тех далёких времён, когда сначала проложена была только одна колея, и для бесперебойного движения по ней на Москву и от Москвы один из встречных поездов здесь загоняли на запасной путь, чтобы можно было разехаться. Станции как таковой здесь не построили, но запасной путь был, поезда делали остановку среди голого поля, и народу от этого не было хуже. «Таких останочных пунктов по стране ого сколько, и построить какой-либо вокзалишко у государства денег всегда не хватало, — подумал Кондрашов. — А вообще, надо спросить у Немыткина: учитель наверняка знает что-нибудь о железной дороге, не только же погода и приметы старины его интересуют».

И ещё стал размышлять, что деревне его крупно повезло: железная дорога охватывала её с трёх сторон, и в какую ни пойдешь — за час по хорошей погоде будешь у поезда. А отец, прошагавший по дорогам войны тысячи километров, однажды ему сказал: «Солдатский шаг: десять минут — километр»; потом уже сам в этом убедился. Железная магистраль, уходя от истока Неручи и торфяных болот, делала крутой поворот, изгибалась подковой, и деревенским из центра этой подковы, отправляясь в дальнюю

дорогу, оставалось только выбрать себе, в какую сторону просёлочек будет поприличней, да чтобы не навстречу ветер.

Больше века слушает деревня с трёх сторон гудки и шум поездов, столько же ходят и ездят туда и оттуда люди, только теперь на дорогах пешеходы стали большой редкостью. В начале восьмидесятых до райцентра построили бетонку, и также в обход торфяников. Дорога от деревни уходила в сторону разъезда, потом круто поворачивала направо и устремлялась к райцентру вдоль «железки», почему и получила туда вдвое длиннее прямоезжей грунтовой, которую стали забывать и пешеходы, и машины. Бетонка есть бетонка: когда сухо — не пыльно, а зайдёт ненастье — не забуксуешь, у пешехода не намокнет обувь. И люди, которые без личного транспорта, в любую погоду выбирали её — в надежде, что попутка подхватит. Случалось, шёл и шёл человек, а ни одной машины; или промчится мимо — только гарью обдаст да горячим ветром; и всё это усталостью и болью оседало на душе после двухчасового пути. Иной пешеход рассерчает из-за этого и ну ломать дорожные знаки.

«На разъезде, так на разъезде», — и Кондрашов посмотрел на часы: у него ещё оставалось достаточно времени, чтобы закончить с бумагами, пообедать и проехать на заречные луга, где паслось дойное стадо.

3

— Снегурочка-а-а! Доча-а-а!

Наталья стоит возле дома; она ещё и ещё раз громко кричит в дремотную тишину июньского полдня, и голос её слышит вся округа — он полон жизненных сил, в нём радость внешних дней, тепло светозарного июня и ласковость бабьего лета.

— Снегурочка-а-а! — плывёт над мелководным истоком Неручи, где бьёт бесчисленное множество прозрачных ключей, где в густых зарослях ивняка с незапамятных времён наперебой поют, квакают и крикают, где кипит жизнь.

Конечно, дорогой читатель, ты уже знаешь, что это Савельева Наталья зовёт домой свою маленькую дочь, которую подарила им несколько лет назад сама природа, запеленав её в белые снега вьюжной ночи и убаюкав колыбельной суматошного ветра.

— А-а-а! — слабым эхом доносится из-под горы, где среди яркого многоцветья плавают сочные запахи вызревших ягод.

Наталья на минуту замирает: господи, сколько раз за последние годы вот так же выходила она за калитку и ловила в тишине прихлынувших дней пропахшее ягодой эхо, и каждый раз не могла смотреть на дочь без улыбки: настоящий цветик-самоцветик! Всё те же две короткие косички в разные стороны, цветастое платьице, такое же яркое, сливающееся с многоцветьем откосов; а ещё среди всего этого многоцветья, где маленький человек сливался с природой, мерцали два малюсеньких озера синих-синих глаз. В свете проходящих дней это невинное создание земли и неба несло с собой радость бытия не только родной матери, а и каждому, кто хоть однажды, пусть даже издали, смотрел на неё.

Поласковой солнце — и веселее у Натальи на душе; солнечным светом её согревала теперь надежда, что новые дни принесут только хорошее — и ей, и её детям. Ведь сколько трудностей уже позади, сколько слёз пролила, пока не наступили эти дни, похожие на божье благословение. А как иначе понимать, если у Настюшки жизнь вроде бы складывается: со сложностями, но судьбу свою выбрала, и теперь для неё всё ясно, будущее просматривается. Павлик оказался хорошим мужем, и хозяин не безрукий: в доме, а живут они в частном доме, на окраине города, сам всё обустроил так, что смотреть любо-дорого и, самое главное, жить удобно. Не раз после свадьбы побывала у них, в прошлом году даже пожила чуток со Снегурочкой.

Ах, эта Снегурочка! Кажется, с каждым днём она взрослеет и даже рассуждает совсем по-взрослому. Вот буквально вчера всё ходила, ходила вокруг да около, что-то мурлыкала себе под нос, потом вдруг спрашивает:

— Мам, ладно я возьму твою помаду?

Ну как отказать ребёнку — возьми. Взяла, ещё походила, покрутилась вокруг да около и снова с таким же безотказным вопросом, после чего ещё одна помада перекочевала в её сумочку. Наталья не понимала намерений дочери, и когда Алёнка обратилась с такой же просьбой в очередной раз, она решила это прояснить:

— Дочь, ты у меня почти всю помаду забрала. На что она тебе, ведь ты ещё маленькая.

— Я уже взрослая, — не задержалась с ответом Алёнка, — и мне пора краситься.

Вот такие заявления; и если дальше так пойдёт — переплюнет свою мать: замуж выскочит до шестнадцати.

Лариса после Настюшкиной свадьбы стала приезжать домой чаще: не только во время каникул, но и в выходные дни радовала мать своим присутствием. А уж с Алёнкой сдружились — не разлить водой! Ни минуты друг без друга не могут: вместе идут за водой, вместе за столом — завтраками да обедами мать угощают; то игру какую затеют, что от смеха и шума хоть уши затыкай, а вечером раскладывают диван и о чём-то по-тихому воркуют, пока Алёнкины глаза не закроются. Ну как не радоваться ей после всех тревог, тем более что у Ларисы с учёбой дела клеятся. Последний годок учится, потом госэкзамены, и станет она учительницей с высшим образованием. Говорит, что будет проситься работать в своей школе, значит, и Алёнку будет учить. И хорошо. Не зря всё-таки просиживала днями-ночами над книжками, одна за всех нас старается. «Вот и молодец, — одобрительно думает Наталья, — пусть доучивается. Конечно, ей трудно, и деньжатами мать обижает; а что делать, если у матери жизнь сложилась незавидная какая-то».

Так думает Наталья, и от думок таких не избавиться; а если и отстанут они, эти злые думки её, то совсем не потому, что в груди всё перегорело и там уже не сердце, а горстка горячего шлака: просто накатится в такие минуты горячая волна гордости за свою дочь, которая в жизни всё делает правильно, и обласканное сердце забьётся ровнее, и прибавится света вокруг. А уж светлым-светло становится, когда она с Иваном рядом.

Время не стояло на месте, оно как бы убыстряло свой бег с каждым прожитым днём, и если во всём — и в людях, и в природе — происходили какие-то изменения, то Иван её оставался таким же: милым, добрым, внимательным. Много ещё слов вмещалось в её горячем сердце, и все их Наталья не держала под спудом, когда он приезжал.

Иногда он усаживал её с Алёнкой в машину и увозил подальше от колхоза, в другой район. Наталье были желанны такие поездки: ей хотелось побыть с Иваном подальше от деревенских глаз, постоянно преследующих, выискивающих что угодно для очередной сплетни. Уехав туда, где их никто не видел, а если и видел, то не знал, кто они и откуда, Наталья была счастлива и в этот день, и позднее, когда день уходил всё дальше и дальше в прошлое, потому что оставались воспоминания, согревающие сердце до следующей поездки.

И вот уже в погожих днях отаукался над откосами пропахший солнцем и ягодой июнь — макушка лета; перестоялым травам ронять теперь на землю свои яркие краски, но прибрежные луга, умытые ночными тяжёлыми росами, ещё долго не утратят своей прелести: они будут звать к себе и радовать душу человеческую и глаз первозданной своей красотой.

— Снегурочка-а-а! — аукнуло и смолкло безответно над откосами.

— Снегурочка-а-а! — аукнуло над откосами снова.

— А-а-а! — откликнулось эхо, но уже не ягодой пропахшее, а зрелой вишней и яблоками, с мятой вперемешку.

— Ах, ты цветик-семицветик!

Теперь Наталья редко берёт на руки свою повзрослевшую дочь. Они идут к дому рядом и, как взрослые люди, ведут разговор о том, что Алёнка стала большой и первого сентября пойдёт в первый класс; что скоро приедет её крёстный отец, и вместе с ним они отправятся покупать всё необходимое для школы.

За белесыми занавесками дождя железнодорожная лесозащитная полоса (этот незабываемый памятник сталинскому преобразованию природы) выглядела издали сплошной серо-зелёной полосой; а когда машина свернула с асфальта, нырнула через кювет и въехала в неё по неглубокой колее, устланной листьями и мелкими обломанными ветками, Кондрашов увидел сиротливые деревья, исхлётанные водой и ветром до такой степени, что смотреть на них без жалости было нельзя. Узенькая просека, ведущая к перрону, напоминала тоннель с мрачными тёмно-зелёными стенами, с физическим ощущением избытка сырости и недостатка света. Да и сам перрон выглядел не привлекательнее: те же обломанные мелкие ветки, принесённые туда шквальным ветром; груды битого кирпича напоминали о небольшом служебном помещении с пристроенным навесом, стоящем здесь десятилетия, а в прошлом году по воле железнодорожного начальства оставшемся без кассира и разрушенном жителями близлежащих деревень.

Время поубавило пассажиров в этом краю — деревни вымирали, и перрон зарос травой, оставив для людей узенькую, как ниточка, тропинку; на дальнем её конце в ожидании электрички мокли два рыбака в плащ-палатках с капюшонами; за плечами рюкзаки, в руках удочки.

Кондрашову долго ждать не пришлось: выскочив из-за поворота, электричка свистнула и резко затормозила. Через открывшиеся двери было слышно, как объявили остановку; из вагонов на низкий перрон спрыгнули несколько человек, по порожкам вскарабкались рыбаки, и двери с шипеньем снова закрылись; электричка ещё раз свистнула, дёрнулась и с визгом умчалась. От перрона к машине бежал Сергей — в одной руке сумка, другой рукой придерживал на голове уже намокшую газету; а следом за ним спешила, спрятавшись под пёстрый зонтик, Лариса, Наталья старшая дочь.

Кондрашов пошёл по дождю навстречу.

— Ну, здравствуй, сын, — сказал он, и крепко пожал ему руку.

— Здравствуйте, Иван Дмитрич, — поздоровалась Лариса. — Подвезёте меня?

И вдруг неожиданно рассмеялась:

— Хотя уже знаю, что не откажете.

Сергей быстро открыл заднюю дверцу, и в считанные секунды они уже сидели в машине.

Лариса была по-детски счастлива: в такую поганенькую погоду ей просто повезло — не пришлось нанимать от станции такси, что для неё как для студентки, только-только получившей диплом о высшем педагогическом образовании, было бы довольно дорого; но и пешком не пойдёшь — от такого дождя зонтик не спасение.

— Ну, как я тебя не подвезу, девушка, — так же весело ответил ей Кондрашов, — поздороваться не забыла, и к тому же теперь ты мне всё-таки роднёй приходишься: мы с твоей матерью покумились, и я теперь Аленкин крёстный.

— Тогда до самого дома должны доставить, — продолжала радоваться Лариса. — Я же, Иван Дмитрич, садилась в поезд — дождя не было, и собиралась выйти на станции. Гляжу на посадке: заходит в вагон и рядом со мной — плюх, сел, значит, Серёжка. Сначала он меня не узнал. Потом разговорились и удивились: из одного колхоза, в одной школе учились, а вроде как не знаем друг друга. Он меня и уговорил: поехали, говорит, со мной до разъезда, там отец встречать будет.

И, уже обращаясь к Сергею, добавила:

— Спасибо, Серёж, ты доброе дело для меня сделал, век не забуду.

И снова засмеялась.

— Да ты только сейчас говоришь, а завтра забудешь и не вспомнишь, — шутливо возразил Сергей.

— Не забуду, Серёж, не-за-бу-ду, — выговорила по слогам Лариса. — Это у тебя память плохая: забыл же, кто я такая.

— Ничего удивительного, — заметил Кондрашов. — Просто дороги ваши рано разошлись: Лариса — в среднюю школу, а Серёжка — в Орёл, в железнодорожный техникум, потом в Москву, потом в армию. И ещё: когда приезжала к матери, ты из своей поселковой глуши редко выбиралась, так что дороги ваши за эти годы не пересекались.

— Я чуть-чуть помнил, — признался Сергей. — Лицо знакомое, а вот кто она, чья — нет.

— Теперь будет помнить, — заступился за сына Кондрашов. — Глянь, какая девка — ладная да весёлая.

— Не, Иван Дмитрич, я суровая. Это Настюшка у нас как колокольчик, всё хи-хи да ха-ха. У меня сейчас душа поёт от радости, что не пешком до дома.

Весело разговаривая, они снова миновали кювет, и машина зашуршала колёсами по мокрому асфальту. Через несколько километров Кондрашов свернул на просёлочек; пышущий жаром «уазик» на скользкой дороге завилел, разбрасывая по сторонам липкую грязь, но к Натальиному дому они подъехали без происшествий и не со стороны фермы, а с противоположной — от лесополосы, протянувшейся через поля от торфяных болот.

— Очумела девка, — всплеснула руками Наталья, увидев на пороге Ларису. — Да кто же в такую погоду ездит, все по домам сидят.

— Мы, — доложил Кондрашов, переступив порог вслед за Ларисой.

— И мы, — позади него нарисовалась русая голова Сергея.

— Я говорила, что приедет! — вихрем подлетев к Ларисе, закричала Алёнка. — Говорила, говорила!

Лариса наклонилась, обняла её, не забыв при этом поцеловать. Кондрашовы продолжали топтаться у двери.

— Что остановились, проходите. — Наталья рада: голос весёлый, на лице румянец. — К столу, к столу сразу — магарыч буду ставить.

Через несколько минут на столе уже было тесно от посуды, но рюмки прозвенели в руках только у Ивана и Натальи: Сергей и Лариса с Алёнкой уединились в другой комнате, сославшись на то, что вино не пьют и не проголодались.

— Где ты её нашёл? — тихо спросила Наталья.

— На разъезде, — в тон ей ответил Кондрашов. — Вместе с Серёжкой приехала. А он из Орла мне позвонил, что едет.

— Если бы не она — не приехал

— Не угадала: собирался.

Кондрашов хотел было передать Наталье весь свой разговор, который состоялся у него с Ильёй, но неожиданно передумал: зачем он ей, меньше всякой чуши будет лезть в голову.

Конечно, в словах старика был заложен глубокий смысл, а он определённые выводы для себя сделал и решил, что самое время их выложить.

— Я вот всё думаю о наших с тобой отношениях — они у нас какие-то непрочные: р-раз — и разорваться могут. А хочется, чтобы покрепче были, прочными. Люди до нас придумали, как их скреплять: вот в ЗАГСе расписывают и штамп в паспорте ставят — такая отметка есть у тебя, и у меня есть, но, как сама понимаешь, они в прошлом и не для нас.

— Для кого же тогда они ставились? — спросила Наталья и, не ожидая, что он скажет, сама же ответила на свой вопрос: — Для нас, милый, для нас.

— Я говорю только о тебе и о себе, о наших отношениях. В жизни так не прочно всё, и что будет завтра, послезавтра или через год — никто сказать не может.

Наталья не понимала, к чему он клонит, а Кондрашов продолжал:

— Я придумал: давай мы с тобой обвенчаемся, и это будет наш вечный брачный союз: даже после смерти будем вместе.

Теперь Наталья молчала, но что говорил Иван, для её сердца было сладкой музыкой; его слова вливались в сознание тёплой волной счастья, потому что она также боялась потерять своего любимого; она хотела быть с ним рядом и сегодня, и завтра, всегда; она не представляла, как станет жить дальше, если вдруг в один из дней узнает, что её Ивана больше не будет рядом. Потом тихо спросила:

— Ты твёрдо решил?

— Да.

— И как всё это представляешь?

— Ещё не знаю, но об этом уже думаю. По всему надо съездить к другу снова и попросить договориться с батюшкой, чтобы он совершил этот обряд, как и с Алёнкой. Надежду не теряю, что получится.

Наталья ещё помолчала, обдумывая предложение любимого человека; она утверждалась во мнении, что у них с Иваном именно так и должно быть — прочно, неразрывно, и чтобы бестревожными были её дни, и не болела бы душа за благополучие их украденной любви; заговорила так же тихо:

— Вань, скажу откровенно: я сама тоже приблизительно так думала, но как сделать — не придумала ничего. Хотя связка прочная у нас есть: Алёнка наша. Я всегда боялась и боюсь тебя потерять, и не только потому, что ты Алёнкин отец; я не представляю жизни без тебя.

Наталья взяла со стола бутылку и наполнила Иванову рюмку, плеснула малость в свою:

— Делай, Вань; как получится — видно будет. И давай ещё по капельке, за нас с тобой.

Она медленно выпила свой глоток, наколола вилкой разрезанный помидор и вдруг закашляла, на глазах появились слёзы. Наталья хотела их вытереть ладонью, но они из-под руки по щекам сбежали вниз, уместившись в два маленьких ручья, — это были слёзы счастья; и Кондрашов увидел, как они вымывали из глаз любимой женщины васьиковую синь.

5

Обильные дожди вдоволь нагулялись над поймами Неручи; напоследок отхлестав кучерявые лозняки и присмирившие деревни, разбросанные по прибрежным буграм, пообломав по прогонам старые ракиты, они свалились за горизонт — так же неожиданно, как и пришли. Но над поймами ещё буйствовал ветер. Вокруг шумело, хлопало, хлопало; воздух был наполнен густыми запахами воды, полыни, запревающего сена, ещё какими-то неизвестными, знакомыми, но забытыми запахами, а невидимые потоки света уже овладевали пространством, зависая над холмами, опускаясь по склонам до самых низин и насквозь пронизывая открывшиеся дали. И снова над Неручью светло и тихо; солнце плавится в лужах, слепит глаза; распрямились, расправили набухшую зелень злаки,

и по всей деревне, из конца в конец, весёлая петушиная перекличка.

Здравствуй, новый день, неутомимый труженик, зовущий на новые дела, которых у людей в это время года непочатый край! Потянет горячий ветер над полями, обдует их, просушит — и снова там зашумят машины, только и гляди, чтобы в погоне за заработком не случилось плохого: ребята лихие, а ведь техника есть техника и требует к себе осторожного обращения. У Кондрашова на памяти не один случай, когда человек, работая в поле, по дури своей мог остаться без пальца или сломать руку; или по его вине загорался комбайн, и все мчались на помощь, рискуя уже своими жизнями. В общем, всяко бывало на этих холмистых полях, но что хорошо — смерть обходила людей стороной. В позапрошлом году не обошла, но это был особый случай, и на том самом поле, где годом ранее капризная погода показала норы свой во время сенокоса.

Уборочная страда чадила пылью и потом — стояли сухие и знойные дни. Комбайны с раннего утра до ночи гудели на этом поле, пропуская через грохочущую утробу густые валки озимой пшеницы; люди задыхались от жары и пыли. На обмолоте зерновых людей кормили в поле, причём бесплатно. И когда на загонке, перед комбайнами, оставилась знакомая машина, всегда привозившая обед, и Петровна, уже немолодая, бойкая на язык повариха, помехала из кузова белым полотенцем, комбайнеры покинули технику и весёлой ватагой сбились возле заднего борта, с теневой стороны.

— Подходи! — скомандовала Петровна, и комбайнеры не заставили себя упрашивать — получили из её рук чашки с наваристыми щами и хлеб.

— Подходи смелей! — прозвучала новая команда, и снова застучали ложки в алюминиевых чашках, наполненных гречневой кашей с телятиной.

— Не отставать! — торопила повариха. — А то мне ещё пахарей кормить.

Запивали компотом из сушеных яблок, и процедура эта много времени не заняла. Петровна быстро собрала посуду и умчалась по просёлку дальше, а комбайнеры остались си-

деть, открытые для солнца, — неспешно делились впечатлениями от работы, выкладывали последние новости, услышанные ими на машинном дворе ещё утром.

— Что-то мне на солнце не особо, — закрутил головой Николой Юрин, крепкий на вид, кряжистый, как дубок, но уже в годах. Он постоянно работал на тракторе, но с началом уборки зерновых его всегда пересаживали на комбайн, учитывая его механизаторский опыт, великолепное знание техники. Юрин всегда оправдывал хорошее мнение о себе, что прибавляло ему авторитета.

— Приморило Герасимыча после обеда, видать, дорогуша ночью спать не дала, — пошутил кто-то над ним.

— Переел маненько, — возразили ему.

— Не, ребятки, это он после вчерашнего бодуна, наверно, никак не отойдёт.

— Доживёшь до моих лет, тогда будешь говорить по-другому, — незлобно огрызнулся Юрин. — Пойду в тенёк — может, полегчает.

И прилёг на соломе возле копнителя ближайшего комбайна.

Комбайнеры посидели ещё; некурящие подождали, пока «курилки» вытянут по сигарете, и стали расходиться.

— Герасимыч, поехали, — окликнул своего старшего помощник.

Юрин не отозвался.

— Герасимыч, разбежались.

Тот же результат. Подойдя к нему, помощник увидел, как небритое, запылённое лицо комбайнера стремительно чернеет...

Кондрашов примчался на поле сразу, лишь только ему сообщили о случившемся. Приехавшие на «скорой помощи» врачи зафиксировали смерть, участковый милиционер с лейтенантскими погонами составил протокол и распорядился, чтобы труп отправили в областной центр на экспертизу, а Кондрашов тут же занарядил машину, в кузов которой набросали соломы, застелили её брезентом. И сегодня Юрин у него перед глазами — такой, каким лежал тогда в кузове перед отправкой в морг: рубашка в клеточку наполовину растёгнута; непонятно какого цвета

замасленный пиджак и ещё не успевшие постареть брюки, которые, однако, уже утратили нормальный вид из-за небольшой заплатки ниже правого колена; крупные узловатые руки — с пальцами, похожими на обрубленные корни старого дерева; крупное лицо, уже почерневшее. И не мог тогда понять Кондрашов: то ли само лицо так почернело, то ли черноту придавала ему щетина, с которой Герасимыч в последние свои дни расстаться не сумел. И ещё подумал: «Вот и кончилась его жизнь. Жил, жил, всё работал; хотел хорошо жить, а никак у него это не получалось: домишко неважный, сам весь в долгах, хотя и зарплату вроде бы неплохую получал и приносил домой, не пропивал, как некоторые; всё детей поднимал — их у него четверо. В следующем году собирались ему дом построить за счёт колхоза.

А что «некоторые»? Глядишь: вроде работает, сам — не сказать, чтобы грязнуля, — со стрижкой, и побрит, а вот запивает, и тогда работник из него совсем никудышный. И, выходит, прав был Герасимыч, когда вместо сердитых слов при выяснении отношений с каким-либо чудачком из разряда своих обидчиков обходился только любимой поговоркой: «Разные мы с тобой люди», — скажет, как осудит, а потом отвернётся от него. Всё верно: если исходить из законов природы, то у жизни с её заботами есть два полюса — положительный и отрицательный; у Герасимыча они оба были подключены, и при нагрузке на сердце предохранители не сработали».

Дом Юрина на краю деревни, с той стороны, где кладбище, до которого не больше версты, и гроб туда несли на руках рослые ребята из друзей-механизаторов. Кондрашов то подменял кого-то из них, то шёл рядом с родственниками Герасимыча; у могилы сказал перед всем народом, пришедшим проводить покойного, добрые слова благодарности за его честный труд и порядочное отношение к людям, выразив при этом глубокое соболезнование его родным и друзьям; а легли на свежий могильный холмик венки и цветы — всех пригласил в колхозную столовую, где был приготовлен поминальный обед.

Домолачивали поле без Юрина. Когда был подобран последний валок, день уже клонился к закату. Где лежал по-

следний раз на этой земле их товарищ, свели комбайны в тесный круг и заглушили моторы, оставив не занятым в нём место для одного, стоящего в сторонке с работающим двигателем; а Кондрашова попросили захватить на своём «уазике» в круг. Еще не понимая, для чего это надо, он заехал, и тут же последний комбайн перекрыл ему дорогу назад. И на поле стало тихо.

— Теперь и ты побудешь с нами, не уедешь, — объяснили ему, — Помянем Герасимыча.

Обычно с наступлением ночи комбайны пригоняли на центральную усадьбу; на этот раз они ночевали в поле, а людей уже за полночь развезли по домам дежурная машина и сам Кондрашов на «уазике». Трудно сказать, сколько будет жить в народе эта традиция, но теперь в деревне хорошо знают, где то самое «пьяное» поле, что каждый год вместе с людьми оплакивает человека, который год смертного часа своего не расставался с ним.

Но время неуправляемо в своём стремлении двигаться вперёд; и наступали новые дни — то серые какие-то, безликие, то похожие на этот — удивительно светлые после ненастья, с весёлой петушиной перекличкой. Для кого-то они стали лебединой песней, а в основе своей людям надо было думать, как им жить дальше в этой небольшой русской деревне на берегах Неручи, в самом центре Среднерусской возвышенности.

Таких деревень, как родная его Васильевка, по стране, вдоль ручьёв и речек, предки построили немало: недавно Кондрашов зашёл на почту и в каталоге почтовых отделений России насчитал пятьдесят Васильевок. Поглядеть на них со стороны, — наверно, все они будут похожи друг на друга как родные сёстры, за редким исключением, конечно. Его Васильевку выгодно построили на левом берегу: все дома открыты свету, и после зимы, с приходом тёплых дней, солнце смотрит на них в упор; снег тает стремительно, но воды доходит до речки, которая в ста метрах от огородов, всего ничего — её забирают огороды и луг; большая вода шумит мимо деревни, по широким лощинам. В самой деревне только её подголоски — тонкие, или чуть грубее, возле каждого дома на солнце поблёскивают.

В два посада домики единственной её улицы живы радостью: от первого снега — густого и пушистого и первой капли; от первого ручья и первой стаи перелётных птиц, опустившейся под вечер за огородом. Радостью наполнялись их сердца от первого дождя — с громом, и позднее, когда начинала зеленеть первая борозда; и ещё дальше, к лету, когда однажды утром на дорожку выкатывался вдруг из-под листвы под ноги первенец бледно-зелёный — первый огурец, такой пахучий, что этой радости хватало на всю жизнь. Но превыше всего была радость от первого крика ребёнка, которая сглаживала боль утраты на похоронах.

На этой деревенской улице, как на ладони, во все времена видна была жизнь каждого хозяина, чья калитка хотя бы однажды открывалась навстречу пришедшему дню, а из трубы тонкой верёвочкой вился дымок. Будь улица больше — люди затерялись бы в них и не столько подробностей знали о том или ином человеке, хотя и особой беды в этом бы не было. Но время распоряжалось по-своему, и о приросте улиц речи не велось, скорее тревожила одна большая забота: как уберечь эту единственную — истоптанную, изъезженную не за один век. Недруги налетали на деревню издали, с мечом и пожаром; уже свои хотели стереть с лица земли напрочь, как и её соседей, выше по течению и ниже, таких же красивых, с прекрасными плотниками и печниками, искусными кузнецами, другими умельцами, по непонятным для них причинам утративших свою перспективность.

Думай не думай, а приговор подписали, не спросившись у них, лишили той самой первой радости, которой жили предки там веками. Посёлок, где живёт Наталья с Алёнкой, ещё сопротивляется, но по всему и он не устоит, потому что в основе своей там доживают уже в возрасте, как дед Илья, а это значит: неперспективные. И не понять Кондрашову самому, как не может он подсказать людям, где искать им свою перспективность. А ещё пронзила убийственная мысль: вдруг и его родную Васильевку завтра запишут в неперспективные, то есть время в очередной раз прокатится по её улице? С чем прокатится — Кондрашов об

этом пока не думал, попросту не успел, но мысль уже мчалась дальше: время вроде бы испытало односельчан всей страстью, которая имелась в распоряжении человека; природа их щадила: никаких тебе землетрясений, ураганов и наводнений, — словом, золотая середина... ну как же, как же, есть на земле ещё одна страсть в руках человека, и уже испытана на людях — чернобыльская!

Белым пушистым облачком, словно пёрышко, она незаметно повисла высоко над леском, затем распрямилась, раздалась вширь, потемнела и угрожающе рыкнула, роняя крупные, как горошины, и редкие капли; и только потом тяжело сползла низко над поймами. До солнца эта страсть не добралась; солнце пронизывало насквозь деревню, луга с разбросанными по ним лохматыми лозняками, полевые дали с просёлками, и над ними — дождь, несильный, как бы с леной, и удивительно светлый.

— Слепой дождь... не к добру это, — поучительно заметила тогда Хомутиха: и поспешно спряталась под крышу.

— А может, наоборот, — к добру, — возразил ей Гаврил. — Помню, ещё мать моя говорила: если дождик слепой идёт — много девок рожать будет.

Хомутиха знает всё и про всех:

— Они и без дождя рожают, даже больше: смотри, сколько их по деревне после зимы. Бесстыжим ничего плохого: родила — значит, мать-одиночка, а им государство денежку платит.

Солнце светило, капли стеклянно поблёскивали на лету; там, куда туча добраться не сумела, у самого истока Неручи, повисла яркая-яркая радуга. Ватага ребятишек — боконогих, с белобрысыми макушками, в ещё не успевших намокнуть рубахах — носилась по дороге, кричала: «Слепой дождь! Слепой дождь!»; в огородах копались взрослые, поглядывая на небо, спешили управиться с работой до большого дождя.

За разговорами, детскими забавами и заботами взрослых тогда никто ещё не знал, что от берегов украинской Припяти, где случилась большая беда, ту самую чернобыльскую страсть донёс неугомонный ветер до Среднерусской возвышенности, до Неручи, и разбросал над

ними дождевыми каплями. Так что и на этот раз всё видящая Хомутиха, сама того не ведая, оказалась пророком: Васильевку накрыло облако, напитанное стронцием и цезием.

Вот она, эта деревня, на единственную улицу которой незадолго перед этим переселили народ из посёлков и деревушек поменьше, рассыпанных по берегам Неручи, вдоль впадающих в неё ручьёв. По-разному их покидали: молодые — с радостью, мол, ближе к цивилизации теперь, по деревне асфальт, телефон, а торговля, культура, школа и почта рядом; кто постарше — с неохотой, сожалея, что покидают свой корень, где жили в радостях-печалях предки. Поди определи, какое счастье у них было; по рассказам стариков, жили не особо хорошо, но тоже по-разному. Домишки теснились по неудобьям да поближе к воде — барин-то землю берёт, всё делал с расчётом, но — увы! — только для себя: бывало, зайдёт пожар — в этой тесноте полдеревни как корова языком слизнёт, ну а ты молись-крестись, чтобы ветер не в твою сторону. Напустить бы на того барина нашего теперешнего инспектора Госпжнадзора Коршунова — сразу бы порядок навёл.

Да, советская власть — не барин, но и она обижала мужика, по-своему, конечно. На памяти у стариков обид много: землицы под огороды то прибавляли, то урезали, трудодни также скупо отоваривали, а уж как тяжело доставался человеку этот трудодень-кормилец. Когда заменили его гарантированным рублём, людям жить стало легче. Просто так это не происходит: скорее всего, на самом верху поняли, кто государство держит; да и разбогатела казна государственная. Пошла денга — начал колхоз покупать новую технику, строить для людей жильё; тут-то и взялись переселять на центральную усадьбу из отдалённых деревень, попавших в разряд неперспективных, своих работников, точнее, их жалкие остатки, кого не забрал город.

Новых улиц не строили, так как на этой разъединственной, которую уже давно Николай Максимыч приобщил к цивилизации, так же проявлялись пустующие усадьбы: люди так же покидали эту деревню в поисках лучшей жизни, а кто-то умирал в одиночестве, много

раньше отправив детей за счастьем на стороне. Такие места и определяли под застройку, ликвидируя пустоты; потом дома прирастали к ней вдоль дороги, уходящей в поля. Вот Семанины, Заболотские, дальше Павличевы, ещё Заболотские, Кабанковы, Денисовы... Кондрашов много раз на дню проезжает по деревне и знает, чем живут эти люди, по природе своей не лентяи, как и предки их с берегов мелководной Неручи.

Кондрашовский корень почти на краю деревни. Незадолго перед войной, когда отец с матерью поженились и не захотели жить вместе с родителями (больше, конечно, не хотела мать), они построили себе домишко ближе к центру деревни, где у самого прогона, выходящего на луг, объявилось свободное место. Там удобно было водить скотину — луг рядом, и для огорода хорошее место — ровное, чернозёмное; там Иванов корень. А живёт он на дедовой усадьбе, где Кондрашовский корень от отца уходит в глубину девятнадцатого века.

Дед Василий Петрович считался в деревне неплохим хозяином: всё, что надо было семье для жизни, под крышей его построек имелось. Когда сын женился и стал жить своей семьёй, вместе с родительским благословением, в придачу, получил пару овец, телёнка, три колоды пчёл и ещё кое-какой необходимый для дома инвентарь. «Остальным обзаведёшься сам», — это были его последние слова в их совместной семейной жизни; и оба остались довольны друг другом.

Дмитрий Василич выполнил отцовский наказ: крепкий, втянутый в работу с детских лет, он скоро и совсем неплохо обустроил свой дом для семейной жизни. Даже побывал на лесозаготовках около полутора лет и, не затерявшись на необозримых северных просторах, сумел для колхоза заработать леса с избытком, хотя валить его самому не пришлось: мужик он был грамотный, не в меру честный, и там пригляделись к нему и определили заведующим магазином. Каждый месяц он слал оттуда своей Шурке посылки с чугунками и сковородками, с отрезами на костюмы и на одежду детишкам; даже сумел обеспечить швейной зингерской машиной.

Война прокатилась по деревне гусеницами тяжёлых танков; деревню рвали на куски взрывы бомб и снарядов; ненасытный огонь войны пожирал дома и сараи в течение полугода, пока стояла здесь, на её единственной, улице, передовая линия обороны северного фаса Орловско-Курской дуги. А шёл 1943 год, и этого побоища с фашистскими захватчиками ни отец, ни дед не видели: в ранних сумерках по мартовскому снегу всех мужиков угнали на станцию, погрузили в вагоны и отправили кого в Брянскую область, кого в Белоруссию, где их и освободила Красная армия. Отец ушёл вместе с ней и вернулся домой только в конце сорок пятого.

А потом время вершило дела мирно: дети подрастали, вступали в самостоятельную жизнь, старики уходили из жизни. Иван Кондрашов послевоенный. Пока рос и креп, пока учился — братья и сёстры разлетелись по стране, а она была большая. Он же после учёбы в институте возвратился в свой колхоз, недолго похолостяковал и женился, а колхоз ему как молодому специалисту построил дом, и подгадал прямо к свадьбе. «Живите, работайте, растите детей, — напутствовала тогда вручавшая ему с Маруськой ключи от дома первый секретарь райкома партии Коновалова. — Живите счастливо. И что происходит сегодня — для вас символично: дом, ключи от которого вам вручаю, построен на усадьбе вашего деда, участника революционных событий в Петрограде. Будьте достойны памяти своих предков».

Такая вот она, правда жизни этой деревни с единственной улицей, дорога от которой сразу за крайними домами убегает в полевые просторы. А если ехать с поля, то всё мимо и мимо домов, в которых живут простые люди со своими большими и малыми заботами; и замечают они, что забот у всех с каждым годом становится больше и больше.

6

«Уазик» шуршит колёсами по асфальту; дома слева и справа; возле своего Кондрашов не остановился — проехал дальше, до отцовского. Столько он передумал сегодня вся-

кого, что даже припомнить не может ещё такого в своей жизни. И неудобно ему стало перед самим собой: каждый день нет-нет да и вспомнит родителей, а вот заглянуть к ним хотя бы на минуту, завезти буханку хлеба — не получается. Это же его корень: четверть века не живёт Кондрашов вместе с родителями, а ощущение: словно не расстался с этим домом. Вот и в ту заснеженную ночь он привёз сюда Наталью не случайно: по всему глубоко в подсознании думалось, что это самое надёжное место, где их могут понять и простить.

Сколько помнил Кондрашов, у матери всегда было полное, красивое лицо. С годами морщины схватили кожу лёгким морозцем у глаз и на лбу, но красоты своей оно не утратило, наоборот, вместе с редкой сединой они добавили матери той прелести, которой нет у женщин молодых и красивых, ещё не вошедших в бабью пору. В народе эту пору определяли по-разному, если говорить точнее, с индивидуальным подходом: на женщину смотрели как на райский плод, который ещё дозревает и срывать который раньше времени большой грех. И всегда учитывалось множество показателей: сколько у неё детишек по лавкам, насколько успешно справляется со своими делами по хозяйству, как смотрится со стороны, какой у неё характер, как ведёт себя в общении с людьми, и ещё, и ещё...

Седина и морщины украшением тоже не для каждой женщины, а вот матери они были даны природой именно для этого: даже в простенькой кофте с короткими рукавами, с белыми или розовыми цветочками по сиреневому полю, или ещё какого-то цвета, она выглядела много моложе своих лет. А уж если разодеть её в наряды светские — красотой своей затмит всех Мисс, которых наловчились показывать по телевизору. Но для матери любимый наряд — синий жакет и юбка такого же цвета; она доставала их только по великим праздникам, коими считала приглашение на свадьбу или на именины, поездку в гости, допустим, к родне на престольный праздник, хотя по гостям была не любитель. Костюм придавал её фигуре стройность и строгость, но с годами мать надевала его всё реже и реже: поездки по гостям давно были забыты, а дома

такой наряд ни к чему, обходилась самым простым – теми же цветастыми кофтами и шерстяными тёмными юбками. И сегодня мать в таком же наряде, сидела у окна и штопала карман в отцовской душегрейке. Отец тут же, за столом; на столе рамки, вощина, проволока, в руках шило – готовил рамки для наващивания. Взгляд у матери строгий:

— Явился – не запылится, – заговорила она, лишь только Иван переступил порог. — Смотрю в окно: приехал; слава богу, живой.

— Какая пыль, дождь всё время, – попытался отшутиться он. — К тому же, от дождей не умирают.

— Я думала, что ты поумнел с годами; вижу: нет. Так вот знай: умирают от всего, что есть в природе и окружает человека; и от дождя тоже, с громом, конечно; от мороза, от машин, а уж о человеке и говорить нечего – только и слышишь: убили, убили, убили, – потом подумала чуть и добавила с какой-то грустью: — Ещё есть у человека страх, тоска – от них, Вань, тоже умирают. Слава богу, что мы с дедом не умерли: пропал и всё тут. А народ всякое городит за него.

— Шурка, ты народ меньше слушай, – перебил её отец; и уже к Ивану: — А то пойдёт в магазин – и полны уши всякого.

Отец редко называл её по имени; в молодые годы при народе всё больше бабой: «Моя баба не такая...» или «Баба вчера протяпала картошку...», или ещё что-то в этом роде. А когда сам почувствовал, что постарел, стал называть и её соответственно этому возрасту: бабушкой – если в доме мир и согласие, но если между ними нелады, что бывало нередко, – старухой. «Старух, подай...», «Старух, принеси...», «Старух, налей...» — эти фразы были постоянными в разговоре между ними, но в любом случае начинали и понимались они одинаково: «Шурка, подай...», «Шурка, принеси...», «Шурка, налей...». Очевидно, отцу было удобным однажды так её назвать, а потом привык; и, самое главное, — мать подавала, приносила, наливала, и никогда не возражала, чтобы её так величали, поскольку полагала: пусть даже горшком назовут, но только в печку не ставят.

— А ты сиди и не встревай, — осадила она отца. — Заступник нашёлся.

— Старуха, я справедливый, — не сдавался отец.

— А я что, от лукавого говорю?

Иван с далёких лет всегда готов к такому разговору с матерью, потому что именно так всегда и происходит: сначала её упрёки — не важно, за что, и всё с обидой на судьбу; потом пойдут наставления на правильную жизнь, вслед за которыми приходят уже другие слова, какие-то жалостливые, словно в глубине материнской души хрупким ростком робко просится на свет простое человеческое желание: мол, пожалейте меня. Вот и на этот раз как по заготовленному сценарию: сначала отругала, что дорогу к родителям забыл; забыл совсем! Конечно, для них больнее всего, что сын по сто раз на дню всё мимо да мимо; и это они с Маруськой по себе знают: точно так думают и разговаривают со своими детьми, если от них долгое время ни слуху и духу.

Отец посуровей рассуждает и намного практичнее:

— Ты, старух, особо не убивайся, он не ребёнок; пропал, — значит, в делах закопался и ему некогда, времени не хватает. Я знаю, что человек от этого не портится. Да и вообще, судить по жизни, дети скорее о родителях вспоминают при большой беде.

Мать поперёк:

— Это как же понимать твои слова? Выходит, мы сидим и ждём беду? У них или у нас?

— Свила верёвку — не разовьёшь, — усмехнулся отец.

Иван ему в поддержку:

— Мать, никто не сидит и не ждёт. Хватит выдумывать. Отец сказал правильно: дел у меня — не разгребёшь лопатой за день, даже ночь прихватываю.

Материнский совет не задержался:

— А ты поменьше на посёлок заглядывай, тогда будешь успевать и без лопаты.

У Ивана мысль как молния: да, мать определённо что-то знает; не всё, конечно, больше догадывается, но старого воробья на мякине не проведёшь. И её тонкий намёк на их взаимоотношения с Натальей решил пропустить мимо ушей.

— Я и к вам по делам; такое время наступило, что раньше не мог даже представить себе этого.

— Дожили: к матери с отцом только по делам, а вот чтобы по-простому поведать, как сын, уже не способен, выходит. По телевизору посмотришь — по всей стране такая жизнь неуютная: родителей побросали, что ещё хуже — в дома престарелых сплавили, как детей беспризорных.

Отец прокалывает шилом боковые планки рамки, потом продёргивает через проколы проволоку, натягивает её, — как он всегда говорит, струнит рамку; усмешка с лица не сходит:

— Старух, ну приедет он к тебе по-сыновьи, и что? Сядет с тобой, и будете по-бабьи языки чесать?

— Почему со мной, — не сдавалась мать, — и с тобой поговорил бы, помог бы тебе на пасеке. Ты и сам, — кто придёт к тебе, — готов с ним целый день пролялякать, особо, если в горло зальёшь.

— Старух, он же тебе русским языком сказал: некогда ему. Это не советское время, когда всё по планам делалось: тебе столько-то, от тебя столько; поди сведи концы с концами, если в стране анархия, каждый плюёт на законы и делает, что хочет и не хочет.

— Много ты понимаешь, — в который раз перебивает его мать; в словах ирония. — С пчёлами никак не сладишь, а ещё за государство берёшься говорить. Вань, это он со мной такой умный, всё «старух» да «старух», а с пасекой никак не сладит. Вон опять...

— Всё перевернула, сатана, — вспыхнул отец. — Что ни сделаю — всё не так, не по неё. Как не слажу? Мёду накачали, продали уже; я за ценой не гонюсь, да и качаю его зрелый, когда все рамки запечатаны. А что нозематоз — вылечу; весной-то три семьи погибли — восстановил; что делать — бывает хуже. Вот и думаю: это не баба, не человек, а приют тёмных сил каких-то; и всё на меня, на меня...

Мать хочет что-то возразить, вид у неё взъерошенный; и в то же время откуда-то изнутри уже проступала в её словах и жестах, на полном её лице, как на незамутнённой водной глади, мелкая рябь смирения, жалости ко всему, что вокруг, и в первую очередь к себе самой. По всему видно:

мать виноватится в душе, а вот признаться ей в этом — выше небесных сил. Иван с отцом уже почувствовали перемену в её настроении, но вида не подают.

— Ма, я, правда, по делу к вам заехал, — рассмеялся Иван. — А так, может, и не знаю, когда ещё зарулил бы. Целый день как заводной, а дождь работы не убавил, наоборот, загрузил по самое некуда. Меня дома тоже не видят; вот Серёжка приехал, и хотя бы пообщаться с ним, порасспросить о его жизни — нет, не удаётся.

— Вот, вот, я об этом и говорю, — в её словах уже обида. — Сам всё мимо да мимо; внук вырос без нас, и не видели — когда и как. Да он родства не будет знать! Привёз, дома спрятал: сиди. Так?

— Он дома не сидит, уже с утра на посёлок убегает, к Лариске Савельевой.

От матери снова упреки:

— Дожили: сам истрепался, бегаячи на посёлок, и сын с пути сбился. Я тебе не раз говорила, чтобы свои походушки туда забыл, от людей стыдно...

— Старух, — перебил её гневную речь отец, — он пришёл по делу, а ты его... то меня, то теперь за него взялась.

— Все в тебя пошли, природь кобелиная, — сделала вывод мать. — Маруська узнает — плюнет на вас, будете жить одни. Да я сама ей всё расскажу.

— Во-во, разбей семью.

— Ма, давай об этом больше не будем. Я же по делу, говорю: мне деньги нужны — тысяч двадцать.

— Жениться надумал?

— Мать, я серьёзно. Денег на счете и в кассе нет, горячее покупать не на что; в полную силу не молотится — комбайны простаивают.

— Продай зерно, — посоветовал отец. — У тебя же ещё прошлогоднее лежит по складам.

— Да, склады с зерном, но в стране такой бардак устроили с этим рынком, что у российского крестьянина его не покупают по достойной цене, а пользуется спросом завезённое из-за границы, которое якобы дешевле. Словом, перекупщики не берут, сбивают цены, а государству мы с самого начала не нужны были, так что от прошлогоднего урожая

добрая половина лежит невостребованной. Новый урожай надо убирать, а денег на горячее и запчасти не хватает, да и какая судьба его ожидает — никто не знает.

— Продавай своим людям по сходной цене, пусть разводят скотину.

— У большинства денег нет, зарплату мы людям выплачиваем не полностью. Деньги сегодня только у пенсионеров: какая ни есть пенсия, а стали приносить вовремя. Поговорил с агрономом, и решили в долг просить; вот и езжу по деревне, уговариваю стариков.

Мать молчала; отец перестал ковырять шилом, закурил, пуская дым в противоположную от матери сторону:

— А когда рассчитаешься?

— Сразу верну, как будут в кассе свободные деньги; может, через неделю, может, через месяц они должны появиться — молоко-то продаём, а ещё коров выбраковывать надо. Могу и зерном долг вернуть: я уже дал команду выписывать людям — и своим, и на сторону.

— Зерно нам нужно, — согласился отец, — птицу кормить надо.

Накал страстей в разговоре спал; они ещё некоторое время посидели, обсуждая колхозные дела, удивляясь порядкам в стране, и только потом появились у матери в руках завёрнутые в носовой платок купюры.

— Вот на тонну зерна я уже приготовила, — сказала она, протягивая Ивану деньги. — Мешки возьмёшь — дед их приготовил; привезёшь пшеницы, но, смотри, не сырой чтобы: нам её сушить негде, да и заботы лишние не нужны.

— Эти заботы, старух, всем не нужны, а особенно тем, кто, как и мы, свой век доживает.

Кондрашов уходил из отцовского дома без чувства удовлетворения: да, родители не отказали, как не отказывают и другие, но до чего же не просто при этом объяснять людям, что он как председатель колхоза бессилён решать, казалось бы, такие простые, но жизненно важные вопросы. Ведь они в прошлом сполна отработали своё, тем самым обеспечили свою старость, следовательно, не они должны помогать колхозу, а колхоз — им.

Солнце к обеду: высоко-высоко и в стороне от деревни, над речкой; дома на солнцепёке исходят жаром, деревья как в полуобморочном состоянии, не шелохнутся. Старики попрятались от жары под крыши да в тенёк, ребятня в речке; петухи, бесновато перекликаясь, купают пеструшек в придорожной пыли. Повыше домов, сразу за огородами, к полю ближе, возвышается двухэтажное здание правления колхоза, именуемое в народе конторой, где в просторных светлых кабинетах разместились бухгалтерия и отраслевые специалисты и где жизнь не замирает ни днём, ни ночью. С раннего утра здесь суета сует, особенно в уборочную: хлопают двери кабинетов, наперебой телефонные звонки и голоса снующих туда-сюда людей; сливаясь вместе, они с гулом бьются о потолок, рвутся через открытые окна и форточки наружу. Ночью на двухэтажку сваливается тишина, и бодрствует только ночной сторож Червяков, по прозвищу Мишака.

Вместе с конторой утром оживает и машинный двор, который рядом: слышны крики, смех и шутки механизаторов, кое-как успевших отдохнуть за короткую летнюю ночь, грохот железа; из кузницы тяжёлые удары молота, подголоском — тонким-тонким, с переливами — молоток по наковальне; и над всем этим — один за другим, как наперегонки, резкие, надрывные, словно задыхающиеся от натуги и дыма, выхлопы запускаемых моторов. Но всё это до определённого часа: отбулькает, отпенится в горловинах топливных баков солярка, промаслены будут подшипники и цепи со звёздочками — и вся эта железная армада на стальных траках и резиновых колёсах отпылит на все четыре стороны, скроется с человеческих глаз за берёзовыми посадками, куда простираются колхозные поля. Правда, это когда-то они были колхозными; теперь у них не колхоз, а КСП — коллективное сельскохозяйственное предприятие, и людей теперь колхозниками не называют: на предприятиях только работники.

Техника по полям, но особой тишины не наступает. Кондрашову со второго этажа, из окна своего кабинета, хорошо

просматривается машинный двор, чуть дальше — механизированный ток, где не менее шумно, а вдобавок и много пыли от работающих сортировальных машин. Гудят электромоторы, шумят в бесконечном круговороте триера и шнеки, отвеянное и просеянное зерно золотым ручьём стекает в бункера и склады, громоздвжающиеся рядом; а земляная пыль, недозревшие и перезревшие семена сорняков, полова плотной серой массой вырываются из трубы, что тупорыло повисла через проём в шиферной стене мехтока, и устилают землю. Сначала из них вырастает небольшой ворошок, который час от часу прирастает; затем счёт идёт на дни, и вот уже он поднимается до самой трубы, по которой вентиляторы гонят отходы наружу. И тогда, чтобы трубу не забило, Ерёмин Коля подгоняет трактор с бульдозерной навеской и отгребает всю эту легковесную массу подалее от стены.

Сколько будет зерна в этом году, Кондрашов уже прикинул; но как оно пойдёт в реализацию, где они, эти купцы, которые приплывут на его удачу, и когда приплывут, — никто не знал, хотя договоры на поставку озимой пшеницы и пивоваренного ячменя он заключил ещё в январе; а как получится на самом деле — это уже вопрос времени.

С началом уборочной страды свой рабочий день он начинал в кабинете, но оставался там недолго: торопился на машинный двор, где в небольшой уютной комнатушке пункта технического обслуживания, служившей людям диспетчерской, сторожкой, красным уголком и ещё чем-то вроде столовой, а в народе называвшейся дежуркой, вместе с отраслевыми специалистами решал все оперативные вопросы. И сегодняшнее утро практически ничем не отличалось: те же ранние звонки в соседние хозяйства о новостях и запчастях, потом стал просматривать лежавшую на столе оперативку вчерашнего дня. Но все бумаги отложил в сторону — в кабинет шумной компанией вошли работники животноводства, кто был причастен к делам отрасли и которых он пригласил на раннее утро для серьёзного разговора; все — дипломированные специалисты с высшим и средним образованием. Повод был: два дня молоко отправлялось на маслозавод с повышенной кислотностью

и с жирностью ниже базисной — так показали взятые заводской лабораторией на анализ пробы, и хозяйство потеряло на этом большие деньги.

Кабинет просторный, стульев, расставленных вдоль стен, хватило для всех. Кондрашов прояснил суть вопроса; главный экономист доложила, что за последние два дня с центральной фермы первосортного молока на маслозавод не поступило, одну партию даже отказались принимать из-за повышенной кислотности, и как результат — хозяйству нанесён большой ущерб. На второй ферме таких проблем не возникало, а руководил ею Заболотский — человек опытный, практичный, с мужицкой хитрецей, проявляющейся в самых разных ситуациях. Ещё при Николае Максимыче он работал главным зоотехником, но был понижен в должности, как считали многие, совсем незаслуженно. Николай Максимыч понял это и сам, позднее предлагал ему эту должность снова, но Заболотский отказался, объяснив при этом причину своего отказа примерно так: ему и тут, то есть на ферме, совсем неплохо. А случай произошёл комический.

На ферме ежедневные надои молока повысились, а при доставке его на маслозавод в приёмо-сдаточной квитанции стала появляться разница в весе не в пользу хозяйства, причём на выпойку телят норма не увеличивалась. Сам заведующий фермой как три дня ушёл в отпуск, и его обязанности исполняла старшая доярка, которая, не мудрствуя лукаво, стала грешить на водителя молоковозки: мол, это он загоняет молоко «налево». Заболотский, узнав об этом, не поверил:

— Не берите грех на душу, Сергеич на это не способен, не позволит.

Да и сам водитель молоковозки Кузнецов утверждал, что ни налево, ни направо молоко не загонял. Заболотский же пришёл на ферму, с водителем потихому поговорил, и уже на другой день вопрос был снят с повестки дня. Заведующий сразу увидел, что приличные бидоны, в которые доярки сливали молоко и в которых оно отправлялось с фермы, заменены на старые, с крупными вмятинами на боках, очевидно, с другой фермы. А если вмятины,

и большие,— следовательно, будет уменьшен и объём посуды. Доярки сливали надоенное молоко, каждая в свои бидоны и без замера, по привычке, так сказать; а старшая доярка, исполняющая обязанности заведующего, также по привычке записывала количество слитого молока по их заводской маркировке: сорок да сорок, а не тридцать девять или тридцать восемь. Заболотский на эту тему больше ни с кем не стал разговаривать: также по-тихому взял молоток и гвоздь да и продырявил самые-самые, на которые нельзя было смотреть без слёз, это чтобы их в дальнейшем не использовали при отправке молока. На другой день снова шум, и снова на Кузнецова стали вешать это злодеяние, но виновник сам признался в его совершении:

— Спору нет, порча общественного имущества налицо, но мера эта вынужденная, и во благо.

Николай Максимыч тогда с ним не согласился: можно было сделать по-другому. И Кондрашов, кстати, тоже: жалко испорченные бидоны — их можно было использовать на другие цели, к примеру, сливать в них обрат для телят. А как быть тут?

Каждый, как отвечающий за определённый участок на фермах, доложил об истинном положении дел, назвал причины случившегося. В кабинете становилось то шумно, то было слышно, как билась о стекло залетевшая через форточку пчела. Причины срыва лежали на поверхности; и самое удивительное: главный зоотехник Карпушкин — опытный специалист, что от чего зависит — знает хорошо, но по всему пустил на самотёк весь этот процесс. И пошло-поехало: коров доярки не выдаивали, а последние струи молока самые жирные; молоко вовремя не охлаждали и плохо промывали посуду; и ещё можно предположить, что ночью кто-то, не хуже кота, сметанку-то и слизывал. Словом, нужна контрольная дойка и постоянный пригляд за людьми.

— В работе, в целом, прокол, и вина здесь каждого из вас, — сделал однозначный вывод Кондрашов. — Два дня Суетова не как хозяин на ферме, а как гость; лаборантка на больничном, и её не удосужились подменить; сторожа то водку пьют, то спят. Но меня удивляет в этих вопросах

позиция главного зоотехника, и прежде всего как руководителя отрасли и как дипломированного специалиста, и не только в этом случае. Будем разбираться, для чего пригласим специалистов райсельхозуправления. А пока сделаем так: в течение трёх дней вместе с экономической службой хозяйства провести на фермах контрольные дойки и хронометраж, затем отрегулировать расценки по оплате труда, чтобы они в большей степени зависели от качества продукции; и по результатам проделанной работы определить степень вины каждого, кто завязан в этой цепочке, которая начинается от коровы и заканчивается в лаборатории маслозавода.

Этот разговор ложился неприятным осадком на душе не только у тех, кто потел и ёрзал на стульях вдоль стены, но и у самого Кондрашова: что делать, если говорить колючие слова и принимать непопулярные решения заставляют обстоятельства, о чём он и сказал открытым текстом. Поймут ли его правильно? Возможно, да. Ведь в кассе денег нуль, как и на счетах, а они нужны на горючее каждый день. Что-то по деревне он собрал, и вчера к вечеру бензовоз солярки слили в цистерну на машинном дворе, так что на ближайшие два дня его в достатке. За это время надо будет создать задел для дальнейшей работы, а вот как, за счёт чего — его ума придумать не хватало. Входил в моду бартер, но что они могли предложить на обмен, кроме зерна, молока и мяса? Ровным счётом: ни-че-го! Сахарная свёкла будет только осенью, но и под неё кредиты уже брали; и, как ему объяснили популярным народным языком, больше не дадут. За молоко получают деньги сразу, даже выбирают наперёд; но всё до копейки уходит также быстро, как привыкли говорить, с колёс, то есть в кассу они не поступают и даже не знают, что такое касса сельхозпредприятия.

— Единственно возможный вариант у нас — снова с шапкой по народу и предлагать покупать зерно, — с горечью признался Кондрашов. — Может, кто подскажет, где нам деньгами разжиться?

— Иван Дмитрич, а мясо, — откликнулась Любочка Суетова.

— Мясо, Любовь Ивановна, съела посевная: что могли — всё вырезали, — развёл руками Карпушкин. — Да, бычки на откорме стоят, но им ещё расти и расти.

Любочка не соглашалась:

— Иван Дмитрич, я за коров говорю; у нас стадо большое, а толку мало, только корм переводим.

— Это почему же?

— Много плохих коров: старые, больные, малоудойные; на колбасу их надо, а посыпку, что им даём, бычкам от-дать — всё больше привесы дадут.

— Под нож, говоришь? — вспыхнул Карпушкин. — А как же будем выполнять план выходного поголовья дойного стада на начало будущего года?

«Дожить бы сперва до конца этого», — подумал Кондрашов, но слова Любочки без внимания не оставил:

— Деньги нужны, и, значит, будем думать, что и как. Надо экономисту посчитать, сколько молока потеряем, если выбраковать дойных. Не промахнуться бы нам, ведь молоко — это живые деньги на каждый день.

— Ничего не потеряем: лето кончается, а вместе с ним и пора большого молока. Дальше надои упадут, потом коровы уйдут в запуск.

— Ну, хорошо, негодных коров сдали на мясокомбинат, а что взамен?

— Зачем на мясокомбинат? В соседнем районе частный колбасный цех открыли: один звонок — приедут, сами нарежут, деньги сразу.

— Дальше?

— Взамен приглядеть из первотёлок, которые попродуктивной будут.

— Взамен разнос от районной власти, что выходное поголовье сократили, — перебил её Карпушкин.

— Перекроем, — вступила в разговор техник по искусственному осеменению Верка Тамаркова, по-уличному — Веруха, — ведь отёл на фермах начнётся рано.

— Перекроешь, если всех коров покроешь, — сострил Карпушкин. — А чем оправдать сокращение поголовья дойного стада?

— Ха-ха, — рассмеялась Любочка. — Как будто не знаешь, чем. Да чем угодно: пусти их вынужденным забоем. Хотя какой здесь криминал? Ты что, деньги себе в карман кладёшь? Нет, на развитие хозяйства, значит, выгода прямая.

— Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — невесело пошутил Кондрашов. — А если серьёзно, то без выбраковки, наверно, не обойтись. Пока что ведём разговор о том, как нам выжить сегодня. В банке кредиты не дают, уже нахватили сполна; во-вторых, накопились долги по налогам и зарплате; ещё надо обновлять технику; и ещё... и ещё... А от государства никакой помощи, как будто ему не нужны ни молоко, ни мясо, ни хлеб.

— Из-за границы привезут, — с видом знатока подсказала Веруха. — К нам, ИванДмитрич, теперь тянут всё подряд, что надо и не надо: вот вам, дорогие россияне, ножки Буша — ешьте; вот вам пепси — запивайте. Своё пусть пропадает: как же, дорогое! А на том, что оттуда притянут, денежки хоро-о-шие гребут.

Слово «хорошие» она выговорила протяжно, каким-то грубым, чужим для неё голосом, да ещё с брезгливой гримасой на лице, что все сидящие в кабинете рассмеялись.

— Всё верно, Вера, — согласился с ней Кондрашов, — жизнь понимаешь правильно, во всяком случае, вещи называешь своими именами. А по-другому нельзя будет: это газеты, по радио и телевизору выдают желаемое за действительное, а нам тут видней, какая жизнь на самом деле строится.... Да что я говорю, — спохватился Кондрашов, — пока никакой стройки: только всё построенное при советской власти разваливают, а новостроек нет, одни обещания и прогнозы, которыми наши сегодняшние проблемы не решить.

Всем, кто в это раннее летнее утро стал прямым участником их разговора, было о чём подумать: они определили линию жизни пока на ближайшую перспективу, что позволяло хозяйству прожить ещё один год не в меру сложного и трудного для них периода развала сельского хозяйства и страны в целом. У Кондрашова этот разговор оставил неприятный осадок на душе; и хотя все последние дни ка-

кие-то неувязки в работе он переживал с той суровой лёгкостью, когда человек деспотически относится к себе и не особо жалуется других, от кого в той или иной мере зависит успех дела, но сегодня почувствовал, что внутреннее состояние его души уже на пределе. Казалось бы, ну, что ещё выдумывать, если та же технология производства молока известна каждому специалисту! Да что там специалисту: каждая хозяйка, имеющая корову, но не имеющая соответствующего образования, уяснила для себя извечные правила, как корову кормить, поить, доить, и не след отходить от них — в противном случае получится больше вреда. Такое в прошлом на фермах бывало, но на фоне финансовой стабильности переносилось безболезненно, а сейчас всё складывалось как по закону подлости: денег-то и так нет и, кроме как с молока, взять их негде.

В мыслях он снова возвратился к сложностям уборки урожая, и пока шёл к машинному двору, всего-то за несколько минут, загрузил себя делами хлебными сполна. Они напоминали о себе отсутствием денег, а сама природа напоминала о них запахами второй половины лета, витающими в воздухе и днём, и в ночные часы: знойным простором полей, приправленным запахом полыни, а ещё принесёнными с огородов запахами укропа и мяты; запахами щей из свежей капусты, малосольных огурцов, которые нёс горячий ветер вдоль деревенской улицы, просвечивающей чистое небо серыми шиферными крышами; и как вершина всего — особой людской суетой на машинном дворе, запахом свежей соломы у комбайнов, таким же с детства привычным запахом зерна, стекающего в золотой ворох на площадку под открытым небом. Это зерно уже сегодня люди будут насыпать в мешки и развезить по домам: они с благоговением ожидают этого дня, потому что именно в этот день создают запасы для своей скотины на целый год, до следующей новины.

В дежурке дверь ходуном — скрипучая, выкрашенная по весне, но уже хорошо затёртая. На подходе различил за ней горячий спор; слышен голос главного агронома — спокойный, уверенный:

— Ты, Мирон, лукавить со мной брось, я тебе не мальчик.

Занарядил тебя — делай всё по порядку. Нечего спать на загонке.

Мироном по-деревенски зовут молодого механизатора Димку Сурова. Вот и его голос прорезался, как у молодого петушка:

— Я не спал, просто стоял.

— Чего стоял, не косил? Дождя ожидал?

— Солярка кончилась.

— Тебя два дня назад видели с канистрой на посёлке. Ты что там делал?

— Солярку искал.

— А может, слил её из комбайна и ходил туда продавать за бутылку?

— Михал Савелич, правду говорю: искал...

— Ходил искать солярку по посёлку. Кто её там потерял или поставил для тебя? Там же одни старушки живут. Всё равно проеду и проясню. Подтвердится — за солярку удержим в тройном размере, да за простой жатки экономист подсчитает, вот и влетит тебе солярка в копейчку, словом, бесплатно поработаешь. Солярки и так нет, а он вытворяет.

Дверь — скрип, и Кондрашов в дежурке:

— Это правда, что сливал солярку из комбайна?

Михал Савелич кивнул головой:

— Там же одни пенсионеры, на посёлке-то, ну вот он и по бабкам: мол, купите за бутылку. Они отбиваться от него, ведь на что она им. А он уговаривает: плитку разжигать будете.

— Ты что делаешь! — взорвался Кондрашов. — Я по деревне клянчу деньги на солярку, а он следом за мной с канистрой.

Мирон молчит: понял, что позавчерашние его визиты с поля на посёлок уже известны, и отнекивается уже не так уверенно:

— Не сливал я солярку; а с канистрой ходил — это я за водой в колодец.

Он молча взял со стола путевой лист, и дверь жалостливо проскрипела ему вслед, словно пожалела этого человека в замасленной спецовке, небритого и неумытого, да к тому же попавшего в большую беду.

У Кондрашова внутри всё кипело:

— Очевидно, надо срочно экономисту подсчитать выработку и затраты по горючему на каждого механизатора, и по шофёрам тоже; если есть перерасход — ведомость на удержание из зарплаты, и конца года не ждать.

Иван Дмитрич, — усмехнулся Лылов, — мы им и так за два месяца уже задолжали. Как они ещё соглашаются работать?..

— А ты что предлагаешь? — оборвал его Кондрашов. — Открыли частную лавочку! От нужды на хлеб менял, на сало? Нет, конечно, на выпивку.

— Я пока размышляю и пока не знаю, что предложить. Думаю, будет правильно, если вовремяотреагируем; иначе всё разворуют на безденежье и попропят.

Кондрашов после его слов невесело подумал, что финансовую систему хозяйства всё усерднее подтачивает тот самый червячок, который с древних лет поселился внутри воровитого российского мужика и медленно, но верно творит своё неблагоприятное дело, проще говоря, заставляет его приворовывать. Запомнился разговор на эту тему с отцом, а мнением его он дорожил всегда.

— Сколько живёт человек, столько и ворует, — говорил он, — но при этом не каждый способен на такое. В нашей деревне три человека по природе воровитые настолько, что хоть медаль им вешай за это, если бы такая имелась: с говном не расстанутся, всё подряд тащат. В Малоархангельском районе была деревня, где сплошное ворьё — от мала до велика: сосед у соседа ночью забор украдёт, а утром скажет, что забор этот вместе со свояком десять лет назад поставили; детишки никаких других игр не знали, кроме как в воров и разбойников. Особо при барине научились воровать, ведь это целая наука в деревенской жизни: всё кругом барское, а мужику на жизнь не хватает, вот и воровали. Бывало, возят мужики с поля снопы на телегах; барин ходит, смотрит, как работают и чтобы не украли, а всё равно они умудрялись, на глазах у него. Укладывает мужик снопы на возу, старается, притаптывает, и барин доволен: мол, мужик притаптывает, чтобы побольше воз получился и дорогой не завалился. На самом деле картина

другая: мужик на возу потоптался, и зерно осыпалось на дно телеги; снопы разгрузили — зерно осталось в телеге, так что от работы на барина он уже не в убытке. А что было ему делать, если в доме нужда завелась.

— Но всё это в прошлом, там, а у нас сегодня другая жизнь. — возразил тогда Иван.

— Да, другая, но привычка, как червоточина, осталась. И даже нужды в еде не будет, он всё равно пойдёт воровать, с расчетом, что украденное когда-то пригодится.

Отец убеждал на конкретных примерах из деревенской жизни, и по стране прошёл:

— Губернаторы, их заместители, министры миллионами воруют у государства, а значит, у народа, из нашего кармана тянут. Не сажаяют, — значит, президент им потакает, чтобы поддерживали его. Тут теперь только Сталин нужен...

— Иван Дмитрич, — прервал ход его мыслей Лылов, — я перед вашим приходом на эту тему уже переговорил. Что ходил по посёлку с соляркой — даже не сомневайтесь. Мы уже сегодня вывесим на двери решение: удерживать за перерасход горючего в двойном размере; если назовём по-другому, кражей, тогда надо будет его судить, а жалко.

Кондрашов согласился: он всё-таки не был сторонником деспотических мер по отношению к людям; и ещё подумал: кто чем играет, тот тем и зашибается. Вот Мирон, тот самый Димка Суров, пропёрся на посёлок с канистрой солярки, а он, Кондрашов, ныряет туда же с другим; и с какой стороны ни подойди — как сказала бы мать, обоих надо судить судом нещадным: не по-божески поступает каждый, забыли заповеди. Или не знали? И совсем нехорошо делалось у Кондрашова на душе; и впервые за летние дни не захотелось ему сидеть в этом помещении с затёртыми стенами и единственным пыльным окном, сдерживающим жизнерадостные потоки синевы и солнца, уже успевшем до его прихода пропахнуть сигаретным дымом и бензино-солярной смесью.

Главному агроному как отраслевому специалисту, и как человеку тоже, Кондрашов доверял полностью: Лылов был

настоящим хозяином агрономической службы, всё делал обоснованно, без лести и хитрости, оставаясь всегда открытым в решении любых вопросов. Накоротке уяснив для себя его планы на сегодняшний день, сверив их со своими, Кондрашов решил посмотреть, что и как делается на току и в складах.

— Идём вместе, — встал из-за стола Лылов. — Я здесь практически закончил.

Они свернули за мастерские — в них спозаранку работал токарный станок; прошли мимо кузницы, из которой тянуло дымком, но наковальня ещё помалкивала, и, миновав высокий забор из прочного стального прута, сразу же окунулись в ровный шум работающих зерноочистительных машин. Механизированный зерноток в шесть завальных ям служил верой и правдой уже много лет; давно прошла пора машины обновить, но безденежье заставляло и эту работу откладывать на потом, до лучших времён, и слесаря-умельцы каждый раз продляли и продляли им сроки жизни. Так что автомашины с зерном от комбайнов под разгрузкой у завальных ям не простаивали: заскочит такая на эстакаду — и уже через минуту её кабина круто вверх, под самую шиферную крышу, а из кузова через открытый задний борт, как река в половодье, с глухим шумом рвётся золотой поток зерна; ещё минута — и грузовик уже громыкает по железу на весах. В этот утренний час на весовой ещё затишье, не снуют запыленные грузовики, но рабочий ритм зернотока начинал прослушиваться и просматриваться в деталях, знакомых каждому: распаивались ворота складских помещений, несколько человек несли весы к вороху зерна, отсыпанного для раздачи людям, где самые нетерпеливые уже ожидали с мешкотарой. Ещё с вечера туда принесли из дежурки стол, за которым предстояло сидеть с ведомостями кладовщице Насте, полной, с виду флегматичной женщине пенсионных лет.

Немногочисленная бригада слесарей несуетливо делала своё нехитрое дело: один заменял сита на неработающей сортировальной машине; другой — это был Кулачок — по-хозяйски хлопотал возле тех, что были запущены и будили своим шумом тишину; третий подливал в гидро-

подъёмники масло. Каждый выполнял свою работу без какой-либо спешки, без поучений со стороны и лишних слов, что говорило о полном взаимопонимании между ними. Ещё один, четвёртый из слесарей, сидел где-то наверху, возле бункера, и трудно было определить, что он там делал; но по его поведению, как он изо всех сил стучал молотком, часто и довольно громко матерясь, Кондрашов уяснил: это был Севалкин, слесарь с молочно-товарной фермы, которого на период уборки урожая перевели на зерноток и у которого в этот час что-то не получалось.

— Севалкин там? — уточнил Кондрашов у Кулачка.

— Степан старается, — ухмыльнулся тот. — Видать, шнек заклинило, и никак.

— Что ж он так ругается? На дороге слышно.

— А у него всегда так: три слова скажет, и два из них обязательно матом.

— Плохо.

— Что плохо? — снова ухмыльнулся Кулачок. — Плохо ругается? Наоборот — хорошо.

— Тоже мне шутник, — не удержался от улыбки Кондрашов. — Ты лучше мне скажи, как тут вам работается?

— Вроде ничего. Вон на той сортировке агроном приказал сита заменить и ветерку добавить, чтобы зерно почище шло.

Громыхнув каблуками по железному настилу, сверху свалился Севалкин.

— Ты что же так себя ведёшь, неправильно? — сердито подступил к нему Кондрашов. — Сплошной мат исходит от тебя.

— Это я для связки слов, — невозмутимо ответил Севалкин.

— Севалкин, связывать нечего: слов-то нет, ни одного. Я вот приглашу участкового, и за цензурцину в общественных местах он тебе и приварит.

— А что, он один, что ли, такой? — заступился за него Кулачок.

— С него начнём, а тобой кончим.

— Промахнётесь: даже когда выпью — не услышите от меня.

— Иван Дмитрич, за что ни возьми — всё Степан да Степан, всё я да я, — тоном обиженного человека заговорил Севалкин. — На ферме — я виноват, на току — тоже. Каким-то козлом отпущения служу.

— Я только пришёл и уже успел послушаться от тебя, ни от кого больше.

— Ну, хорошо, пойдём, так и быть, покажу.

— Куда ты меня зовёшь?

— В кузню.

— В кузню, — с иронией протянул Кондрашов. — Сам ты кузня, а там, Севалкин, кузница.

Ему стало интересно, что хочет показать слесарь. Они пролезли через проём в заборе и остановились рядом с открытой дверью кузницы: оттуда мат-перемат, гы-гы да га-га. Заметили Кондрашова — обороты сразу сбавили.

— А вы, Иван Дмитрич, говорите, что я здорово ругаюсь, — с укором сказал Севалкин. — Это они здорово, а я — так себе.

Кондрашов молча смотрел на это раннее сборище людей, у которых, по его определению, с утра было хорошее настроение; а покурить, на их языке — расслабиться, причина была: на наковальне стояла уже опустошённая поллитровая бутылка и стакан, а на клочке газеты лежали корка хлеба, половинка свежего огурца и щепотки две соли.

— Это что у вас за производственное совещание? — нахмурившись, спросил он.

— Иван Дмитрич, вы меня поругайте, — без тени смущения отозвался на его вопрос кузнец Богдашкин, — за то, что я тут пригрел их на правах хозяина. А больше ругать не за что. Бутылка? Она стоит со вчерашнего дня: магарыч, так сказать, заработал вчера — гвоздодёр свояку сделал, вот он и расщедрился для меня. А так, почему бы им здесь не посидеть, и покурить, тем более — дым в кузнице всегда. Но, — тут он сделал паузу и пальцем, как учитель у классной доски, обратил внимание всех на наковальню, — это вчерашнее, причём после работы.

Что говорил кузнец — было похоже на правду, и Кондрашов понял, что ошибся в своих предположениях. Севалкин остался при своём мнении:

— Вы. Иван Дмитрич, сюда почаще заглядывайте, — и он засмеялся. — У него бутылки на наковальне с утра до вечера и каждый день; пока не зазвенят — никакой работы.

— Крючок, ты сам не просыхаешь каждый день, — нахмурился Богдашкин.

— Им на току проще, — вступил в разговор токарь Матюхин, — помогу человеку насыпать мешок зерна — стакан, погрузил его на машину — ещё стакан.

У Севалкина рот в улыбке, до ушей:

— Такая такса; но главное — мы не в ущерб производству.

— Хватит! — оборвал его Кондрашов.

— Ему, Иван Дмитрич, не продолжишь, — подлил в огонь масла Богдашкин. — Крючки ещё и твердолобы, и кликуху этому суслику дали не случайно.

Кондрашов знал, что всю родословную Севалкиных в деревне величали Крючками, но вот у Степана Севалкина, как понял, были особые заслуги.

— Ему и по наследству она досталась, и сам себе заработал, — продолжал кузнец. — Он своего деда так и звал — Крючок. Крючок да Крючок. Тому за что дали — один Бог теперь знает, а с внуком ясность полная: однажды обиженный дед решил объяснить внуку, что он не Крючок вовсе, а дед Алёха. Внук не понял его слов, и тут же ему отвесили подзатыльник. Он своё: Крючок да Крючок. Но дед Алёха ещё тот Крючок, и озверел совсем: схватил внука за шиворот и в воду-то и погрузил, а они как раз сено возле пруда подбирали. Нашла коса на камень: тот под водой, а руку из-под воды вверх и палец указательный крючком согнул, мол, как был ты у меня Крючком, так и будешь им до самой смерти. Ну, дед Алёха ещё в большей ярости, хотел даже палец ему свернуть, да пожалел стервеца: сам обозвал его Крючком и плюнул ему в морду. Так что, Иван Дмитрич, сегодня напоминает нам деда Алёху кликуха — раз, и плешивая морда его внука — два: от того дедова плевка морда у Степана стала плешивой какой-то, пятнами да рыжиками покрыта.

В другой раз Кондрашов, может, и посмеялся бы этой весёлой истории, но только не сейчас, не в этой обстановке, и потому серьёзности не утратил.

— Всем хватит! — голос строгий, но чувствовалось, что большой бури уже не будет. — Я смотрю, вы тут по своему уставу живёте и со своими мерками. Довольно! И повторяю: ещё раз подобное увижу — будет в ущерб лично каждому. Пришли на работу — работайте, а сидеть нечего, лучше домой. И ещё: в разговоре мат на мате. Забыли, где находитесь? Забыли, как вести себя в общественных местах? Очевидно, да: забыли, распустились. И если тут так разговариваете, то и дома не лучше. Значит, дальше ехать некуда. Мне как мужику неприятно слушать, а ведь вокруг вас дети, женщины. Я на подобное глаза закрывать не стану, так что выводы делайте; а сейчас все по своим местам.

Кондрашов уходил из кузницы и слышал за спиной молчание людей, которые, в общем-то, и не особо были огорчены состоявшимся разговором, и, скорее всего, потому, что, кроме Богдашкина и Севалкина, прямого отношения к нему никто не имел. Так нередко бывает: есть повод для предметного разговора, но получается он каким-то безликим, как бы несерьёзным. «Это ещё и потому, что безнаказанно всё проходит, — подумал он. — Только погрозился, а надо бы давно закрутить гайки». Так думал, и в то же время знал, что не сможет он этого сделать по добrote своей душевной — взгреть только за плохие слова, сказанные вслух где-то среди людей.

Плохие слова — не пряник: они летят не в рот, а изо рта летят по причине бескультурия человека, не впитавшего в себя в определённых условиях необходимый словарный запас; а те, кто их слушает, они такие же — пропитанные тем же духом бескультурия; и получается у них в общении круговая порука. Только роли меняются: то одни говорят, то другие, то третьи, а все остальные в это время слушают и ничего, не краснеют.

8

Рабочий день на току входил в свои права твёрдой, размеренной походкой крестьянина, делающего своё нужное и важное дело так, чтобы плоды праведного труда его не пропали, и на протяжении целого года жило в нём чувство

удовлетворения от сопричастности ко всему вечному, делающему человека счастливым. Но только в этом ли его счастье — посеять, вырастить и убрать самое необходимое, нужное им, живущим на этой земле, и всей стране, устремившейся в чужую жизнь. Чем чужая? Да уже многим, что крепко берёт за горло, сдавливает, как тисками, перекрывающая кислород. Раньше, а «раньше» для них осталось в границах союзного государства, они знали: коли земля и всё, что на земле и под землёй, принадлежит государству, следовательно, им тоже. Теперь большую страну рвануло на части; все, кто на что способен, гребут под себя, от большого пирога снова рвут куски поувесистей. И, выходит, кто нахрапистей, тот и владеет сегодня несметными богатствами, — это новые хозяева России. И на Неручи теперь другая жизнь, но они ещё не совсем осознали время наступивших перемен. Вот она, их земля, — три с половиной тысячи гектаров пашни да ещё луга прибрежные по Неручи. Ещё вчера всё это было одним большим угольем, а сегодня говорят: надо разделить на каждого, кто живёт здесь и работает. Поделили, и получилось на каждого по семь с половиной гектаров. Ну что, мужик, вот тебе твой пай — владей. Теперь и ты настоящий хозяин: хочешь — паши, не хочешь — не паши; можешь продать, сдать в аренду. Кузнец Богдашкин рад бы пахать, да нечем: от основных средств ему задний мост от трактора достался, и другим чудачкам, как он, так же получилось. Говорят, надо им кооперироваться. Выходит, большой колхоз растащим по домам, чтобы потом снова его создавать, но уже маленький. Кому это нужно? У нас — никому; там, в столице и дальше, за бугром, — да. Простому народу, таким как Богдашкин, Лылов, Кулачок, его Маруська и Наталья, нужна работа, хорошая зарплата, чтобы можно было обеспечивать себя и детей своих с внуками всем необходимым. Всё это у них было, и деревня их, где домики в два посада и застарелые ракиты по тесным прогонам, свидетелем тому. Разные живут в ней люди, по-разному смотрят на мир, а в мечтах одинаковы. Вот и ломай голову, как жить дальше. Хотя за них уже успели подумать: ловкачи предлагают сдать им эти самые пай в аренду на сорок девять лет или продать. Богдаш-

кин, по его словам, с землёй расставаться не хочет: посажу, говорит, сад, засею травой и буду косить её для скотины. Упёрся и Кондрашов: земля ухожена, каждый человек при деле, получают зарплату — чего ещё желать крестьянину, если такой уклад жизни не создаёт людям проблем для семьи. А тиски-то всё сильнее и сильнее, дышать трудно стало. Дойдёт дело до банкротства — и проглотят с потрохами; правильнее будет сказать — доведут: как ни крути, а законы, которые принимают, по сути на это и направлены.

Но это всё в общем, а в частном — и здесь люди недалеки друг от друга: посеять и убрать — об этом не только он думает. Есть у людей ещё другая жизнь, личная, и у каждого на душе своё, сокровенное; и у Кондрашова есть своё, настолько близкое, волнительное, что временами подступают слёзы. И заплакал бы, да, видно, не ослаб он ещё сердцем, не износилось оно в радостях и невзгодах, выпавших на его долю. Потому и твёрд Кондрашов в своих решениях, не зашатался от перегруза. Устоять, пережить эти трудности надо, и, самое главное, — помогали ему в этом те же люди, которые были с ним рядом во всех его делах.

Рабочий день пришёл со сложностями, но, как иногда говорил дед Илья, не познав плохое, не оценишь и хорошее, а уж потом жизнь сама подсказывает, что надо делать. Вот и сейчас, погружённый в свои думы, Кондрашов не успел добраться до зерносклада и посмотреть, что делается там, как у весовой просигналил, очевидно, ему притормозивший знакомый «уазик»: Николай Максимыч появлялся в хозяйстве в самую плохую минуту, когда он, как медведь в берлоге, зажатый со всех сторон неразрешимыми проблемами, был бессилён вырваться из этого порочного круга.

Его приезд Кондрашова обрадовал. Бывший руководитель оставался для всех своим человеком, знал о делах в хозяйстве до мелочей, словно не расставался с ними и продолжал жить их заботами, глубоко переживая неудачи, радуясь успехам. Можно сказать, здоровье Николая Максимыча зависело от процветания этого небольшого, родного для него хозяйства. Любая людская беда для него была ещё большей: случись завтра, не станет хозяйства —

и этого умного, практичного в делах человека также не станет на земле, не перенесёт такой потери для себя.

Кондрашов пошёл ему навстречу, на лице улыбка — как-то сразу отошли на задний план невесёлые мысли.

— Рад видеть, Иван Дмитрич, очень рад, — протягивая для приветствия руку, сказал гость. — Посмотрю на сводки: дела вроде бы идут неплохо; бывает, проскочу по старой памяти по просёлкам глянуть на твои гектары. И настроение у тебя вроде бы хорошее.

— Хорошего мало, — пожимая ему руку, ответил Кондрашов.

— Ну не скажи, — не согласился Николай Максимыч. — По всем сводкам и по срокам ты выглядишь молодцом.

— Молодец среди овец.

— Что так?

— Хвалиться нечем, сейчас увидишь.

Они прошли по мехтоку, стояли возле сортировок и у завальных ям — смотрели, пересыпая с ладони на ладонь, зерно, пробовали его на зуб. Потом пошли по складам, и всё говорили, говорили, давая оценку всему, что находилось на их пути и было важно на сегодняшний день.

— И всё-таки молодцом, — утвердительно подытожил Николай Максимыч, задержавшись на несколько минут у весовой, пока весовщица заканчивала подсчитывать на молот по культурам и убранные площади. — И не печалиться надо, а радоваться.

— Какая радость, — невесело усмехнулся Кондрашов, — прошлогоднее зерно лежит, девать некуда, а из-за этого ещё одна проблема: молотим, но, как сам видел, места в складах для нового урожая нет.

— Это уже другой вопрос, и не для тебя одного. Но знай: это ещё не беда; и гораздо хуже было, если бы закрома пустыми остались. А у тебя, брат, такое богатство, с которым не пропадёшь.

Кондрашов молчал — понимал, что Николай Максимыч так реагирует на его сегодняшнюю беду совсем не случайно, значит, считает её, эту самую беду, совсем не страшной. А Николай Максимыч продолжал:

— Так вот, милый друг, у тебя выход один: ставь на откорм телят, запускай зернодробилку — и через год ты миллионер.

— Бычки и так стоят, кормим.

— Ещё поставь — у тебя два помещения пустуют.

— А где я поголовье возьму?

— Закупи у населения.

— Они сами для себя откармливают — жить-то им надо на что-то, тем более мы им зарплату задерживаем.

— Они кормят до осени или до зимы; а ты у них скупай и дальше корми. Да что я тебе объясняю, когда весь этот процесс ты сам хорошо знаешь. И к тому же: цены скачут, и пока телки у тебя на ферме постоят, они сами по себе подорожают.

— Это всё впереди, — с огорчением сказал Кондрашов, — а мне уже сейчас зерно сыпать некуда.

Николай Максимыч хитровато хмыкнул в кулак:

— Ладно, и тут помогу. Собственно, с этим я к тебе и ехал. Есть возможность поработать на бартер: ты — зерно, тебе — технику. Какую — подумай, имею в виду трактора; прикинешь, что нужнее. Вопрос по зерну надо решать уже сегодня, а до нового года получишь технику.

Кондрашов насторожился: слишком упрощённую картину нарисовал Николай Максимыч. Тот угадал по выражению лица, о чём он думает:

— Не сомневайся. Это на словах я тебе слишком просто всё представил, а так — вопрос сложный. Есть в Курске фирма, и ты будешь иметь дело с ней, они уже напрямую с Белоруссией, с Минском, — техника оттуда.

Кондрашов если и сомневался, то где-то в глубине души: Николаю Максимычу он доверял полностью.

— Это я тебе по-дружески рекомендую, а ребятки делают хорошие, не подведут. Вот телефон, — и Николай Максимыч достал из нагрудного кармана пиджака небольшую синюю визитку. — Звони, договаривайся конкретно; хотя, доложу тебе, я с ними уже договорился, за твоей спиной, так сказать.

— Получится — скажу тебе спасибо.

— Скажешь, скажешь.

И он быстрой походкой пошёл к машине, очевидно, куда-то опаздывал; но вдруг остановился, на секунду как бы задумался и, развернувшись и подойдя поближе, спросил:

— Иван Дмитрич, это к нашему давнему разговору: не надумал вступить в партию?

«Надо же, как подъехал», — подумал Кондрашов; только подумал, а вслух сказал другое:

— Не думал, некогда думать.

— Зря, время идёт, — упрекнул его Николай Максимыч. — Нам такие люди, как ты, нужны, имею в виду компартию. А то ведь потеряешься — сейчас столько партий-однодневок, что от одних названий просто жуть берёт. Я полагаю, мы ещё поговорим. Но думай.

Николай Максимыч уехал. Кондрашов ещё с минуту стоял у весовой, вертел в руках синенькую визитку, на которой золотистыми красивыми буквами светилась фамилия человека, способного сделать для него доброе дело. «Ну что ж, — подумал он, — сколько лет никому не удаётся обновить технику: не хватает денег даже на запчасти, и приходится на эти цели разукomплектовывать самые старые трактора, а тут, можно сказать, такая удача. Значит, будем делать». И, облегчённый мыслями о предстоящей бартерной сделке, он не задержался на мехтоку, а сразу направился в кабинет, чтобы звонить в Курск.

9

Лето уходило торопливо: ещё пару недель — и махнёт оно с бугра зарыжелой берёзовой веткой, словно прощаясь, шумнёт в лозьяках на узких зелёных поймах; и только духмяные запахи сена и свежей соломы, настоянные на ароматах затяжелевшего сада, будут напоминать, что оно ещё вчера хозяйничало здесь, озабочивая людей, одаривая их радостями и бедами земного бытия. Наталье в этих днях печалиться причины не было: они заставляли думать, что в судьбе её произошёл крутой поворот, что ей отплакалось-отстрадалось на многие годы вперёд. И в свои счастливые дни она как-то реже теперь вспоминала то время

неутешного горя, когда, казалось, было не продохнуть от навалившихся на неё бед и впору уйти из жизни; и ту белевую верёвку, как злую шутку, которую сыграла с ней судьба. Наталья тогда устояла, не сотворила большую глупость, и теперь у неё совсем другая жизнь, и жить хочется. Вот они, её девочки, при ней. После того, как Иван привёз Ларису, она ещё больше утвердилась: Иван её и только ей принадлежит. И надо же, до чего додумался, — обвенчаться. Значит, в делах своих не оторвался, не мыслит другой жизни, без неё.

Иногда Наталья, неожиданно для себя самой, вдруг представляла, что они живут одной семьёй: он, она, Лариса, Алёнка — такая вот дружная семья, в которой нет места плохому, мешающему их счастью. Потом как-то незаметно в её представлении семья эта увеличилась ещё на одного человека — к Ларисе зачастил Сергей.

Они с каждым днём всё больше и больше времени проводят вместе. Солнышко к обеду — и русая голова Сергея светлым солнышком скатывается к их дому. О чём они говорят, что делают — Наталья дела нет, хотя интересно бы послушать. Но она в своих заботах каждодневных, как в репьях: пораньше приготовить завтрак, ещё потопать по дому, накормить кур и поросят — она в этом году двух хрячков посадила в закуску; а уж потом на ферму быстренько — успеть, пока люди не разошлись. До обеда на ферме пусто и одиноко. Дойное стадо на летнем пастбище, в дальней пойме Неручи, где круглые сутки для коров травяное раздолье; туда же переправили доильную установку. Телят, которые ночуют на ферме, утром попят и угоняют вдоль просёлка к торфяным болотам: там вольничают они весь световой день, телеса на таком же травяном просторе наедают. В помещениях только три больные коровы и молоденькие, недавно появившиеся на свет телята, которых доярки должны две недели отпаивать материнским молоком.

Наталья ходит по территории, сидит на солнышке возле двери молочного блока, снова ходит и видит всё, что делается вокруг. По дороге машины туда-сюда, с поля на ток и обратно, — значит, за посадками молотят озимую пшеницу

или ячмень; они с Иваном проезжали там с весны не один раз, и он всё прикидывал, каким будет намолот. Вот мимо фермы прогремел стальными траками старенький бульдозер, топливный бак у него на боку, как сумка у почтальона, значит, «почтальон» едет к силосным траншеям, которые чуть в стороне, и будет их чистить: по всему на днях начнут косить кукурузу на силос. Ребятня с удочками прямо через ферму наладилась — туда, где в запруде на притоке Неручи жируют караси.

А вот засветилась солнышком белобрысая голова Сергея; сегодня он что-то раньше обычного и как бы спешит, и тоже не по дороге, а напрямую, как ребятишки, через ферму. Наталья стала смотреть в другую сторону, будто не замечает его. Шаги ближе.

— Здравствуйте, тётъ Наташ, — поздоровался, но не остановился.

— Здравствуй, Серёж. Куда это ты так спешишь?

— К вам, тётъ Наташ. Вчера с Лариской договорились сходить в посадку грибов посмотреть.

— Только посмотреть?

— Если увидим, значит, принесём, — улыбнулся её шутке Сергей, и заспешил дальше.

Она вдогонку ему говорить ничего не стала: знала, что его Лариса уже ждёт. Алёнку за руки — и пойдут они втроём мимо сада, по тропинке, к просёлку, по которому приезжает к ней Иван, и чуть дальше, где среди полевого простора вытянулась берёзовая лесополоса. И радость у Натальи на душе: сдружились, видно, приглянулись друг другу; и тревожно: вдруг окажется Лариса обманутой, а это будет для неё трагедией, потому что девушка она серьёзная, впечатлительная и о людях всегда думает хорошо.

И тут же Наталья себя успокаивает мыслью, что Сергей тоже не пустомеля, а серьёзный парень; ей даже кажется, что они и характерами похожи, да и внешне тоже. Будь Сергей черноволосым и лицом потемнее — можно бы смело утверждать об их кровном родстве. И улыбается своим мыслям: «Надо же, сделала вывод».

Сергей давно скрылся с глаз, а Наталья всё стояла и смотрела в ту сторону; и неожиданно подумала, что Лариса и

Сергей уже в таком возрасте, когда люди редко ошибаются в своих поступках, и, возможно, отношения их уже больше чем дружба; и также возможно, что уже завтра они станут близкими людьми и друг для друга, и для них с Иваном и Маруськой.

Вот и солнышко на небе ровно над тополем, что у дороги стоит, значит, пора обеденная приспела, на ферме появятся люди. Кто-то уже пришёл и гремел ведром в помещении — не заметила, пока с думками своими наедине была. И как ни спешила домой — на двери уже висел замок: все трое ушли и по всему теперь не скоро заявятся, пока не насмеются, не натешатся и не приморятся сполна. У неё на эту пору тоже дела есть: надо идти в огород и обирать огурцы, помидоры и закрывать их в банки — и простым посолом, и под закрутку, готовить к зиме салаты: девкам надо, Иван заедет — закусить любит, особо огурчиками простого засола.

Наталья заметила за собой одну особенность: если много думает о нём — значит, скоро он должен к ней приехать. Иногда казалось, что в эти минуты они вместе в думках проводят время. И теперь она по сто раз на дню всё о нём да о нём, но неизменно возвращается к их последнему разговору, когда он привёз с электрички Ларису. Слова его в ушах теплым бархатом, на сердце сладость медовая: «... И это будет наш вечный брачный союз, даже после смерти будем вместе». Конечно, будем, милый мой человек: и сегодня, и завтра, всегда, потому что иной жизни для себя она не представляет.

Иван заехал к ней прямо на ферму после обеда. обожжённый солнцем и горячим ветром, вылез из запылённого «уазика» и сперва прошёл по всем помещениям, добрался до силосных траншей, где до обеда работал «почтальон»; и только потом они сошлись в том самом красном уголке, в котором впервые ощутил вблизи её дыхание и увидел волнующую синь озёр. Предполагая, что на ферме, кроме них, никого нет, но всё-таки опасаясь постороннего глаза, он прижал Наталью к себе, мгновенно погрузившись в эту синь; потом погладил шершавой ладонью по щеке, — наверно, чтобы почувствовать неж-

ность любимой женщины, и стал целовать — торопливо, как бы воруя, и с той жадностью, какая бывает у человека, изнывающего от жажды и наконец дорвавшегося до воды.

Она глубоко вздохнула, уткнулась счастливым лицом ему в плечо; и они замерли, слушая тишину помещения и неровный стук сердец, наполненных радостью встречи.

— Долго же ты ехал, — шёпотом сказала она.

— И всё-таки я спешил, — ответил он.

Его слова были приняты как оправдание, потому что услышал:

— Не оправдывайся; небось, случайно на меня наткнулся — забыл, что я здесь провожу свои дни.

— Не забыл, — его шёпот Наталье в ухо — мягонький, ласковый-ласковый, после которого трудно не поверить. — К тебе ехал, специально: дай, думаю, проверю, может, она тут с Петровичем...

— Дурачок, — шёпот вливается ему в ухо, будоражит кровь. — Дурачок ты мой, я без тебя умирала...

Где-то в дальнем конце помещения раздался глухой стук; Наталья замолчала и после короткой паузы пояснила:

— Корова больная там привязана.

И сразу же предложила:

— Но всё равно пошли отсюда, не место здесь для встречи.

Он понял, что Наталья думает не о себе, больше заботится об их общем благополучии; и они, не торопясь и негромко разговаривая, пошли по помещению коровника.

— Я что заехал, — сказал Кондрашов уже на выходе из ворот. — На носу первое сентября, и, помнишь, мы с тобой собирались поехать покупать Алёнке к школе. Сама понимаешь, у меня теперь часа свободного нет, а время не терпит. Сделаем так: завтра пришлю тебе машину, и поедешь с Алёнкой в райцентр; там походишь по рынку, приглядишь ей что надо. Деньги вот.

С этими словами он одной рукой достал их из бокового кармана пиджака, другой взял её руку, положил деньги на ладонь, а пальцы завернул и прижал, сотворив нечто похожее на кулак.

— Но ты же обещал, что поедем вместе.

— Обещал; и самому хочется, но чувствую — не получится. Одна справишься, а я вечером подскочу. Да, и по венчанию нашему: я хлопочу. Вроде должно получиться.

Он вышел из помещения и направился к машине; она проводила его взглядом до ворот, ещё постояв чуток в раздумье, посмотрела на зажатые в руке деньги и медленно пошла к другому выходу, где снова о себе давала знать стуком о кормушку беспокойная корова. Шла и думала: «Вот сунул деньги в руку — и нет его, словно откупился. Поди угоняйся за ним. А я гоняться не буду, и деньги его мне не нужны». Наталья шла по коровнику, потом ходила по территории фермы и думала, думала, думала. Сидеть уже не могла — червь сомнения подтачивал её изнутри, как яблоко, которое висело бы ещё и висело, розовея от щедрого солнца и тёплых зорь, да вдруг завёлся в нём червячок и начал точить сердцевину; и теперь ему долго не висеть: ослабеет, ослабеет и однажды не удержится на тонкой ветке и окажется на земле. Наталья не находит себе места, мается, значит, тот самый червячок-обжора заработал ещё шустрее; и чувствует она, что силы её тают на глазах, что их уже не остаётся. Она почти упала на своё привычное место — на скамейку возле молочного блока и закрыла глаза. Голова шла кругом, во рту пересохло. Стиснула зубы и несколько минут посидела, не шевелясь.

На ферме уже появились люди — пришло время поить и кормить скотину, а она всё сидела, словно пригвоздили её к этой самой скамейке, и нет никаких сил, чтобы оторваться и уйти.

— Ты что сидишь, домой не идёшь; пьяная, что ли? — дёрнула её за рукав халата Любочка Суетова. — Или заболела?

Наталья вздрогнула:

— Не знаю, что-то плохо сделалось.

— Народ пришёл, всё тут вроде цело, так что шагай-ка ты домой. Полежи — и отойдёт.

Дома её ожидали те же дела, от которых после обеда ушла на ферму; но если тогда в руках у неё всё горело, то сейчас, за что ни бралась, всё валилось из рук. Девки её спали, очевидно, хорошо притомились, находившись на просторе; но скоро она услышала за перегородкой шорохи, поскри-

пывание постели и негромкое хихиканье, а это говорило о том, что они проснулись, и теперь начиналась обычная картина дня: хи-хи да ха-ха, да ещё какие-то шутки; и ещё много чего весёлого будет исходить от них, пока не налезатся, не нанежатся и не встанут.

А Наталья услышала их — как выпила таблетку: в голове посветлело и перестало шуметь, мысли дурные уплыли, как дождевые тучи, гонимые ветром, и лицом посветлела.

— Проснулись, голубки, — она подошла к ним, присела на край кровати. — Видно, хорошо было, что долго ходили. А где же ваши грибы?

— Мамуля, — важно сказала Алёнка, — они вон там стоят, — и пальчик качнулся в сторону двери, — в коридоре, под лавкой. Их там много стоит, и всякие.

Говорила она медленно, важно надувала губы, и как бы причмокивала ими, что Наталья и Лариса одновременно рассмеялись:

— Ах ты, Снегурочка наша! — и щипать её, и щекотать, отчего она зашлась в хохоте и визге.

Наталье и вовсе дышать легче стало, отхлынула тяжесть, что сдавливала грудь тисками, и думки её невесёлые, словно пёрышки на ветру, уже в сторонке. Но недалеко они, рядом, и кажется: только тронь их, ворохни легонько — и снова обложат её со всех сторон. Но вот они, — её кровиночки, её жизнь! И Наталья крепко обняла дочурок, кому не побоялась в своё время дать жизнь и кто теперь продлевает её.

Им всем было весело. До позднего вечера дети помогали ей готовить на зиму принесённые с огорода овощи, перебирали и мыли грибы; и, работая рядом с детьми, Наталья успокоилась, душа её как бы оттаяла, стянутая холодом прихлынувшей то ли обиды, то ли ревности, а скорее всего — и того, и другого.

Лариса работала в её халате. Уже перед самым вечером, стоя у газовой плиты, она решила утереть потное лицо и с этой целью нашарила в кармане какую-то тряпочку, достала: носовой платок, в который было что-то завёрнуто; развернула — деньги.

— Мамуль, тут вот, в кармане, деньги в платочке.

— Да, дочь, мои, — восторженно сказала Наталья.

Она взяла их, вся в смятении, и уже хотела положить в ящик стола, но вдруг увидела среди купюр клочок белой бумаги; а развернула его, пробежала по строчкам глазами — и вспыхнуло розовым цветом лицо. И тут же на нём проявились все чувства, которые она испытала: сердце трепетало от радости — он всё-таки её, и никуда не уходил; проскользнуло сожаление: напрасно подумала плохо о близком человеке. Ещё раз быстренько пробежалась по строчкам, заподозрив в его писанине какую-то непорядочность по отношению к ней. Но смысл записки был прост и ясен как божий день: «Милая, Алёнке знаешь что купить, а себе возьми в раймаге серьги. Я так хочу».

«Хотя бы ковильюшку какую поставил, — подумала Наталья. — А вообще, на что она нужна, его подпись, если и так понятно, кто писал. Что это, документ какой? — и улыбнулась: — Хотя, может, и документ: деньги-то, вот они, при ней». Натальины раздумья — как заревые всполохи, короткие и яркие, но этих мгновений было достаточно, чтобы старшая дочь заметила, как глубоко затронула записка состояние материнской души.

— Мамуль, мам, что-то серьёзное? — спросила она.

— Не, дочь, — встряхнулась Наталья от своих мыслей, решив из этой записки тайны не делать. — Кум, Алёнкин крёстный, передал денег и написал, чтобы купила к школе ей всё необходимое. Завтра прийдёт машину, и поедем с ней на рынок.

— А я думала, случилось что: у тебя такой был вид! — и Лариса весело рассмеялась, скорее всего над собой и своими предположениями.

— Да неудобно как-то: вот прислал, а у меня душа не налегает их брать.

— И ничего тут плохого нет, — успокаивающе сказала Лариса. — Ну, прислал; он же крёстный отец и для дочки старается. Что плохого?

— Плохого нет, — согласилась она, — а вот всё думаю.

— И нечего думать, это его дело. Раз просит купить, — значит, надо делать, — и, как бы считая этот вопрос решённым, спросила: — А меня-то с собой возьмёте?

Наталья улыбнулась:

— Ну, как же, выбирать всё будешь ты, ведь ты учительница, и знаешь, что надо первокласснику.

Следующим днём была суббота, которая считалась в районе большим базарным днём, когда в райцентре на рынке проводилась распродажа всевозможных товаров, и непременно с учётом сезонного спроса; а съезжались на рыночную площадь более сотни машин из дальних и ближних краёв: кто — продать, кто — купить. В считанные минуты устанавливались палатки и лотки, и начинало пестрить в глазах от привалившего изобилия невесть откуда доставленных цветастых нарядов: турецких, польских, прибалтийских и немецких, своих и ещё недавно своих, а теперь считавшихся ближним зарубежьем, — украинских, белорусских и других соседствующих бедных родственников. Торговавшие одеждой сбивались к одной стороне; напротив выстраивались прилавки с обувью; в самом дальнем углу обустраивались со строительными материалами, мебелью и всевозможными железками; с продуктами теснились у входа на площадь и в небольшом крытом павильоне, в котором в благополучные советские времена местного потребительское общество торговало мебелью. А всем другим, кому не хватало места на этой площади, зажатой с трёх сторон частными заборами, приходилось довольствоваться тротуаром и обочиной проезжей части прилегающей к ней улицы.

Добравшись до рынка на присланной Иваном машине, они ходили по его проулкам и улицам, словно по палаточному городу, и высматривали, примеряли Алёнке различную одежду и обувь. Наталье было приятно, что вот ходят они все вместе, всем им хорошо; и в какую-то минуту сожалела: а ведь было бы ещё лучше, ходи с ними здесь Иван. И всё-таки в душе её жило довольство, и она уже соглашалась с тем, как складывались обстоятельства. «Ничего, — думала она, — приедет вечером и вместе с нами порадует Алёнкиным нарядом, увидит, какая она у нас красивая в них будет. Да на неё какую тряпку ни надень — всё как украшение».

И тут же стала размышлять: покупать себе серьги или всё-таки обойтись. И хотелось, и в то же время было жалко

тратить его деньги: ведь, глянь, сколько уже потратили! В конце концов решилась: купит, тем более Лариса сказала, что просьбу надо выполнять. Но как это сделать — ещё не знала. Помог случай: продавщица, что предлагала для Алёнки лёгкую вязаную шапочку, разговаривая с ними, постоянно трогала руками небольшие серебряные серьги, как бы проверяла, на месте ли они. Заметив, что Наталья раз от разу приглядывается к ним, пооткровенничала:

— Недавно повесила и ещё не привыкла к ним. Подарок хорошего человека. И давно подарил, а я всё стеснялась... — тут продавщица сделала паузу и поправилась, — точнее, боялась мужика своего: увидит, прицепится — зачем да зачем купила? А что я ему на это скажу? Что подарил любимый человек? Да после таких слов он меня сразу же на тот свет отправит вместе с подарком. Он у меня такой вредный! Чуть что понарядней на себя надену, или короткую юбку, да не дай бог с разрезом, — сразу скривится и давай тогда...

Что скрывалось за словом «давай», для Натальи было понятно и без пояснительных слов, и она участливо кивнула головой; а продавщица продолжала:

— Так и боится, что меня такую кто-то другой увидит. А что плохого, если ты кому-то другому нравишься? Вот ты какая красивая; а если тебе на уши повесить серёжки, пусть даже самые дешёвые, уже другой вид будет.

— Я за свою жизнь ни разу их не надевала, — призналась Наталья.

— Зря. Я тоже не носила, а сейчас думаю, что надо бы давно носить, тем более это память.

И она снова потрогала их руками.

— А как же мужик?

Ему я сказала, что сестра подарила.

— У сестры спросит.

— Она знает, я ей всё рассказала.

Лариса, которая всё это время была занята Алёнкой, но слышала их разговор, вдруг сказала:

— Мамуль, и правда купи себе; или нет, я тебе подарю с первой полочки, — и сразу же поправила себя. — Не-не, мамуль, ты купи сегодня, и будем считать, что это я их тебе купила; а деньги с первой полочки отдам. А, мамуль?

И Лариса вопросительно-утверждающе посмотрела на мать. Наталья не раздумывала, она просто стояла, делая вид, что думает.

— Купи, купи, — поддержала Ларису продавщица, — всё память будет.

И они пошли в раймаг, долго выглядывали их под стеклом витрины, лежащие в коробочках и без них, разные по красоте и деньгам. Наконец приглядели: понравились, и не дорогие. Попросила их, подержала возле уха — одного, другого, потом сразу к обоим приложила и — к зеркалу: глазу приятно!

— Ой, мамуль, хорошо как! — восхищённо сказала Лариса.

— Хорошо — значит, хорошо, — согласилась Наталья; и удовлетворённо подумала: если дочери покупка понравилась, ей, кстати, тоже, то и должна понравиться Ивану.

Но Иван вечером не приехал. Ночью Наталья плохо спала, утром встала вся разбитая какой-то неведомой силой, практически лишённая способности к делам по дому, что ожидали её каждый день. Не появился он и в этот день; и ещё два дня могла терзаться без него Наталья, но вся боль беспокойной ночи, обида и утренняя неспособность к жизни не находили питательной среды. Можно сказать, её душевная рана, похожая на обширный инфаркт, начинала зарубцовываться; и не сама по себе, не от простого дуновения ветра или животворного лучика солнца, которые легли бальзамом: уже перед обедом пришёл Сергей и сразу же передал Ивановы слова:

— Отец сказал, чтобы я извинился за него, что он не приехал вчера. Ему срочно в Курск надо было. Мать сказала, и сегодня вместе с солнышком туда умчался. Так что извиняйте, тётъ Наташ, его.

После этих слов у Натальи внутри отлегло: «А она-то бог знает что подумала, дура набитая!» И холодный лёд недоверия к Ивану, подозрительности сразу начал таять под тёплыми мыслями о пережитом ею рядом с любимым человеком. Всё у неё на виду, как на ладони; сколько дней, которые складывались в месяцы и годы, сколько событий, которые связывают их! «Нет, — думала она. — Ванька её

не кобель какой-то; всё у него чисто и светло. А что делать, если любовь у них такая, украденная как бы? Да ничего, все приворовывают: кто — деньги, кто — сено, кто — доски; одни — побольше, другие — поменьше; и живут — совесть не грызёт. А любовь...»

Тут она на минуту задумалась, мысли её тормознулись, но потом поплыли дальше: «Если она светлая, пусть и украденная, — чего стыдиться».

День позади, другой; вот и третий помахал зелёной веткой в окна, а вечер зажёт в них и на небе огни. В посёлок пришла ночь и, как хозяйка, стала их тушить. Наталья долго не засыпала, но всё-таки сон подступал, наваливаясь всей своей тяжестью на руки и ноги, тяжелели и спалились веки, и реальный мир с его извечными шорохами и звуками за окнами дома незаметно отдалялся и начинал глхнуть. Она несколько раз вздрагивала, слух её снова пронизывал ночную полутьму, но, ничего радостного так и не уловив, снова начинал тупеть. Наталья не могла определить, сколько времени она находится в таком состоянии — час? два? Где-то на далёком перегоне гуднул поезд; потом уловила тоже далёкий, ровный шум, похожий на гуд. «Нет, это не поезд, — подумала она. — И всё яснее и ближе». Лежала и слушала: из-за перегородки доносилось посапывание спящих детей — они тоже улеглись поздно, но, как думала Наталья, уснули сразу, приморённые работами по дому; а тот гуд уже совсем близко, потом его неожиданно не стало слышно. «Приехал!» — простучало сердце.

Наталья встала, надела халат и вышла, осторожно прикрыв за собой дверь.

Но Лариса не спала: лежала, счастливо улыбаясь ушедшему дню, который провела вместе с Сергеем; слушала, как ворочается в постели мать, как вздыхает, вороша свои родительские думки; слышала, как она встала с постели и вышла; когда вернулась — Лариса не знала, она уже давно спала, не менее счастливая, чем её мать.

Над ближними и дальними лугами, над полями — то серыми, со стернёй и остатками соломы, то зелёными, где доходят сахарная свёкла и кукуруза, то чёрными, где уже прошёлся плуг; над просёлками, на обочинах которых, запоздало доцветая, тянется к солнцу бледно-желтый донник, прибавляют благодати синеглазый цикорий да густая щётка подорожника; над огородами и домами, — над всей родной землёй благодать предосенних дней. Солнце доплывает до зенита, оглядывает всю эту красоту и потихоньку книзу, туда, где зеленеют поймы Неручи, наполненные густыми запахами разнотравья. Чего в них только нет: шёлком стелется мелкая травка, покрупнее, и такая же нежная; рядом ещё красота — цветом бледнее, но таким светом горят её распустившиеся цветы — за версту видно; чуть ниже и выше по склону — бурьян, крапива да колючки, со всех четырех сторон давят. И близко вокруг ни жилья, ни человеческого голоса. А где слабеет человеческая деятельность, там наступает природа и одолевает человека. Вольготно травам на тепле и влаге! одни давно по срокам отошли, другим — желанная пора. Они набрали силу, но уже не доходит туда коса, и травы останутся невостребованными: застареют, пожелтеют и поздней осенью поникнут, лягут непроходимой серой полосой.

Что делать — пришли другие времена, когда человеку проще и легче добыть скотине корм на поле. Это послевоенные деревни, победившие врага, голод и разруху, выкашивали всё до клочка, а сегодня на этих землях деревень заметно поубавилось, народ вымирает, и пустеют скотные дворы. Не один Кондрашов видит, что народ пошёл не тот: и не хилый вроде, но в работу не втянутый. Хочет — работает, не хочет — колом не заставишь, тем более косой махать.

Раньше бабы, да и мужики тоже, в любой час дня и ночи сходились посидеть на брёвнах, что лежали напротив Хо-мутихиного дома. Эти брёвна штанами и юбками так отшлифовали — любой мастер-краснодеревщик позавидует; и ещё сидело бы на них, наверно, не одно поколение,

но кто-то самый расторопный ночью брёвнам приделал ноги, а если говорить современным языком — приватизировал их без составления каких-либо документов. И тут ничего не поделаешь: если с десяток лет назад на пустыре, за мастерскими, лес лежал вагонами, то теперь золотой запас истратился — ни доски, ни брёвнышка, даже для самого необходимого не нашаришь. Словом, арены не стало, а без неё как? И, откликаясь на просьбы трудящихся, Гаврил построил другую — длинную и широкую скамейку, доску для которой у Кондрашова из склада всё-таки выпросил: мол, не лично для себя стараюсь, а для общества.

И вот сошлись бабы в очередной раз, уселись на скамейку и всё о жизни, о жизни — об этой самой. А она у всех разная и, в то же время, одинаковая.

— Вот ты молодец, — устраиваясь поудобнее на скамейке, похвалила Фролова Тося подошедшего к ним Гаврила, — прямо всем угодил: сидим, как в театре.

— Для тебя старался.

Довольный похвалой, он плюхнулся рядом и погладил её по спине.

— Погладь, погладь, если хочется: как-никак, а заработал.

Гаврил всегда был смелым мужиком и за словом в карман не лез:

— И ущипнул бы, но только не здесь. Давай в другом месте?

— Давай, герой, — и Тося придвинулась к нему поближе, — если Варька твоя не против будет.

— А я, бабы, своего крокодила пока не накормлю, ничего не хочет делать, — вступила в разговор её соседка Тося Воронина. — Вишь, Гаврил построил, и обкосил вокруг. Молодец, да и только. А я сказала своему, чтобы тропинку обкосил, — в огород уже не пройти, так он меня послал...

И она замолчала, не объяснив, как далеко её послал мужик.

— Да разве одного твоего не заставишь косою махать, — фыркнула Фролова Тося. — Вот они, все на виду. Назовите мне, какой мужик в деревне может хорошо отладить косу, а?

— Я, — ухмыльнулся Гаврил.

Ты не в счёт, — с ехидцей сказала Хомутиха. — Ты теперь у нас за образец будешь.

— Ку-ку, волки съели, — подвела итоги опроса Фролова Тося. — Ни одного нету.

— И с бабами мужики теперь такие, — с видом знатока сказал Гаврил, — от баб шарахаются, как от чумы.

— А на что они нужны, если теперь детей будут по-новому делать: говорят, разработали какой-то новый метод.

— Бабы, оно и старый метод неплохой, — лукаво улыбнулся Гаврил. — Я вот что думаю: сколько ни придумывай, а лучше старого, который дедами проверен, он всё равно не будет.

— Деляга, всё знает. Сидел бы уж, — одёрнула Хомутиха мужа. — Вон Ванька не шарахается, гляди, как он с Натальей: колом не разгонишь.

— Ты всё знаешь, — огрызнулся Гаврил. — Тогда скажи мне, чем собака отличается от бабы?

И, не дожидаясь ответа, продолжил:

— Собака на хозяина не лает.

— Я тебе дам «собаку», — взорвалась Хомутиха, срываясь в крик. — Всё знаю! И про тебя, зверёныш, знаю! Придётся и мне колом запастись, вот тогда по-другому запоёшь!

Хомутиха знала, что говорила: буквально вчера ей шепнули, что её Хомут своё свободное время зря не тратит; и сказал верный человек.

— Знахарка несчастная, — презрительно процедил сквозь зубы Гаврил; и сплюнул.

Получилось так, что плевок пролетел мимо Хомутихиного лица; чуть левее — и залепил бы её последний глаз.

— Я тебе плюну! — озверела Хомутиха. — Я тебе так плюну, что родную мать забудешь!

И со всего маху огрела мужа кулаком по спине, да так, что он взвыл диким голосом и свалился со скамейки. Бабы дружно рассмеялись, вспомнив сразу Натальин плевок в неё возле магазина, но тут же стихли: жалко стало Гаврила, который — то ли от боли, то ли с перепугу — никак не мог подняться с земли и всё лежал и охал.

— Ты что, Варька, с ума сошла? — насыпалась на неё Фролова Тося. — Мужик же, а ты его колотишь! Убьёшь или калякой сделаешь.

Она наклонилась над Гаврилом, взяла его под руку, помогая подняться.

— Пусть знает, что говорит и делает, — поучительно сказала Хомутиха. — Будет ещё плевать — что-то с ним и сотворю. Но это пока ещё не всё — и дома разговор будет.

— А ты что плетёшь? — шумнула на неё Тося Воронина. — Дался тебе председатель.

— Бабы, что знаю, то и говорю, — не сдавалась Хомутиха. — И как не сказать! Да лопни мой последний глаз, если он опять не возил Наталью. И куда, вы думаете?

Бабы молчали, ожидая, чем удивит Хомутиха; прибитый ею Хомут постанывал, побряхтывал, отряхивая брюки. Она посмотрела на подружек, потом на мужа и, махнув в его сторону рукой, мол, жив будет, не умрёт, продолжила:

— И не угадаете, да. Значит, так: нынче у нас двадцать... ага, восьмое, а это было девятнадцатого, как раз на Спас. Почему запомнила: у меня тогда свинья погуляла, и, чтобы не забыть, я на закуте мелом и записала. Такое вот дело пришло, а мы было собрались в церковь ехать — не в нашу, а за Поньри: старшая дочь сказала, что с зятем заедут за мной, и, мол, там батюшка дюже хорошо службу справляет. И что вы думаете: смотрю, а там, в машине возле церкви, Наталья и ещё какая-то пара.

— Ну и что? — перебила её Фролова Тося. — С ними она и приехала, как ты с зятем.

— Ага, с зятем, — возразила Хомутиха. — А машина-то председательская, уж её-то я хорошо знаю: как-никак, а каждый день вижу.

Председательский дом хотя и на приличном расстоянии, но всё-таки считается соседским.

— А Ваньку-то хотя бы видела? — спросила другая Тося, Воронина.

— Нет, бабы, грешить не хочу, не видела: мы тут в церковь скорей. Но это было ровно неделю назад, я говорю, мелом на закуте как раз записала, какой день.

— И что потом?

— А что могло ещё быть: из церкви вышли — никого, уехали, значит.

Каждый воспринял эту новость по-своему, но никто из них не мог сказать точно, с какой целью приезжали туда односельчане. А Хомутиха своё:

— И ломать голову нечего: возит-возит, да ещё как. Не случайно же всё сам за рулём, без шофёра ездит, чтобы без свидетеля.

Варька Хомутиха и на этот раз была права, и снова единственный глаз её не лопнул: Кондрашов в тот самый Спас рано утром действительно уехал в соседний район, где на окраине одного небольшого посёлка стояла действующая церковь. Как рассказал ему друг по институту Андрей Дёмин, который, кстати, и был там со своей подругой Ольгой, настоятель отец Владимир готовился отметить храму двухсотлетний юбилей и в делах православных не особо преуспевал, а потому и приход его считался беденьким: дохода едва-едва хватало, чтобы свести концы с концами. Сам настоятель был человеком скромным, и, скорее всего, именно честность, а не лукавство, заставляла отца Владимира в кругу близких ему людей говорить о пришедшей бедности с печалью: «Я теперь как сторож при храме». Это означало, что часто он проводил дневные часы в храме в полном одиночестве, если не считать матушку, которая денно и ночью старалась не оставить его одного. Так оно выглядело и со стороны: много лет не видевшее ремонта здание посерело, цоколь с южной стороны облупился, но так как средств на содержание храма постоянно не хватало, то неприглядность эта и оставалась, а человеку приезжему сразу же бросалась в глаза; но простой деревенский народ к ней как бы привык и уже не замечал, потому что у большинства в своём личном хозяйстве картина была не лучше. Отец Владимир не падал духом, слал земные поклоны и говорил, что Бог всё видит; а новые времена, пришедшие на русскую землю, вселяли в него надежду на лучшие дни, до которых, конечно, надо ещё дожить. Вот почему он порой не стеснялся помочь людям в решении их проблем, пусть даже это и несло в себе, пусть и условно, отступление от каких-то церковных канонов;

а к оценке человеческих деяний, в том числе и своих, подходил с позиций добра и зла. Как он считал, батюшкино благословение, основанное на заповедях, для человека не есть преступное деяние, а в остальном Бог всем воздаст — и пастырю, и овцам, в том числе и заблудшим.

Они подъехали к церкви в тот час, когда нежаркое утреннее солнце уже покрывало купол своей особой позолотой и начинало заглядывать в её большие зарешеченные окна, но ещё не успело справиться с обильной ночной росой, блестящей тёмным глянцем на листьях деревьев и на траве.

Отец Владимир пригласил в храм, не задавая никаких вопросов, и Кондрашов понял, что друг обговорил с ним всё заранее, в чём тут же убедился.

— Дети мои, — сказал священник, стоя перед ними, — вы уже в возрасте, и хорошо сделали, что решили совершить обряд венчания. Христианский брак с нашей земной жизнью не оканчивается, он продолжается в жизни вечной. Сегодня вы здесь, на земле, и стремитесь к близости. В вашей вечной жизни ваша любовь не прейдет. «Тайна сия велика есть», — писал апостол Павел, и мы не знаем, как будет выражаться любовь после Воскресения. Ваша любовь, соединение ваше — это событие, раскрывающее все ваши силы и все ваши немощи. Вы будете друг другом обладать, познавать друг друга, и всё это будет дано вам Богом как дар, и, естественно, дар этот потребует от вас больших усилий по его сохранению и преумножению...

Отец Владимир говорил не громким грудным голосом; и в пустом прохладном помещении, ещё не в полную силу охваченном светом пришедшего нового дня, слова его торжественно зависали над ними, затем расходились по сторонам и медленно улетали под самый купол. Они стояли рядом, молча слушали слова праведника. В эту минуту Ивану и Наталье казалось, что с ними разговаривает сам Господь Бог, это он смотрит на них маленькими чёрными глазками, излучающими добрый свет, а весь его вид говорит о доброте его христианской души.

— По словам апостола, — продолжал отец Владимир, — любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует

и не превозносится, не гордится и не бесчинствует, не ищет своего и не раздражается, не мыслит зла и не радуется неправде, а сорадуется истине; любовь всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и знание упразднится. Примерьте слова апостола к себе, и если у вас всё так, как он сказал, — подойдите, дети мои, ко мне, и мы совершим то, ради чего вы сюда пришли.

Но прохладный жёлтый металл обручального кольца под сводами этого храма так и не коснулся Натальиной руки: голова у неё пошла кругом, к телу подступила непомерная слабость, и всё, что она видела и слышала, в одно мгновение истаяло, померкло. И ещё не понимая, что с ней происходит, уже теряя сознание, она всё-таки успела подумать, что у неё сегодня самый счастливый день и она счастливейшая женщина на свете.

Наталья пришла в себя уже в дороге, когда машина шуршала колёсами по асфальту в обратном направлении, а бледное лицо её обдувал бьющий через опущенное стекло прохладный ветер. Она сидела на заднем сиденье, рядом с Ольгой, Дёмин ехал следом за ними. И не могла Наталья знать, как её, потерявшую сознание, успели подхватить под руки; как отец Владимир, собравшийся было дать им своё благословение, неожиданно изрёк: «Видно, Богу сие не угодно, а посему и я не должен пойти против его воли. Так что не ропщите, дети мои, я поступаю по-божески».

Поддерживая под руки, её осторожно вывели из храма, посадили в машину.

— Мы домой? — спросила она тихим, виноватым голосом. О том, что и как было, когда она потеряла сознание, решила не спрашивать, хотя на душе беспокойно: кольца-то на руке не было, а оно теперь должно украшать его и греть душу.

— Домой, домой, — кивнув головой, успокоила её Ольга. — Впечатлительная же ты, однако. Тонкая душа у тебя, значит. Хорошо, что успели поддержать, когда отключилась, а то разбилась бы.

Где-то на полпути они свернули с шоссе на просёлок, ведущий к берёзовой роще, но, не доезжая до неё, свер-

нули ещё раз, на рубеж, разделяющий поля, и остановились возле раки, которые редкой цепью уходили в синее безбрежье.

— Таких рубежей в нашем лесостепном краю много, — сказал Дёмин. — Эти полоски земли изранены войной, помечены окопами да бомбёжными ямами и не пашутся с тех самых военных лет, когда полгода стояла к северу от Поньрей передовая северного фаса Орловско-Курской дуги. Фашистов прогнали, а земля с тех пор не пашется. Святые места. «Как музей под открытым небом, — подумал Кондрашов, — всё видно: где был окоп, где блиндаж».

Небо заливало синью, солнечным теплом, даже припекало, и они расположились как раз под ракию. На бело-коричневой скатерти, расстеленной на траве, уместилось всё принесённое из машин. Дёмин открыл небольшую коробку.

— Это вам на память о сегодняшнем дне, — сказал он, и достал из неё небольшие красивые рюмки. — Они для тоста, и каждый узнает, за что пьёт, прочитав надпись на своей рюмке.

Он быстренько открыл бутылку коньяка, наполнил их, стоящих на полоске плотного картона, и продолжил:

— Сегодня, друзья мои, большой праздник — второй Спас, медовый называется. Уходят от нас советские праздники, точнее, уводят их от нас; а ещё точнее — их убивают. Верю, что всё возвратится на круги своя; но вот народные праздники остаются, и будет большой грех, если мы его не отметим. А у нас с вами сегодня двойной праздник: как сказал апостол Павел и батюшка, ваша любовь и соединение ваше — это событие. Отец Владимир не успел совершить христианский обряд, а посему позвольте сделать это мне.

Голос у Дёмина торжественно-шутливый, но при этом важность момента не утрачивалась.

— Подойдите, дети мои... Нет, лучше я подойду к вам, и мы совершим то, ради чего вы сюда приехали.

С этими словами он подошёл к Кондрашову и Наталье, а на его протянутой ладони искрились солнцем два золотых кольца.

— Скрепите свой союз этими кольцами и живите счастливо. За это и будет наш первый тост.

Лицо у Натальи чуть побледнело, но весёлый вид Дёмина, его торжественно-шутливая манера говорить сработали Наталье на пользу: в голове у неё было ясно, блеснувшее на её пальце золотое кольцо придало лицу выражение, какое бывает у человека, испытавшего прилив неизведанных доселе чувств.

Подождав, пока закусят, Дёмин налил ещё и предложил:

— А теперь давайте почитаем, за что ещё выпьем.

— Совет да любовь, — прочитала Наталья на своей рюмке. — А ты, Вань?

Кондрашов молча поднял рюмку надписью к ней.

«За холостяцкую жизнь», — резануло по глазам, и она с испугом заметила, как солнечный блеск кольца начал бледнеть и покрываться пеплом...

Нет, не суждено никому из деревенских это знать, даже Варьке Хомутихе. А дни за днями — то ясные и тёплые, то небо начинало темнеть и грозиться дождём-занудой. Всё верно, у природы, как и у людей, своя жизнь, свои законы. Вот приближается осень, и всё меньше в природе зелёного; всё больше серое да жёлтое бросается в глаза: листву на тополях подпалили то ли полуденный зной, то ли ночные холодные росы; по обочинам дорог, на пустырях да по межам жёлтыми огнями светофора загорелись тяжёлые кисти пижмы, на которую этот год оказался щедрым. Уже завтра засентябрят: ещё прозрачней станет воздух, свежо и росно будет после ночного великолепия, когда космическая синь опускается на землю и питает свежестью каждую травинку, каждый листок и цветик, и человека тоже, ещё несколько часов назад уставшего под этой самой синью от дневных трудов. Люди видят всю эту земную благодать; радуется ей и Варька Хомутиха, пришедшая первого сентября в школу посмотреть на внука-первоклассника. И снова не лопнул её единственный глаз, когда так же думала и всё разглядывала, разглядывала Наталью и председателя на торжественной линейке, посвящённой началу нового учебного года.

Внук весь в неё: такой же беспокойный и говорун; всё норовит подёргать Алёнку за косичку, поставить подножку таким же, как он, впервые пришедшим в школу, чистеньким и нарядным. Рядом с Алёнкой он совсем не смотрится — так, какой-то гриб плесневый, да и только. Оттого, наверно, Хомутиха так старательно приглядывается ко всем, кто не опоздал на эту церемонию, которая торжественно проста и всем хорошо знакома. Но каждый год здесь появляются новые лица, а те, кто пришёл сюда уже не впервые, конечно же заметно изменились, повзрослели или постарели с прошлогоднего сентября.

Первоклассников всего шесть. Новая жизнь дотрепывала деревню: молодёжь, в большинстве своём, покидала родительские дома и начинала метаться по стране в поисках лучшей доли, и теперь всё реже можно было услышать на улице свадебные песни, после которых всегда радовали хозяев детские голоса.

А у Натальи материнская душа тает при виде нарядной дочери, которую высокий русоволосый старшеклассник Платонов Ванька усадил на плечо; и зазвенел в её руке голосистый школьный звонок, зовущий в новую жизнь. Зови, звоночек, зови! И Алёнку, и Ларису, которая тоже начинает новую для неё жизнь. А ещё тепло у Натальи в груди, что сегодня видит Ивана; выходит, Алёнку они провожают в школу вместе. Господи, как хорошо! Ведь без этого сентябрьского дня ей было бы довольно неудобно, а так легко дышится, светло думается.

Кондрашов приехал в школу не с пустыми руками: на заднем сиденье «уазика» лежала коробка с новым компьютером. И пусть в колхозной кассе вчера снова не хватало денег на солярку, он не поскупился и сумел взять его в райцентровском магазине, у частника «под честное слово». Рассчитается: урожай-то хороший, и убирается, значит, деньги будут. Да и с прошлогодним зерном удачно получилось, спасибо Николаю Максимычу: продали. Совсем не важно, что денег выручили не много, так как основная часть зерна пошла на бартер, важнее, что скоро должна поступить в обмен на него новая техника: как вчера позволили, в конце сентября отгрузят.

Кондрашов сегодня отставил все дела и поспешил сюда, потому что каждый раз, когда заходил к нему Олег Борисыч, становилось перед учителем как-то неудобно. Скорее всего, это было чувство стыда за прохладное отношение к школе, которое проявлялось в его нежелании, точнее, в неспособности время от времени заходить туда и видеть её проблемы своими глазами, а не составлять собственное мнение о них со слов учителей или директора. Такая вот жизнь получалась у Кондрашова; но теперь у него к школе появился личный интерес: что ни говори, а сегодня в жизни у него событие — дочь пошла в первый класс. У него? Нет, конечно, не у него одного, и у Натальи тоже: для матери, как и для самой Алёнки, это праздник. Кондрашов смотрит на них и вдруг приходит к мысли, что таких приятных дней в его жизни вроде бы и не было. Наверно, по молодости ни одно такое событие его не трогало, и не потому, что жизнь детей его не интересовала: просто всё связанное с учёбой старших дочерей и сына несла на своих плечах Маруська, а он в дела их особо не вникал. А может, и было что-то похожее, близкое к его сегодняшнему состоянию, но по прошествии лет оно истаяло, поблёкло в красках, как старая занавеска на окне.

С наступлением осени забот у Маруськи всегда прибавлялось: в школе начинались занятия, и она должна была там делать всё, что делала все годы. Как ни назови — техническим работником или уборщицей, в любом случае обязанности одни и те же, и они забирали всю вторую половину дня. Первая его половина проходила в хлопотах по дому, так как домашнее хозяйство теперь держалось всё больше на ней; а Иван совсем от дома отбился, и живность, что находилась на дворе, — два подсвинка, куры с гусями, а ещё огород привязали к себе её накрепко. Но большой страстью для Маруськи они не были: вышла, ворота-двери настежь, сыпанула птице зерна и налила в железное корыто воды — клюйте, пейте, гуляйте. От коровы, как и многие

в деревне, избавились: одни заботы, а молоко пить стало некому, в общем, держать её смысла не было. Если Иван не поспешит из дома, что, кстати, случалось довольно редко, — поможет: вынесет поросётам ведро болтушки, — картошки варёной, перемешанной с посылкой, а она в это время схлопочет ему завтрак.

Сезон заготовок для неё оставался позади, и банки-склянки уже давно стояли в подвале, но чего-то ещё маленько не хватало, а вот настроя на эту оставшуюся работу не было. Хорошо, что приехал Сергей, и ей сделалось с ним веселее; да и помог с другими делами справиться: в доме перекрасили окна, на веранде и потолок, потом фронтоны и даже трубу, не так давно обтянутую железом и покрашенную, но уже нуждающуюся в обновлении.

Сергей поработал и наотдыхался вдоволь, и теперь собирался уезжать. Работа его по дому вся на виду, а так целыми днями где-то пропадал; говорил, с друзьями, но ей-то уже рассказали, что бегаёт на посёлок, к Лариске Натальи Савельевой, второй её дочери, которая закончила пединститут и с этого года будет здесь учить первоклашек. Маруся сначала увидела её в середине августа, когда Лариса впервые зашла в школу и спросила директора: выскокая, ладная такая, и Маруся она сразу понравилась своей стеснительной манерой говорить, красивой, как бы гордой походкой. Потом приходила ещё, что-то делала в классе, где ей было определено работать с первоклашками. «Надо же, — думала Маруся, — нашёл забаву. Хотя кто знает, может, у них всё по-настоящему; и Сергей пока помалкивает, но сердце-то чует, что сын не ради забавы у неё пропадает. А вообще, надо порасспросить как-нибудь у Натальи, кума всё-таки».

Как только Сергей объявил, что ему пора уезжать, Маруся в каком-то встревоженном состоянии, ни на минуту не выходя из головы думки: что да как он будет там, и хорошо бы ему собрать в дорогу побольше продуктов, чтобы не голодал. Иван послушал-послушал её утром, когда собирался на работу, и только усмехнулся с иронией:

— Надумала. Будет их тащить за тыщу вёрст. Лучше

дадим ему денег, там себе что хочешь купишь, в магазинах всё есть.

— Дорого всё.

— Побольше дадим. А что, отдыхать, что ли, он едет? Работать, значит, свои деньги будут. На жизнь хватит.

Ивану проще: он — мужик; а ей всё думается и думается.

В один из дней Сергей опять после обеда скрылся из дома и появился только к полночи; ужинать не стал, — видно, накормили; пошуршал какими-то бумажками в своей комнатухе, потом свет выключил и затих.

— Серёж, чего долго не спал? — спросила его утром. — Слышу: какими-то бумагами шуршит...

Маруся замолчала, дальше говорить не стала, не захотела раскрывать ему свои тревожные думки. И он ответил не сразу, как ей показалось, обдумывал, что сказать, как сказать или ничего не сказать. Сказал:

— Скоро, ма, уезжать, вот и проверил документы. Да и спать особо не хотелось.

— Скоро — это как? — переспросила она.

— Сегодня у нас вторник, значит, перед выходными уеду. Я ведь уже перегулял свой отпуск.

А у неё одни вопросы:

— Как же с работой? А если выгонят?

— У меня с этим всё нормально. Я, когда уезжал, предупредил, что может понадобится дополнительный отпуск, и написал заявление. Первого сентября я должен быть там — это крайний срок.

Маруське подумалось, что Сергей хотел сказать ещё что-то, и не ошиблась, в чём тут же убедилась после своего очередного вопроса:

— Серёж, — спросила она, — сколько дома живёшь — и всё бегаешь на посёлок. Ты по-серьёзному или так, лишь бы провести время?

У сына по лицу поплыл румянец:

— Ма, я вот сейчас думал, как тебе об этом сказать, а, выходит, ты уже знаешь сама. У нас с Ларисой всё серьёзно, и я собирался сегодня тебе с отцом сказать, что мы подаём заявление в ЗАГС.

Маруся так и замерла:

— Вот это номер!

— Ма, мы так решили. Через месяц приеду, и расписемся. Потом я уеду снова, а Лариса будет дорабатывать до конца учебного года.

После этого разговора с сыном у Марульки думок не убавилось; и ещё были разговоры — и с ним, и с Иваном, пока наконец не пришло к ней то самое состояние равновесия человеческой души, когда кажется, что проблема, над которой ломаешь голову, давно не существует, и всё должно быть, как задумал сын.

А Иван не удивился новости, не стал расспрашивать и прояснять какие-то детали:

— Я, жёнушка, знал давно, что за отношения у них и чем это кончится.

— Почему же мне не говорил?

— А что прежде времени молоть. Теперь скажу: я когда их первый раз увидел вместе, сразу понял, что их сама судьба сводит. И потом только наблюдал, как это происходит.

— Наблюдатель! — вспыхнула Марулька. — Нет бы сказать матери, что делается с её сыном, а он наблюдает и помалкивает! А может...

— Не может!.. — перебил её Иван. — О чём речь? Они уже взрослые и пусть сами думают за себя — так всегда о нас говорил мой отец. Точно так скажу и я: решили они, — значит, решили.

Сергей уехал, и Марулька погрустнела. Теперь она стала присматриваться к Ларисе, и старалась делать это незаметно. Но что отмечал её пристальный взгляд — известно было только ей одной, так как по этому поводу она ни с кем не откровенничала. Сама же исподволь приходила к мнению, что из Сергея и Ларисы должна получиться неплохая пара, потому что они даже внешне чем-то похожи друг на друга. Эту схожесть у Сергея как бы притушёвывали светлая копна волос — явно не отцовское наследство и — здесь уже точно: отцовская — ямочка на бороде, которую не спрячешь; но посади Ларису рядом — от переносицы на все четыре стороны похожесть, и увеличительного стекла не надо, чтобы разглядеть. И пусть коса у неё темнее, но форма носа, овал лица и ещё какие-то мелкие

черты, на которые натыкался взгляд, заставляли думать о кровном их родстве. А ещё они здорово похожи на Ивана. Как определила Маруся, с ней у них схожести никакой, а вот с Иваном — не промахнёшься. Да что там Лариса с Сергеем, уж как у Снегурочки с ним схожесть — ой-ёй-ёй! Можно думать, что все они — дети одного отца. Маруся внимательно присматривалась к Натальиным дочерям на школьной линейке, и чем дольше смотрела, тем больше находила сходства с мужем; ей казалось, что Лариса и Алёнка от матери не взяли ничего, ну ни на капельку не похожи на Наталью. Маруся плохо помнила забубённого отца Ларисы и не могла даже предположить, сколько она взяла своей внешностью от него, но уж точно: из другого колена достались ей гордая походка да эти ямочки на щеках. А у крестницы половина родословной покрыта тайной: кто её отец, и насколько она похожа на него — знает одна Наталья; но спросить — не спросишь: не так может понять, вроде как за насмешку примет. И всё-таки слух какой-то на первых порах проходил, что якобы оказалась обманутой.

Не менее внимательно она приглядывалась к Наталье и ничего предосудительного в её адрес сказать не могла: девчушки все чистенькие да нарядненькие, значит, к школе подготовить сумела; сама тоже неплохо выглядит. А какие серёжки красивые на ней!

Наталья стояла вместе с другими бабами, ожидающими торжества, и Маруся подошла к ней поближе; поздоровались весело: как же, кумовья, и дети их задружили, и они вроде бы не против этого. Но поговорить здесь не пришлось: рядом чужие люди, да и началась торжественная часть. А ещё ей хотелось сказать Наталье, что дети их как от одного отца: уж больно похожи на Ивана — и Сергей, и Лариса, и Алёнка. Тоже не сказала, а только попросила:

— Ты, Наталья, как закончится всё, домой не спеши, а зайди к нам. И девчат своих с собой возьми.

Наталья было встревожилась, но тут же сама себя успокоила, видя на её лице доброжелательную улыбку: ничего плохого быть не должно. И не ошиблась: чёрные мысли Марусяке в голову не лезли, и червь сомнения не разъедал её душу из-за неслучайности такого сходства. Она жила ре-

альной жизнью, а весь окружающий её мир наполнен был светлыми тонами; и, может, потому незадолго до первого сентября, разволнованная неожиданным поворотом событий, связанных с отъездом Сергея, и в то же время осознающая, что у них с Натальей степень родства множится, Маруська попросила мужа присмотреть на рынке для крестницы какой-нибудь подарок:

— Вань, всё-таки девочка пойдёт в школу; как-никак, а событие в жизни, и пусть оно ей запомнится.

Потом передумала.

— Не, Вань, ты мужик и бабью натуру не поймёшь: что я хотела бы выбрать — не выберешь, и что понравилось бы крестнице — не угадаешь. Давай-ка лучше вместе съездим.

Кондрашов нашёл для неё в своих делах более-менее свободный час, когда можно было в хозяйстве что-то на время отставить, а заняться другим делом, но уже в райцентре, и при этом предупредил:

— Я с тобой по рынку или по магазинам таскаться не буду, сильно некогда. Ты ходи, смотри, выбирай, — думаю, на всё про всё часа полтора тебе хватит, а я займусь своими делами. Где из машины высажу, там и встретимся. Освободишься раньше — приходи к администрации, я буду там, машину увидишь.

— Раньше не приду — когда ещё я там была-то, — уточнила Маруська. — Пока всё разгляжу, пока глаза мои не насытятся.

Был четверг, и рынок не работал. Кондрашов оставил её на автобусной остановке, возле магазинов, с трудом сумевших сохранить в конкурентной борьбе с частным капиталом за выживание статус торговых предприятий местного райпо. Прошлась по ним и всё ворошила цветастые тряпки, примеривалась; потом оглядывала полки с сувенирами, уходила и снова возвращалась, но практически ничего подходящего для подарка первокласснице так и не подобрала. Огорчению не было предела: неужели все хлопоты впустую? Она уже собралась было уходить из раймага, как вдруг продавщица, которой, по всему изрядно надоело обслуживать привередливую покупательницу, на очередную Маруськину просьбу подать-поглядеть занедовольничала:

— Это мы с тобой уже доставали, и гляделки наши смотреть на них утомились: уже по третьему разу будем.

Маруська и сама понимала, что закопалась в тряпках, но как же не хотелось ей уезжать домой с пустыми руками!

— Плохо получится, если уеду без подарка, — как бы оправдываясь, сказала она. — Представляете: такая интересная девчушка; пошла в первый класс, а мужу приходится крестницей. Праздник у неё на всю жизнь.

— Да, большой праздник, — согласилась продавщица; и вдруг предложила: — А почему надо дарить только что-либо из тряпок или сувениров, если можно что-то ещё, например, если посмотреть вон там.

И она повела Маруську к самому дальнему краю витрины, где под толстым прозрачным стеклом искрилось многоцветье: ярко и не очень, матово поблёскивало и горело ровным жёлтым светом, и другими цветами, вливающимися в человека удивление и восторг.

— У нас тут украшения из драгоценных металлов, — пояснила продавщица. — Не особо дорогие, но, поверьте мне, из них можно выбрать хороший подарок, и на всю жизнь притом.

У этой витрины Маруська стояла недолго.

— Вы знаете, маленькой девочке перстни и колечки ни к чему, — дала совет продавщица, — на её пальчиках они не будут смотреться, а вот серёжки — да, они будут как раз, да ещё если такие.

С этими словами она достала из-под стекла небольшие золотые серёжки и положила их перед Маруської; и тут же пояснила:

— С камешками ей не нужны, а эти будут самый раз. Видите, они сердечком, значит, подарок согрет любовью. Серёжки не только украшением послужат, они, как доктор, будут врачевать.

Ехали домой довольные — Ивану серёжки тоже понравились.

— Ну, крестница моя теперь настоящей невестой по школе будет ходить, — с мечтательной улыбкой восторгался он, — а женихи за ней гужом!

Маруська смотрела на мужа, изливающего радость, и ей тоже стало весело и легко.

— Вань, — предложила она, — давай вручим подарок Алёнке прямо первого сентября.

— В школе? — спросил Кондрашов.

— Почему в школе? Давай домой пригласим. Петушка зарубим и лапшицей угостим. Всё-таки мы почти как сваты теперь. И если Сергей твёрдо решил, то и нам с Натальей надо всё обговорить, что и как.

В школе Маруська не задержалась, наоборот, нашла возможность уйти домой пораньше, чтобы к приходу гостей приготовить стол. Лапша была сварена утром и остыть ещё не успела; Маруська трудилась над овощным салатом, когда услышала через открытую форточку стук калитки. Вышла на порог: пришли. Обрадовалась:

— Вот и молодцы, что не опоздали. Заходи, свах, и, невестушка, не отставай.

У Ларисы по лицу румяна. Наталья спокойна:

— А могли опоздать?

— Да, ещё немного — и лапша остыла бы.

С шутками прошли в дом. Через несколько минут подъехал отлучавшийся ненадолго по делам Кондрашов; и скоро все уже сидели на кухне, довольно просторной и светлой, за широким раздвижным столом, на который Маруська успела наставить всякой домашней снеди, а напротив каждого стояла дымящаяся тарелка с горячей лапшой.

— На Руси перед лапшой всегда подносили, — весело сказал Кондрашов. — Предки и нам завещали хранить эту традицию, а посему наливаю себе покрепче, вам, дорогие мои женщины, что послабее и послаще, — вина виноградного, так же собственного производства и не одного года выдержки.

— Вань, дело не в лапше, — решила поправить его Маруська.

Кондрашов посуровел лицом:

— Вот ещё учительница наплась. Есть одна — Лариса, и хватит с нас. А если говорить серьёзно, то Маруська моя правильно подсказывает: дело не в лапше, хотя оно, это самое дело, о котором пойдёт речь и от которого вы также

не в стороне, а имеете к нему самое прямое отношение, на Руси всегда отмечалось широким застольем с лапшой. Конечно, — и Кондрашов, как бы сожалая, прищёлкнул языком, — здесь надо бы сидеть ещё и Сергею, чтобы потом не говорил, что без него его женили, но так уж получилось у него...

Он остановился на полуслове, посмотрел на Ларису и поправился:

— У вас... — снова замолчал и продолжил: — Если говорить ещё точнее — у нас. Поставил Сергей перед фактом и уехал, а наше дело теперь — думай, что да как. Тебе, Наталья, они хоть что-то сказали?

— Сказали, и так же, выходит, как и вам: в трёх словах объяснили, что собираются расписаться через месяц.

— И что ты думаешь как мать об этом? — хмыкнул Кондрашов, думая сам о своём, только ему одному известном.

— А что мне думать, Иван Дмитрич, — чуть побледнев, спокойно ответила Наталья. — Они люди уже самостоятельные. Я с одной тогда чуть с ума не сошла, всё боялась, что выпадет ей бабье счастье плохое; а жизнь показывает, что зря боялась. Теперь стараюсь об этом не думать, хотя не получается. И думаю: живите, доказывайте родителям, что правильно поступили.

— Мы с Иваном точно так думаем, — сказала Маруся. — Они не дети, точнее, не маленькие, и начинают жить, как мы: выучились, пошли работать, не распутяги какие-то, в общем.

— Это мы сами всё думаем и говорим, — остановил её жестом руки Кондрашов. — А что думает и скажет Лариса? А то всё молчит и молчит.

Лариса сидела напротив него, рядом с Алёнкой, и по её лицу было видно, что разговор за столом для неё так же важен, даже, может, важнее, чем для кого-либо из присутствующих здесь; всё смотрела в одну точку на столе, ладони — одна на другой — на коленях; потом посмотрела на Кондрашова.

— Всё правильно, — подтвердила она; и ей вдруг сделалось жарко, на лбу, на щеках появилась испарина, — мы

так решили, и Сергей сразу поставил родителей в известность. А мне сказал, что родители его не против.

Лариса замолчала, очевидно, посчитала, что сказала самое необходимое.

— Нечего девку мучить, если у них всё уже решено, да и у нас тоже, — решила облегчить участь Ларисы Маруська. — Я думаю, что они жить будут, ведь как они похожи друг на друга.

И она весело засмеялась

— Что-то есть, — согласилась Наталья.

Иван слушал их молча.

— Я на школьной церемонии присмотрелась: как же все они похожи на Ивана, особенно Алёнка.

— Что-то проглядывает, — снова подтвердила Наталья, и в знак согласия кивнула головой.

— Это чем же она похожа на меня? — улыбнулся Кондрашов. — Что чёрненькая такая? Да если она моя крестница, то вообще должна быть моей копией.

Все смеются, Алёнка тоже. У Натальи сердце тает от признательных Ивановых слов, которые понимают только они; и одновременно появляется в груди чувство какой-то опасности: ну зачем он так открыто говорит, а вдруг начнут догадываться, и великая тайна их будет раскрыта.

— А ну-ка, дочь моя раскрасивая, подойди ко мне, что я тебе покажу, — хитровато прищурив глаз, поманил её пальчиком Кондрашов.

Алёнка сидела между матерью и сестрой и улыбчиво смотрела на него, но с места не сдвинулась, — очевидно, в чужом доме чувствовала себя стеснительно.

— Подойди, подойди, Алёна, нынче твой день, — подбодрила её Маруська.

— А это как — «мой»? — спросила она.

— Как бы хороший для тебя, добрый, — пояснила Маруська.

— Подойди, дочь, если крёстный просит, — и Наталья легко кивнула ей головой и одновременно моргнула глазами, тем самым высказывая полное согласие с просьбой.

Ещё несколько секунд — и Кондрашов подхватил Алёнку на руки и посадил к себе на колени.

— И вот что, красасвица ты наша, мы с тётей Марусей хотели тебе сказать: во-первых. поздравляем с первым учебным днём в твоей жизни. Сегодня ты была молодец, и дальше будь такой — весёлой, активной и красивой. А во-вторых, чтобы всем нам этот день запомнился, решили мы сделать тебе подарок.

Пока Кондрашов говорил, Маруська успела метнуться в другую комнату и уже стояла рядом, что-то держа в руке.

— Будь, Алёна, умницей, учись хорошо, — подхватила она тон Ивановых пожеланий, — и будь счастливой. И вот тебе подарок — памятный, от крёстного. Выбирала его, конечно, я.

Она улыбнулась доброй улыбкой; затем наклонилась к Алёнке, расцеловала её — то в одну щеку, то в другую, а в завершение этой душещипательной процедуры приставила к её маленьким ушам серьги. И тут же добавила:

— Вот какие красивые мы были, а теперь стали красоты неописуемой.

Два маленьких сердечка желтыми огоньками загорелись под мочками ушей; Алёнка их не видела, она почувствовала своим сердцем их трепетное дыхание и счастливо улыбнулась:

— Спасибо, тётъ Марусь.

Только и сказала. У Натальи слёзы близко — одна быстрее другой скатились по щекам. Лариса так же тронута.

— Кажется, Снегурочка наша довольна подарком, и не одна она, — подвёл итоги торжественной части Кондрашов. — Вот только в своём довольстве забыла сказать спасибо крёстному. Но ты, Алёнка, не печалься, у нас с тобой всё впереди, и должок этот остаётся за тобой: как надумаешь — скажешь. А пока давайте по тому славянскому обычаю закрепим наши поздравления и пожелания рюмочкой вина: лапша-то остывает, а её едят горячеей.

Во второй половине сентября шум работ на полях поубавился, но напряжение, с каким люди провожали и встречали каждый рабочий день, не спадало; а про выходные

дни они давно забыли. И, наверно, поэтому Кондрашов не находил свободного часа, чтобы проведать родителей и рассказать им последние новости из своей семейной жизни. Много раз «уазик» шуршал колёсами недалеко от их дома, а он бросал виноватый взгляд в его сторону и думал, что хозяйские дела не могут служить ему оправданием перед родителями. И всегда представлял себе сцену, которая при встрече с ними повторялась: мать выговаривает ему упрёки, обвиняя в несерьёзности по отношению к ним, пытается наставить его на путь истинный, а отец заступает, стараясь сына оправдать. Но даже если отец и был на его стороне, сам Иван в глубине души с матерью соглашался, так как понимал, что одиночество пугало их одинаково; только вот материнская душа, как более чуткая, отзывалась на одиночество быстрее. Иначе она поступать не могла: пустив сына на свет божий с отрезанной пуповиной, мать всё равно чувствовала в себе биение его сердца, продолжала жить его болями и радостями.

Кондрашов видел, как жизнь обкрадывала стариков: она забирала всё, чем наделила в своё время, и он бессилён был изменить эти законы природы, по которым суждено жить человеку на земле. И, видно, так уж она устроена, что человек в большом смирении подходит к концу своего пути, безропотно принимая жестокие удары судьбы и не особо радуясь удачам. И чем дальше шёл по жизни Кондрашов, тем лучше понимал он этих людей, оставивших за своей спиной многое из того, что ещё предстояло ему пережить. Но понимать-то их понимал, а когда начинал сверять свои действия и поступки, допустим, с материнскими наставлениями и пожеланиями, итоги размышлений были не в его пользу: да, чаще всего он пренебрегал её советами и нередко думал, что, живи мать не в многодетной семье, непременно выучилась бы, и из неё могла получиться хорошая учительница. Однажды сказал об этом вслух.

— Да ещё какая! — откликнулся на его слова отец. — Она, Иван, и с четырьмя классами сильно грамотная, а дать бы ей поучиться, сколько сейчас учатся, — с Фурцевой в мнистрах бы ходила.

Кондрашовых в деревне считали продвинутыми стариками, потому что газеты им носили пачками, они знали многое из политической жизни страны и своего края, и уж как им было не знать, что в хрущёвские времена министром культуры в правительстве Советского Союза была эта единственная женщина.

— Я и с четырьмя классами могла дослужиться до министра, только вот стубила себя по молодости, — как бы уточнила мать, а через короткую паузу язвительно добавила, указав пальцем на отца: — Стубила себя, когда вышла замуж за этого пня горелого; и с тех пор вся моя жизнь насмарку.

А Кондрашов жил своей жизнью, по своим понятиям, потому что в кругу своего общения находил не менее интересных людей, которые в той или иной мере влияли на его интеллект. Это в самом начале отец и мать, а дальше по жизни ещё и другие люди, приблизившиеся к нему, например, как дед Илья или Олег Борисыч. И получалось, что родительские наставления ими и оставались: ну как бы он последовал материнскому наказу, когда она однажды ему строго-настроено наказала, чтобы он больше не ходил на посёлок, это значит: к Наталье, мол, иначе всё расскажет Маруське? Он её не послушал; но и мать проявила свои лучшие качества: перед Маруськой промолчала, тем самым не учинила в семье скандал, а взяла вину на себя. И здесь житейская мудрость матери никак не вязалась с её понятиями о чести и порядочности, но мать выбрала меньшее из зол...

Кондрашов в очередной раз шуршал колёсами по асфальту мимо родительского дома, и на сердце чувство новой вины: он даже не сумел привезти им зерно сам, а попросил чужих людей, чтобы мешки насыпали, взвесили, погрузили на машину и разгрузили, куда укажет отец. И он уже проехал было мимо, но вдруг резко затормозил, дал задний ход. А когда переступил через порог — по просветлённым лицам родителей понял, что сделал правильно: дела каждый день, и даже по ночам, но ведь дорогого стоит побыть полчаса в родном доме, с самыми близкими людьми, которые этому рады всегда.

Мать, как всегда, сразу предложила пообедать:

— Может, поешь чего-нибудь, день-то хоть и осенний, а ещё потянется.

А сама уже гремит тарелками. Отец тоже не молчит, видимо, в настроении:

— Так, Иван, докладываю: с зерном мы справились, в мешках держать не стали, чтобы мышей не кормить, а ссыпали в бочки и закрыли. Должно хватить.

— Зимой сортировать семена будем — появятся отходы, тогда ещё выпишу, — успокоил он его.

У отца указательный палец кверху — длинный и толстый, как сарделька:

— Иван, не думай, нам и этого хватит. Ты лучше скажи, как вы там живёте? Внук дома? Ведь он к нам так и не пришёл, посмотреть бы на него.

— Ему, отец, и не до нас было: каждый день пропал на посёлке, а перед отъездом своим объявил, что женится.

— Ну что ж, — хмыкнул отец, — и то хорошо, можно сказать, делает всё вовремя: армию отслужил, работает, значит, пора и семью создавать. А то забродяжничает — не удержишь тогда: человека, сбившегося с пути, исправить трудно.

Мать перестала греметь тарелками, стояла и слушала.

— Вот мы и готовимся теперь, — продолжал Иван, — прикидываем, как да что будет. Они приходили к нам, посидели, поговорили, так что через две недели Сергей приедет, и будет свадьба.

— Что-то быстро у них, — осторожно заметила мать. — Хотя как быстро: раньше, бывало, приедут сваты — и отдают девку, хотя жених свою невесту первый раз в жизни видит.

— Это, старух, при царе так было.

Мать его не слушает.

— А ей-то много годов?

— Пединститут закончила, работает в нашей школе.

— Это, старух, зрелый возраст, — удовлетворённо сказал отец. — Здесь, Иван, ничего не поделаешь, природа своё берёт, так что готовься.

— Вань, — мать как стояла у плиты, так с места и не сдвинулась, — Вань, а как же они дальше жить будут? Тут или уедут?

— Она пока тут, он в Москве, а там видно будет. Говорит, она доучит год, потом заберёт её к себе.

На какое-то время в доме наступила тишина — все молча думали об одном и том же, но каждый череду надвигающихся событий осмысливал по-своему. Первой вышла из этого состояния мать.

— Это плохо, если поженятся, а жить будут по отдельности, — сделала вывод она. — У нас, Вань, тоже так было: поженились, а деда моего незадолго после свадьбы на лесоразработки и угнали.

— Ничего, старух, пережили, — прикуривая сигарету, миролюбиво сказал отец. — Это даже хорошо получилось: и денюжат заработал там, и много чего прислал и привёз домой. Знаешь, Иван, какое поганое время было: поженились, отделились от родителей, а в доме ничего, и нигде не купишь, и не на что. А тут попал — и начал слать домой; умудрился даже прислать чугунки и зингеровскую машинку. Там и деньги были большие, и товар был.

— Да, были бы деньги, — улыбнулся Кондрашов, вспоминая, как с месяц тому назад он вот так же приезжал к родителям и уговаривал выручить деньгами.

— Ему там было хорошо, а мне одной каково с маленьким ребёнком на руках, — возразила мать, — Алёшке как раз годик шёл.

— Старух, не одна, и не ты одна, а все до войны так жили; да и после войны тоже: надо — посылали и ни у кого не спрашивались, и не спрашивали ни у кого из таких, как я, согласия. Тогда у нас шаром покати — ни брёвнышка, бывало, не найдёшь, и домашняя утварь была редкостью из-за безденежья.

— Как сейчас, — подхватил Иван.

— Нет, не так, — возразил отец. — Сейчас людям пенсию платят, зарплатка какая-никакая; платят, — значит, можно что-то из необходимого прикупить, а тогда — как хочешь выживай.

— На то и была советская власть, чтобы жизнь для людей лучше делать.

— Ты меня, Иван, не агитируй, — одёрнул его отец, — я сам добре вижу; и скажу тебе, что эта власть, которая сегодня, она не для народа — и городского, и деревенского. Судить по газетам и телепередачам, она для проходимцев всех мастей, для жуликов, бандитов и казнокрадов; а порядочных людей она угробит.

— Это от самого человека зависит.

— И от человека тоже — согласился отец; и вдруг вспыхнул: — Ты раскрой свои глаза: народ вымирает, здесь скоро людей не будет, а ты вроде бы и не замечаешь.

— Замечаю, замечаю, — поспешил успокоить его Иван; и уточнил: — Умирают, кто совсем опустил и обществу без пользы.

— Они брошены государством, и тобой тоже. Советская власть давала им работу, вовремя платила зарплату, и всё для жизни им было доступно. А сегодня работы по стране всё меньше и меньше, людей она не удовлетворяет, а в итоге все работают без энтузиазма. Ещё хуже: вообще не торопятся на работу, и к тебе тоже, потому что платишь мало и не вовремя. Пока дождутся твоих денег — они обесценились. Получат их и гадают, на что потратить эти бумажки; а что там гадать: истрёпанную одежду-обувку менять надо, что поесть-попить — тоже надо, чем обогреть жильё — в первую очередь на это. А он держит их в кулаке и уже видит, что снова в пролёте: денег-то на всё не хватает. Поначалу попечалится, а потом отупеет от этой самой печали, ну и давай тогда хлебать, заливать её. Глядишь, полегало.

— Отец, не все же такие, — возразил Иван. — И я сам всё вижу.

— Не туда смотришь, — загорячился отец, что наблюдалось за ним довольно редко. — И те, что работают и ведут нормальный образ жизни, долго не протянут, сорвутся с орбиты раньше срока: также запьют или в трезвости загибнут. Иван, что бы ты ни говорил, простые люди со своими работами частному капиталу не нужны, а он теперь рулит по стране и скоро к нам ворвётся, и будет разбойничать.

Иван отца не узнавал: всегда спокойный, рассудительный, он в своих крестьянских делах говорил о политике в масштабах государства мало, всё больше строил разговор на примерах из местной жизни, и вдруг его как прорвало — в таком масштабе и такие смелые выводы.

— Чего разошёлся, — одёрнула его мать, — на улице слышно. Так и деревню распугаешь, вся разбежится.

— Её, старух, теперь ничем не напугаешь. Эта жизнь — последнее после немца самое страшное; да, буду спорить — хуже войны.

Но материнские слова возымели своё действие: отец как бы присмирел, разговор его перешёл в спокойное русло.

— Вся страна сейчас на одних пенсиях держится; а какая она? — нищенская, и её тоже начали задерживать, ещё инфляция её съедает. Нет, народ, конечно, не утратил веру, надеется на лучшее. Кто покрепче духом — работу ищет, дома живность всякую разводит — будет что на столе, для семьи, да продать. Мы, Иван, по дому с бабкой копаемся, копаемся, и, глядишь, веселее жизнь: на стол есть что подать, и пенсия меньше тратится на продукты. А пасака тоже кое-какой доход приносит. Мне, Иван, жизни мало осталось, — раскуривая потухшую сигарету, продолжал отец, но мать снова дала о себе знать:

— Какой «кое-какой»! Вань, он мёд продаст — денежки в карман себе. А к столу-то есть подходит.

— Старух, ты же, когда посылаешь меня в магазин что-то купить, денег никогда не даёшь, да я и сам, кстати, не прошу. Ну, отдам тебе все деньги, потом опять проси их у тебя.

— Оправдался, — сделала вывод мать, продолжая заниматься своими делами.

Но отец уже не обращал на неё внимания.

— Сколько ещё проживу — и сам не знаю, могу в любой день умереть. У меня сердце стучит с переборами: стучит, стучит, потом — хоп! — и остановилось на мгновение, и снова пошло. Я, Иван, хочу, чтобы ты перенял у меня пчеловодное дело. Отец мой пчёл водил, я продолжил, теперь бы и тебе заняться. А мне уже трудно слаживать с ними: и силы не те, и зрение слабое.

У Ивана в груди холодок, словно откуда-то из самых глубин повеяло бедой.

— Отец, не думай об этом.

— Думай, не думай, а говорю что есть.

— Завёл разговор, — перебила его мать. — Я тебе тыщу раз долбила: колом не пришибёшь. Глянь, водку как глотаешь.

— Водку ещё глотаю, а кусок хлеба застревает, в горло не лезет.

Иван их слушал, взглядом то на отца, то на мать, то по стенам: вот они, родные, услышавшие первый его крик; здесь множились его года, здесь каждая малость, оставившая зарубку в его памяти, становилась дорожке, она была как ниточка, связывающая каждый новый день с прошлым: подёргай за неё — и на сердце теплым-тепло.

— Если я говорю, значит, знаю что, — продолжал отец. — Ты, Иван, как-нибудь подъезди, но далеко не откладывай: сейчас самая пора с пчёлами работать, готовить к зиме; протрусим рамки, утеплим, а мне одному нагрузно будет.

У Ивана снова холодок в груди, тревожные мысли ворохнулись.

— И ещё, — продолжал отец, — ты со свадьбой особо не заводись: работы хозяйской у тебя ещё много на полях, и фермы к зиме надо готовить, а она отошьёт тебя от дел. Ты лучше небольшой вечерок им собери, и довольно будет. А то как ещё бывает: на три дня заведут гулянки, и вся деревня пьяная — дым дугой. Какая тут тогда работа? Раньше, Иван, свадьбы справляли, когда крестьянин со всеми работами управлялся, поздней осенью или зимой.

— Не знаю, пока не решил, — признался он. — Так, конечно, легче было бы для нас.

Ничего другого сказать не мог: и сам понимал, что свадебные хлопоты всегда большие, и заниматься ими, кроме него, будет некому; да и разговор с Маруськой на эту тему ещё предстоял.

— Вот и делайте, как легче, — поддержала отца мать. — Деньги целей будут. Мы, конечно, поможем — я с пенсии кое-что берегу, а им они пригодятся: теперь без денег-то ничего не делается.

— Мать, — рассмеялся Иван, — так всегда было.

— Всегда, — согласилась она, — но раньше было проще жить, и не всё решали деньги; а сейчас, куда ни чкнись, — давай, и счёт на тыщи теперь. Получишь, а на неё всего ничего купишь. Вот раньше буханка хлеба килограмм весила, а теперь полкило — располовинили, да к тому же подорожала в пять раз.

— Шурка, на твою пенсию теперь можно купить только ящик самой дешёвой водки, а дорогой, может, бутылки две, — в тон ей добавил отец, и тут же поправился: — Не, старух, не водки, а вина — есть такое, не одну тысячу бутылка стоит.

— И так всю жизнь, — без особого сожаления продолжила мать, — я о хлебе думала, а он о водке. Пойду в магазин — хлеба, крупы, сахара, рыбки, а он только для своего горла, и по ульям прячет. Куда ни шагну — всё на пустые бутылки спотыкаюсь, собираю их и на хлеб в магазин несусь.

— Во-во, — шутливо засмеялся Иван, — если бы не бутылки, и хлеба не на что было купить.

Они судили его, но совсем не жестоко, без какой-либо злости, потому что и они, и вся округа хорошо знали: у Кондрашовых бездельников и выпивох в роду никогда не наблюдалось; и Дмитрий Василич также выпивал в меру, что не мешало ему обустроить свой дом и вести нехитрое хозяйство.

Не в обиде на жену и сына был и хозяин дома. Но, конечно, первопричиной умиротворённости в этом неспешном разговоре был сам Иванов визит — долгожданный, с важными новостями, после которых на сердце у каждого из них сильнее разгоралось великое чувство родства и взаимопонимания.

Под впечатлением от этого разговора Иван находился и все последующие дни. Ему легко было делать свои обычные дела, какие-то хозяйские неувязки воспринимались им уже не так трагично, не в таких тёмных тонах, как нередко ему виделись.

Проезжая по полям, наблюдая за ходом работ на машинном дворе и на фермах, Кондрашов, как руководитель и первое лицо в своём маленьком государстве, всё больше

утверждался во мнении, что он и его люди иначе бы жить не смогли. Трудно даже представить: как это — иметь своё большое поле? Не огород, допустим, в полгектара возле дома, а целых пять, десять или двадцать гектаров где-то за дубняком или на Аркашином бугре, которые самому надо пахать, засеивать, а ещё как-то убирать выращенный урожай? У него с Маруськой должно быть пятнадцать — по семь с половиной гектаров на каждого трудоспособного приходится; у кого из дома трое работают — двадцать один с половиной.

Два года назад колхозная система затрещала по швам. Он не впал тогда в отчаяние, не поспешил, как многие, расстаться с прежним укладом жизни. И потом часто будет вспоминать, как после очередного собрания на эту тему встревоженные люди вываливались за порог дома культуры, строили всевозможные предположения; а кузнец Богдашкин, надевая шапку, крепко выругался и сделал вывод:

— Да пропади пропадом и земля эта, и жизнь такая. Думал, отработаю своё положенное, и — всё, дальше пенсия; думал, будет жизнь нормальная, ровная и безбедная, и без особых забот, а теперь, выходит, всё кобыле под хвост. Чует моё сердце: неразберихи будет море, и опять старики подставляй свои плечи, потому что молодёжь такую жизнь не потянет, да и не захочет.

Не один кузнец Богдашкин так думал и говорил. И Кондрашов не решился ломать наработанный уклад жизни, хотя на него и давили. В противостоянии с местной властью сумел остаться при своём мнении, а люди поддерживали его; и после нескольких лихих лет доказали, что колхозная форма хозяйствования на земле для них самая благоприятная. И всё-таки отцовские слова из головы не выходили; их было много, они ещё недавно летели в него камешками и, как он думал, должны были остаться позади; им раствориться бы во времени, в каждом прожитом дне, но — странное дело — отцовские слова, наоборот, всё явственнее звучали в его ушах. И тут же вставали перед глазами лица односельчан и картины из сегодняшней их жизни — и тоже не безголосые, а в слезах и с горькими усмешками; и совсем мало весёлых и счастливых — они были

где-то далеко-далеко. Получалось, что камешки не пролетели мимо, а попали в цель.

В один из дней, уже после обеда, Кондрашов решил посмотреть, как работает техника на свекловичном поле. Выехал за деревню, и машина легко покатила по просёлку — узкому, затянутому пыльным подорожником и украшенному жёлтыми цветами пижмы. Отцовские слова всегда преследовали его в полном одиночестве, и здесь они снова приблизились к нему; потом проявились лица — сначала отцовское, как бы усталое, но довольное-довольное. Отец смотрел прямо на него, очевидно, что-то хотел сказать, но так и не сказал, а только поманил к себе пальчиком. Рядом лицо Кулачка, ещё деда Ильи, Севалкина, а за ними, чуть дальше, нечёткие очертания женских лиц.

«Что это со мной? — спросил сам себя Кондрашов, и тут же с невесёлой усмешкой сделал вывод: — Доработался, выходит, что сам с собой стал разговаривать, сам у себя спрашиваю». Он остановился, вылез из машины. Было тепло и тихо; за берёзовой лесополосой, у самого горизонта, отлёживались облака — какие-то рыхлые и грязные, словно не из этого мира, наполненного теплыми красками осени. На другой стороне небосклона бесчинствовало солнце; и всё, что окружало Кондрашова, — недопаханное поле, пыльная трава вдоль просёлка, чуть дальше — длинный и горбатый скирд соломы, с крупной серой птицей наверху, — всё земное дышало под его лучами покоем и блаженством, наслаждалось последним бархатным теплом.

В другое время в такое же умиротворённое состояние покоя мог погрузиться и Кондрашов, но только не сейчас, когда мелькнуло перед ним это видение отца, какое-то непонятное, тревожное, а его вопрос к самому себе оставался без ответа. «И правда, что со мной?» — мысленно переспросил Кондрашов; и начал перебирать события последних дней, предполагая, что именно с ними связано его сегодняшнее состояние. Да, всё было там, в тех днях: отцовские слова попали в цель, вывели его из состояния покоя и заставляли смотреть вокруг себя по-новому.

Теперь он чаще обычного думал о родителях. С возрастом они становились ему дороже; особенно не по себе

было, когда он видел, что сильно сдает отец: давал сбой его истрёпанный организм — и войной, и послевоенными неурядицами, когда каждый прожитый день был непомерной ношей, заставлял надрываться и его, и таких же, как он, как дед Илья и многие другие односельчане. И если раньше отец совсем редко говорил на эту тему, а значит, не было повода для беспокойства, то теперь его слова следовало принимать как сигнал тревоги.

Кулачок намного моложе отца. Этот шутник перед его глазами чуть ли не каждый день: то по току ходит, то на машинном дворе копается в каких-то железках. А недавно заскочил к ним домой — нечасто, но такое случается. Кулачков дом через дорогу, наискосок, считай, соседи; и по соседски он никогда не стесняется зайти поздравить с праздником, рассказать какую-то новость — это когда у него есть свободное время и желание пообщаться. В дневные часы дома Кондрашов бывает редко, и соседа, как высокого гостя, если он появлялся на пороге, всегда встречала Маруся: поговорит с ним, угостит рюмочкой из Ивановой бутылки, что всегда стоит на окне, возле стола.

Именно поэтому и выплыло перед ним лицо Кулачка. Как рассказала Маруся, пришёл он утром, когда Кондрашов уже уехал, и прямо с порога:

— Скоро Покров, и я вот к празднику вам хренку принёс. Вчера за зерноскладом накопал.

— Какой Покров, — засмеялась Маруся, — до него ещё месяц надо жить. Да он и не престольный, у нас же Михайлов день.

— Неважно, — спокойно рассудил гость. — Сейчас как начнут все копать — и ни хреновины не оставят. А у вас уже будет. Вот тогда мне спасибо и скажешь.

— Ну, если так, давай его сюда, — сказала Маруся. — И спасибо тебе. Иван его любит лучше перца — и крепость есть, и аромат, и витамины с калориями.

— Спасибом не отделаешься, — ухмыльнулся лукавый сосед, тем самым обозначая цель своего визита.

Маруся поняла намёк: взяла с окна бутылку, налила чуть поболее половины стакана. Кулачок выпил, тыльной стороной ладони вытер губы.

— А закусить.

— Держи блинчика горячего, — и подала ему со сковородки блин, — прямо с пылу-жару тебе — не обожгись.

Потом добавила:

— А вообще, сосед, на такие дела надо ходить со своими блинами.

— Я пока до вас дойду — блин остынет, — отшутился Кулачок, дуя на блин и скрываясь за дверью.

Кондрашов вспомнил Маруськин рассказ и рассмеялся: и с Кулачком всё было ясно.

С дедом Ильёй, как и с отцом, у Кондрашова особые отношения — они стояли в отдельном ряду; и слова старика, как и отцовские, также преследовали, заставляли в мыслях чаще обычного возвращаться в прошлое, сея сомнения или придавая твёрдости его действиям и поступкам.

Лицо Севалкина растворилось перед ним так же быстро, как и недолгим был вчерашний разговор их на току.

— Уборка закончилась, мехток не работает, — сказал ему Кондрашов, — так что пора тебе, Севалкин, снова на ферму, в слесаря, — готовить к зиме транспортёры, поилки. И хватит пьянствовать.

Севалкин приблизительно знал, что его хмельная жизнь на току заканчивается, поэтому Кондрашовские слова для него великой новостью не стали. Поморгал редкими рыжими ресницами и сделал неожиданный вывод:

— Пьяница проспится, а дурак никогда.

— Но я же не сказал, что ты умный, да и дураком не обозвал, хотя дури на себя ты напустил много. Что ещё скажешь?

— А зарплата?

— На днях решать будем. Скорее всего, как в прошлом году.

— Сразу идти?

— С завтрашнего дня.

— Сапоги дорогу знают, только ноги поднимай, — весело сказал Севалкин, по всему уже размышляя, какой жизнью он будет жить зимой.

Севалкин мелькнул перед ним — и нет его, только солнце да безбрежная синь над головой. Кондрашов пошёл к скир-

ду; сидящая на нём птица взлетела, сделала над просёлком большой круг и скрылась за лесополосой. Он обошёл скирд с солнечной стороны, выдернул горсть соломы изнутри, насколько могла достать рука: ячменная — мягкая, сложенная в погоду, она хранила в себе тепло, запахи зноя ушедшего лета. И Кондрашов подумал, что будет хорошо, если её не гнать на подстилку скоту, а поберечь на корм, на случай его нехватки. Ведь однажды было такое: летняя засуха сожгла весь травостой на лугах, хлеба и сеяные травы получились низкорослыми, и, по расчетам, заготовленного сена и соломы до выхода на пастбища не хватало. Просить было не у кого — засуха прошла по всем областям центральной России. И тогда в хозяйствах в пожарном порядке сформировали механизированные отряды, обеспечив их всем необходимым, и отправили в Казахстан заготавливать солому — по рассказам односельчан, так в далёкие пятидесятые годы отправляли туда же, на целинные земли, убирать первые урожаи. А через некоторое время железнодорожные вагоны с тюками прессованной соломы уже стучали по рельсам через всю страну к его деревне, и поголовье было спасено.

Мысли возвратились к фермам — и снова проявились женские лица, только чётче; поплыли перед ним лица доярков, телятниц, увидел в этом ряду Галю Селезнёву — она всё смеялась; и вдруг лицо её сморщилось, сделалось некрасивым, каким-то плаксивым, что ли, отчего Кондрашову даже стало неприятно. Но это длилось недолго, какие-то мгновения, после чего она снова начала смеяться, слёзы пропали, морщины разгладились, а левую её щеку высветило розовое облачко румянца. Да, почему-то только одну, левую, — правая же была как в тени, по-прежнему оставалась сморщенной и серой, словно покрытой пеплом.

Как они расстались, прошло несколько лет. Галя делала попытки вернуть его к себе, постоянно искала случая повидаться с ним один на один, убедить, что он ошибся, приняв такое решение, но Кондрашов избегал таких встреч и оставался при своём мнении. Она, как и Наталья, пришла к нему однажды в кабинет, и за ту минуту, пока они оставались вдвоём, попыталась воскресить в его памяти самое

лучшее из их отношений, но в его душе так и не аукнулось ничего и не откликнулось на её призыв.

— Ты пришла прошлое ворошить? — не сказать что холодно, но как-то безучастно, что ли, или равнодушно, словом, без желанного тепла спросил он. — Не стоит. И ты должна это понять.

Дальнейшему их разговору помешали: в кабинет вошёл с документами на подпись главный бухгалтер Горохов, пожилого возраста, спокойный и рассудительный. Галя посмотрела на Кондрашова глазами, полными слёз, отчаяния, мольбы, и, отвернувшись от вошедшего главбуха в противоположную сторону, будто бы смотря в окно, торпливо скрылась за дверью.

— Обиделась. Чем же ты её так сильно обидел? — подходя к столу, спросил Горохов.

— На меня сегодня полколхоза обижаются, — ушёл от ответа Кондрашов. — Кто матом кроет, кто плачет — я же не святой. И держит меня на этой работе только то, что изредка слышу в свой адрес спасибо. Насколько хватит сил дальше работать — не знаю.

В дальнейшем Галя таких попыток больше не делала; а Кондрашов, вспоминая тот неприятный разговор, всё так же оставался при своём мнении, хотя со временем в душе его проклёвывались ростки жалости к этой молодой женщине, к которой, как ему казалось, проявил непростительную жестокость. Но что делать, если иначе поступить не мог, так как в его сердце свила гнёздышко Наталья, они пустили на свет потомство и радовались жизни. А ещё Кондрашов помнил, и не давали забыть ему это наставления деда Ильи и родителей, что есть у него всё-таки Маруська, и тоже дети, и не надо гневить Бога в этих полусемейных и семейных делах. Всё это схлестнулось в нём в один из дней, прокатилось по жилам, как девятый вал, с такой разрушительной силой, что еле-еле выдержало сердце. Но выдержало; и просветлел разум, и окончательно утвердился Кондрашов, что поступил он тогда правильно, как говорил дед Илья, по-божески, причём с какой стороны ни посмотри. Маруська, Наталья, их дети — все они его, Ивановы, и бросать их он не собирался. Нельзя, преступно по отношению

и к ним, и к себе. А Галя ещё найдёт свою судьбу — красивая, работающая, и ничего, что засиделась в девках, — многие холостые парни заглядываются на неё.

Кондрашов оказался прав: не прошло и года, как её просватали, и молодая семья уехала в город, где, по слухам, жизнь у неё складывалась совсем неплохо. Галино лицо мелькнуло перед ним — и нет его, как нет в этом краю теперь её самой. «И хорошо, — подумал Кондрашов. — Хотя город есть город, и людям в нём — кому как. Но всё равно хорошо — Наталье спокойней будет без неё».

Город по-прежнему уводил молодёжь из деревни, и Кондрашов представлял неустроенность людей, решившихся на такой отчаянный шаг — уйти от этих просторов. В один из зимних дней он заглянул в библиотеку, и на глаза ему попался журнал «Молодая гвардия» двадцатилетней давности; открыл наугад страницу — стихи; строки врезались в память:

*А ты ворчишь: мол, скучен, агроном,
Тебе одно лишь просо да гектары...
Но разве пахнут в городе пшеном
Умытые дождями тротуары;
Но разве там, где грузные дома,
Где вольный ветер даже и не снится,
Сведёт тебя когда-нибудь с ума
Крылатый запах зреющей пшеницы?*

Кто ты, добрый человек, сумевший заглянуть в душу Кондрашову, — ведь эти стихи о нём. И неважно, что Кондрашов всего лишь ветеринарный врач, который каждый день заглядывает коровам под хвост, а не агроном; важнее, что он деревенский. А человеку, выросшему среди полей и перелесков, где высокое небо и далёкие горизонты, довольно сложно войти в городскую жизнь, тем более в такое поганое время, когда он практически никому не нужен — ни обществу, ни государству.

Много лет назад, ещё в советское время, Кондрашову пришлось наездом быть в Москве. Опускаясь в метро, он видел перед собой, как ему навстречу соседняя лента эска-

латора несла бесконечную вереницу лиц, разных по самым-самым мелким и крупным чертам, которые людей разнят, и вместе с тем одинаково помеченных заботами земной жизни. «Персонажи сегодняшних дней из книги жизни большого города», — подумал он тогда. Под серыми гранитными сводами, в тусклом, словно неземном, свете эти люди несли на себе совсем не понятную для него печаль, которая делала их, при всей их натуральной непохожести, одинаковыми, — они были из одного материала и в равной степени как бы посыпаны пеплом сгорающих дней. «Неужели и я точно так выгляжу со стороны?» — молнией мелькнула мысль; и тут же погасла: нет, деревня всегда радовала светлыми, улыбчивыми лицами, и Кондрашов не исключение. Именно тогда его душа отвергла город напрочь.

Сегодня в стране другая жизнь; и теперь в своей деревне видит он такие же лица — словно посыпанные пеплом, но уже из другого времени, в огне которого сгорают радости и надежды людей на хорошую жизнь.

На сердце у Кондрашова потеплело: увидел родные лица; но мать смотрела на него с укором, Маруся как бы спрашивала, что с ним случилось; глаза Натальи мироточили небесной синевой, замешанной на тревогах и радостях украденной любви. Кондрашов читал их взгляды — разные по эмоциональной окраске, каждый по-своему затрагивающие струны его души, и не метался среди полевого простора в догадках, почему эти самые близкие люди так смотрели на него; он прекрасно понимал: его любили, и любовь их была не слепой.

И Кондрашову расхотелось стоять на этом просёлке, как не захотел он ехать на свекловичное поле, где работали свеклоуборочные комбайны; сел в машину и лесополосой направился в ту сторону, где в золоте погожего осеннего дня тосковал по нём Натальин дом.

Следующим днём было воскресенье. Кондрашов проснулся как обычно, на часы не смотрел, но в окна сочил-

ся сумрак. Можно бы ещё понежиться в тёплой постели, дремануть до того часа, пока в окнах не посветлеет и первые лучи солнца не нарисуются на стене, — всё-таки полевые работы сворачивались, и людям на сегодня он дал роздых, — но привычка сработала: встал. По той же привычке начал бриться; а когда Маруся тоже намерилась вставать, чтобы приготовить ему скорый завтрак, он её остановил:

— Полежи. Сегодня людям дал выходной, так что я не спешу.

Когда вышел за порог, понял, что не ночной сумрак нависал над деревней: небо в тучах, оно грозило затяжным ненастьем, и утренние потоки света не пробивались к земле, а разгуливали в безбрежных просторах космоса. «Вот тебе и на, — подумал Кондрашов, — вчера погожий день порадовал, и ненастье как бы не обещалось». Потом вспомнил: «Как же, как же, — те самые грязные облака за лесополосой предвестниками и были. Отлежались за ночь — и сюда».

Кондрашов постоял за домом, у огорода, уже опустошённого и из-за своей черноты казавшегося чужим и холодным, тщетно пытался высмотреть и выслушать прикрытые мглой дали. Они были мертвы. Лишь в той стороне, где лежала подкова железной дороги, очевидно, на переезде, горел уставший за ночь огонёк; ниже огорода, это уже совсем рядом, за луговинкой, еле слышно пошумливали речная вода; а дальше, за речкой, Натальин посёлок, куда его в очередной раз потянуло вчера с пустынного просёлка.

Наталью дома застал; она его не ждала, но тем радостнее была их встреча. Сидели за столом, говорили, жадно разглядывая друг друга, и столько было в их глазах любви и желаний, что не замечали, как летело время. Очнувшись, когда за окном послышались весёлые голоса.

— Дочурки мои из школы, — успокоила она.

— Больше некому: одни на весь посёлок, — засмеялся Кондрашов, и спросил: — Что-то поздно они?

— Всё правильно, по часам, — возразила Наталья. — После продлёнки они — пока уроки поделают, пока пообедают да нагуляются.

Через порог они — весело; Алёнка взахлёб начала рассказывать о каком-то своём приключении в классе, но Лариса остановила её:

— погоди, Снегурок, ты сначала поздоровайся с крёстным.

— Поздоровуюсь, поздоровуюсь потом.

И снова о своём, и так же взахлёб.

— Утомонись, — забирая портфель, остановила её Наталья. — Крёстному некогда слушать тебя, в другой раз расскажешь, когда будешь здороваться с ним.

Алёнка не обиделась, так же весело приговаривая, скрылась в своей комнатке.

Там он задержался ещё ненадолго: поговорил с Ларисой, прикинули, как и что у них будет, когда придет Сергей. Уходя, сказал:

— Мне отец не советует большую свадьбу затевать.

— А какая она — большая, — пожалла плечами Наталья; и говорила она неопределённо: то ли спрашивала, то ли утверждала. — Зовут родных, самых близких друзей. У меня их немного, если только друзья у Ларисы.

— Мамуль, друзья и у Сергея есть, и у меня тоже; а кого будем звать — скажем, когда он придет.

— Нет, так не бывает, — не согласился Кондрашов, — людей предупреждают заранее, чтобы наперед планировали, а за день-два — не годится. К таким мероприятиям гостям тоже надо готовиться: и чтобы с работы отпустили, и, может, наряд какой купить, и в парикмахерскую — кому надо. Так что определяйтесь раньше, не тяните.

Кондрашов вспомнил этот разговор и улыбнулся: такие они всегда, молодые-то. И он, наверно, был таким же беспечным, когда женился. Хотя какая тут беда, успеют пригласить, и гости не опоздают...

Ход его мыслей прервал стук калитки, затем услышал, как застучали в окно. Кто бы это? Стук повторился, и он был тревожным. Вышел из-за угла: стучал Витёк, сын Любочки Суетовой, отцовой соседки.

— Что случилось, Витёк? Это за какое же наказание тебе не дали сегодня поспать?

— Дядя Вань, меня ваша мамка прислала, — тяжело дыша, зачастил парнишка. — Беги, говорит, скорее до вас и скажи, что с отцом плохо.

Дальше Кондрашов его уже не слушал: метнулся в дом за ключами от машины, на бегу сообщив Маруське, что с отцом что-то случилось, а уже через минуту они мчались по деревенской улице к отцовскому дому. Мать встретила его на пороге.

— Вань, беда, — утирая фартуком слёзы, еле слышно промолвила она, — отец умер.

Иван прошёл в дом. Отец лежал поверх одеяла на своей железной кровати, ещё довоенной, чудом сохранившейся; в своей любимой рубаше, в клеточку, уже поблекшей от стирок, с замётанными-перемётанными петельками для пуговиц и подшитыми рукавами, — мать много раз пыталась её выбросить на тряпки, но в результате получались из такой затеи одни скандалы; спокойное морщинистое лицо, глаза закрыты, одна рука на груди, другая вытянута рядом, — словно прилёг человек на полчаса отдохнуть от земных трудов и не услышал, что к нему пришли.

И как щёлкнуло что-то у Ивана в груди, и перехватило дыхание. Отец, отец... да ты мне говорил, как будешь уходить из жизни, — ты это знал, и в свой последний день ты звал меня к себе. Отец, отец... Слёзы застилали Ивану глаза. Мать стояла рядом, и в её фигуре уже не было той уверенности и стати, которые она носила в себе ещё вчера; и, может, поэтому, а, может, и оттого, что сам он находился в шоковом состоянии, материнские слова доносились до него как бы издалека, и смысл их понимал с запозданием, словно мозг его просеивал их через сито и потом уже расшифровывал и доводил до сознания:

— Вань, вечером сидели, всё телевизор смотрели; потом он ушёл на кухню — пойду, говорит, чайку попью. Слышала: кипятил, гремел чайником. Я легла, а у него всё свет горел, долго — либо валенок подшивал, он всё собирался глубокие калоши купить на них. Утром проснулась, лежу, а его не слышно из комнаты; обычно-то он раньше меня просыпался и начинал что-то делать, стучать стульями; учую дым — как закурит, значит, а тут тихо да тихо.

Ну, думаю, поздно лёг и не торопится вставать. Я встала, хлопочу на кухне и вижу: время идёт, утро уже. «Дед, — зову, — вставай», а он не отзывается. Подошла к нему — лежит, потрогала — холодный.

Отец, отец... Вот и сделал их сиротами. Но сколько дел хороших за все годы переделал, и все на пользу семье, односельчанам, государству. Вреда никому не принёс за свою жизнь, и ушёл — никого не обременил заботами о старческой немощи или болезни.

Отец, ты, отец... ты же звал вчера его к себе, так понятно поманил пальчиком: мол, давай ко мне, мой сын, я посмотрю на тебя последний раз, поговорю с тобой, поткровенничаю по-родному. Отец его понимал и жалел как сына, и, по всему предчувствуя свою кончину, позвал к себе, а он взял да и проехал мимо. Слезами этой вины не искупить, но всё равно прости, отец, прости...

Слёзы текут, заливают Иваново лицо, мокрые губы шепчут слова-откровения. И в свете нового осеннего дня сама природа не осталась равнодушной к горю Кондрашовых: в тот же час за домом, на прогоне, застонали под налетевшим ветром старые ракиты — каждодневные свидетели его праведных дел; склонившись низко к земле, заплакало несильным дождём небо; и ещё два дня подряд придорожные деревья забрасывали охапками пёстрой листвы деревенскую улицу, по которой в последний свой путь на этой земле отправлялись все односельчане, — другой дороги к погосту не было

Дмитрий Василич лёг в углу старого кладбища, рядом со своим отцом, прожившим много больше сына, — всего одного года не хватило ему до ста. В копачи подобралась ребятня ловкие — крепкие и с понятием: могилу выкопали аккуратно, предварительно убрав оградку в сторону; и также аккуратно опускали гроб на длинных, вышитых петухами рушниках давнишней материнской работы, бережно сохранённых в большом красном сундуке; и не менее аккуратно и быстро закопали, лишь отстучали по крышке гроба прощальные горсти земли.

Когда рушники вытягивали из-под гроба наверх, Василь, двоюродный брат матери, скомандовал:

— С кладбища ничего не уносят: плохая примета. Бросайте их туда.

И бросили. Мать смотрела на происходящее безучастно, Кондрашов — тоже с каким-то тупым равнодушием. Но позднее сожалел об этом: вышитые рушники остались бы хорошей памятью о времени, в котором жили родители, и о матери в частности, чьими руками они были сработаны.

За несколько минут вырос над могилой холмик земли; крест, сработанный деревенским плотником Иваном Ерёминным, украсил ещё один вышитый петухами рушник, но только короче тех, что легли на гроб; потом положили венки — много венков, букеты живых цветов.

Материнские слёзы начинали просыхать; она пошла поближе к Ивану, стоящему рядом с Ильёй, и тихо попросила:

— Вань, застолбил бы рядом с моим дедом место для меня.

Он посмотрел на мать осуждающе, и, хотя ничего не сказал, она поняла его, прочитав не сказанные им слова во взгляде. Илья думал так же, как Иван:

— Ты что, Шурка, боишься — земли не хватит. Хватит, её вон сколько; только хоронить скоро некого будет: всех, без разбору, бугор забрал. Но тебе ещё рано об этом думать.

— Не боюсь, и не рано — возразила мать. — Рядом с ним всю жизнь прожила, пусть и там вместе будем. А старики друг без друга долго не живут. И я не задержусь.

Отмерили шагами, забили колышки, принесли из машины и натянули по ним прочную нитку шпагата, который использовали на прессовании сена в тюки. Душа его протестовала против этого, но в то же время Кондрашов понимал неизбежность происходящего и начинал думать, что мать, как и отец, как и все люди, наверно, в таком возрасте, свыклась с мыслью о бренности своего бытия и свои слова и действия в решении подобных вопросов кощунственными не считает.

Затем рядом с могилой поставили те самые табуретки, которые сопровождали гроб от дома до кладбища, застелили их лёгкой скатерткой и выложили на неё поминальное; но прежде появились рюмки и спиртное. Люди поодаль мыли

руки, подходили и со словами «Пусть земля ему будет пухом», выпивали кто что хотел — вино или водку, брали что-то из еды. И только после этого все потянулись с кладбища. За деревьями копачи прозвенели лопатами, очищая с них землю; захлопали дверцы машин, сопровождающих похоронную процессию. Как потом рассказывала Хомутиха, она насчитала их почти два десятка, и приехали в них родственники и друзья, чтобы в этот скорбный час выразить соболезнование, проводить в последний путь человека, с которым они также не однажды общались.

Мать ушла с Маруськой и с другими своими детьми, его братьями и сестрами, которые так же примчались на зов беды, а Кондрашов всё стоял у могилы — последнего отцовского пристанища и думал о том, что до чего же не прочен человек на земле. Вот отец; и вроде бы за всю свою жизнь никогда не болел, всего один раз лежал в госпитале, когда был ранен в конце войны, под Кюстреном, что на Одере, а на-поди — до возраста своего отца не дожил ровно пятнадцать лет; значит, их отняла война и всё остальное, что свалилось на его плечи после войны. В этой части кладбища лежат всё больше из долгожителей; чуть дальше, куда оно стремительно прирастало в последние годы, улеглись уже намного моложе отца — двадцатилетние, тридцатилетние, но в основном не старше пятидесяти. И все — не убиенные, а ушедшие из жизни своей смертью, причём у всех она разная. Можно думать, что следующее поколение, к которому надо относить и его, Кондрашова, столько же лет не доживёт до возраста своих родителей. Так что же случилось на этих берегах Неручи и Оки и дальше — до Москвы, и от Москвы до самых до окраин, если напал на людей великий мор и общество не успевает восполнять человеческие потери, не говоря уже о приросте?

Недавно Николай Максимыч передал ему с Лыловым «Правду», газету российских коммунистов, — её Кондрашов не читал уже давно, считай, с советских лет. Интересная газета, и ни в какое сравнение с ней не идут ни областная — как печатный орган действующей власти, ни районная. Почитаешь их — тишь да гладь кругом, и всё-то хорошо, жизнь с каждым годом улучшается; и словно нет

умерших деревень и безработицы, стёртых с лица земли колхозов и совхозов, и не вымирает народ. А «Правда» называет вещи своими именами: да — в стране разруха, безработица, потому что заводы и фабрики уничтожены, безденежье и беспросветное будущее для простого человека. Тысячи городов разморожены, порушены и покинуты людьми — они умерли, как умирают на благодатной земле серединной России, на берегах Неручи эти вот деревни. А люди, почти полколхоза, лежат в оградках, здесь. Выходит, умирают в его маленьком государстве, у него; значит, и он причастен к их смерти: кого-то не накормил, кого-то не обогрел или убил словом, или не поддержал в плохую минуту — в общем, как говорил дед Илья, поступал не по-божески? И отец ему об этом говорил, а он.... И что, теперь его вредителем в деревне назовут? Нет, этот ярлык не для него, потому что каждый день истрачен не на своё, личное, а на это вот хозяйство, которое позволяло людям на берегах Неручи обустривать их личную жизнь. Другой вопрос: какая она получается? А у кого какая, и тут палка о двух концах...

Сколько стоял Кондрашов у могилы в полном одиночестве, сказать не мог, когда подошёл дед Илья и взял его под руку:

— Всё правильно, в горе побыть одному тоже надо, но, добавлю, не долго. Не у тебя одного горе — у всех, кто здесь стоял; твоё, конечно, несравнимо больше, но всё равно обряд тебе доводить до конца. Народ теперь уже в деревне, будет ждать, и отставать негоже от него.

На поминальный обед Кондрашов позвал всех в колхозную столовую, где Наталья справляла свадьбу своей дочери Настюшке и где намечали они сладить ещё такую же. Но это были его планы, и как показало время, они не сбылись.

Похороны остались позади, в узком кругу родственников отметили девять дней. Кондрашов пока ни с кем не откровенничал, как и что думают они со свадьбой, хотя

сам практически определился. А выводы его были просты как божий день: во-первых, в семье траур, и никаких торжеств быть не должно; во-вторых, свадьбу можно бы и отложить на какое-то время, но теперь не мог он поступиться и советом отца — не устраивать большого застолья. Сергей на похороны не приехал, очевидно, после отпуска жил по своим планам, и ни Маруся, ни Кондрашов его не ожидали. До намеченного дня бракосочетания оставалось ещё полторы недели. Они уже подумывали, что надо бы их планы донести до сына, но Сергей опередил — позвонил сам. Разговаривала с ним Маруся, и по-матерински безобидно дала ему понять, что большую свадьбу решили не справлять — не ко времени, а еще лучше, если её отложить на пару недель. Сергею ничего не оставалось делать кроме, как только согласиться с родителями.

И снова шли за днями дни; остались позади поминки в сороковой день, и всё это время Кондрашов разрывался в делах — то в хозяйственных, то в домашних. И хотя дату регистрации в сельсовете отставили на месяц, в суете скоротечных дней она постоянно напоминала о себе какими-то заботами.

С погожими днями, просвеченными солнцем, паутинами и золотой листвой, осень расставалась неохотно; она как бы тянула время, пока совсем опустеют поля и усталая деревня приготовится к нашествию дождей и холодов. Кондрашов даже подумал, что она не хочет огорчать Сергея и Ларису и тянет время, пока они в своём стремлении друг к другу не соединят горячие сердца под высоким, синим-синим куполом её красивого храма.

Лариса недели за две перед этим побывала в Москве, где вместе с Сергеем прошлись по рынкам и магазинам и выбрали всё необходимое для свадьбы: Лариса — недорогое свадебное платье и фату, Сергей — костюм, туфли и, как они считали, самые главные свадебные атрибуты — золотые кольца. Сам Сергей приехал дня за три; много помогал матери по дому, бегал на посёлок, к Ларисе, и там они как-то готовились вместе, уже по-семейному решая свои вопросы.

И день этот наступил, погожий-погожий, светлый-светлый, тёплый и тихий. Осенняя дорога не пылила, и машины, а их было несколько, весело проскочили по просёлку до сельсовета и обратно. Но сияющий свадебный эскорт к дому сразу не поехал, а направился вначале в сторону кладбища, где Сергей и Лариса положили на могилу деда цветы, постояли в скорбном молчании. С цветами сфотографировала их Настюшка и у памятника односельчанам, не вернувшимся с полей сражений Великой отечественной войны; и чуть позднее ещё у одного святого места — у обелиска воинам 81 стрелковой дивизии, погибшим 5-6 июля 1943 года при освобождении от немецко-фашистских захватчиков их малой родины. Посветлела лицом бабушка Шура, ещё не отошедшая от свалившейся на неё беды, когда счастливые молодожёны остановились напротив её дома.

— Не забыли в горе внуки, спасибо, — сказала она, подходя к ним мелкими шажками, и благословила: — Красивые, хорошие, дай вам бог счастья и хорошей жизни.

И только потом пришло веселье в Кондрашовский дом, где в просторном зале стояли свадебные столы, загруженные всевозможными закусками. Сергей и Лариса то сидели рядом, то выходили из-за стола и танцевали — вдвоём; то все их поздравляли, то заставляли танцевать ещё — невестку со свёкром и свекровьей, зятя с тещей. А ещё в этом застолье было много песен, разных шуток и забавух, от которых светились лица и не смолкал весёлый смех.

Радовалась счастью своей сестры Настюшка. Алёнка, красивая и смышлёная, тоже понимала, что Лариса бесконечно рада свершившемуся событию и не представляет для себя другого счастья. Она не отходила в этот день от сестры, на бракосочетании и в застолье старалась быть рядом с нею; и столько было на её красивом личике счастья и радости, что, казалось, хватит на многие годы вперёд. Но жизнь это не подтвердит, да и не опровергнет.

Наталья радовалась вместе с Ларисой; собственно, не-весёлых лиц, как ты уже, наверно, заметил, дорогой читатель, в этом застолье не было. Только иногда ненадолго уносили Ивана думки в прошлое, к отцу; да к Наталье под-

ступала минутная тревога вперемежку с жалостью: как-то сложится всё у Ларисы? — и тогда словно тень по лицу. Но свадьба, несмотря на немногочисленность её гостей, пела и плясала, разбивая на мелкие осколки тревожные думки родителей.

Молодые прожили в доме Кондрашовых ровно неделю — до того дня, когда Сергею надо было спешить на работу. Лариса уезжала с ним, и школа её не держала — впереди каникулы, а ещё директор школы пошёл навстречу, подарив несколько свободных дней. О билетах Кондрашов позаботился заранее, взял на проходящий утром поезд, так что в обеде они должны быть в Москве.

Всё, что хотела взять с собой Лариса, сложили в сумки с вечера. Наутро встали рано, завтракали и всё говорили, давали советы, какие-то наказания. Наталья с Алёнкой тоже пришли проводить. Алёнка жалась к Ларисе, и теперь в её глазах было столько печали, что Лариса невольно рассмеялась:

— Снегурок, отчего так сильно загрустила? Нельзя, я не насовсем уезжаю, а всего на несколько деньков. Побуду там с Серёжкой, посмотрю, где он работает, и — назад. Ты лучше скажи, что тебе привезти.

Алёнка внимательно посмотрела на сестру, как бы обдумывая, что должна купить Лариса, и неожиданно заявила: — Ничего не хочу. Хочу, чтобы скорее приехала.

Все громко рассмеялись, а Наталья сказала:

— Она всё просыпалась по ночам и спрашивала, где Лариса. Один раз даже заплакала.

— Снегурочек ты мой, золотой, — Лариса прижала сестру к себе, поцеловала в щёку, — я постараюсь побыстрее к тебе вернуться.

Потом дружно встали и оделись; и уже было пошли к порогу, но Кондрашов скомандовал:

— Все — стоп! И присели на минутку.

Присели, помолчали, снова встали.

— Ну, теперь вперёд! — снова скомандовал он и с сумками в руках шагнул через порог.

Их проводили до машины. Пока Кондрашов ставил сумки в багажник, Маруся поцеловала Сергея, потом Ла-

рису; то же сделала и Наталья; Алёнка после поцелуев всхлипнула. Сергей и Лариса стояли рядом, как в тот день, когда они расписывались в сельсовете, а брачный их союз скрепили кольца; стояли и думали о том, что у них начинается новая жизнь, которая их позвала.

И ты, дорогой читатель, попрощайся с ними, пожелай удачи, потому что это будет уже другая жизнь, другая история любви.

Часть IV

1

За светлыми ливнями и тёплыми зорями, за свирепыми вьюгами и густыми туманами притаилась мелководная Неручь. На её берегах, то высоких, то низких, от самого истока и дальше по течению всё деревни да посёлки рассыпаны – недалеко друг от друга, на расстоянии, доступном человеческому глазу. Не один век стоят они здесь; и всё это время в подслеповатые окна их неброских домишек старательно заглядывало солнце, из труб дымки верёвочками вились, словно соревновались, чей будет прочнее и выше. А проверяло всех на прочность время.

Много веков назад пришли сюда люди. Они охраняли этот край от набегов татар, а вместе с этим и обживали его: рожали детей, распахивали землю и выращивали скот, разводили пчел. От Неручи и дальше к югу простиралось «дикое поле» – не тронутая человеком земля; за ним дымила кострами Золотая Орда, откуда по весне приходила опасность. Заслышав приближение вражеской конницы, мужчины брали в руки оружие; а степь скрывалась в огне и дыме, оставляя тысячи боевых коней врага на бескормице; и тогда татарское войско отступало, оставляя за собою на месте селений одни пепелища.

Но как торжество жизни над смертью – снова поднимались деревни понад речкой, к домику домик, поближе

к воде да к лугу. Они особо не отличались во времени: всё больше из брёвнышек мягкой породы, крытые под солому; и не пугали друг друга своей теснотой, потому что все они были набиты детворой, при виде которой люди легче переживали беды.

Сколько же раз за века разгуливал по родной Васильевке «красный петух» уже после татар! Жили в бедности; и совсем бедными становились, если запылывает под соломенной крышей пламя, и в считанные минуты останутся на этом месте черные головешки да печь – как памятник сторевшему дому. Во время фашистской оккупации здесь ненасытный огонь войны смахнул с лица земли все деревянные постройки. По первости, как только прогнали фашистов, отстраивали хатёнки небольшие – лишь бы крыша над головой. Брёвна выискивали по блиндажам да по окопам, да по дорогам через заболоченные низины, где хозяйственные немцы укладывали их, чтобы можно было проехать в весеннюю или осеннюю распутицу. Это уже потом, по прошествии многих лет, ставили дома с высокими потолками да попросторнее, с желанием поскорее избавиться от вечной спутницы их – тесноты. Но где, скажите, тот пророк, который мог бы предсказать судьбу послевоенного поколения? Пророка нет; и как же мало здесь осталось людей из того послевоенного поколения: разметало их по стране; лежат теперь выходцы из многодетных семей с верховий Неручи на погостах вдали от родных мест, а просторные дома их родителей доживают свой век, сохраняя верность корням своих бывших хозяев. Не от работы люди уходили, а от бедности, с надеждой, что их семейная жизнь на стороне будет лучше. Да, работы они не боялись, сельский житель уже с детского возраста был в неё втянут, с весны до осени он в поле и на лугу.

Судьба эта не обошла стороной и наших героев. Уже с детских лет они помогали в домашних делах. Самыми напряжёнными были летние месяцы, когда работы напывали одна за другой, и людям не хватало длинного светового дня, чтобы с ними управиться. Вот они – их огороды, с весны ещё черные, а потом все, от одного края деревни до другого, зелёныезелёные, обработанные сохой и тяпкой;

ниже огородов и до самого истока всё прибрежные луга, в которых поднимаются травы – скоро они позовут косарей. У людей не больше недели, когда надо заготавливать торф. Упустишь время – замерзает, нерадивый, тебе и твоей семье в стылую пору, потому что, кроме торфа, русскую печь будет нечем топить: на уголь моды ещё не было, как не было и денег на него, а дрова заготавливать негде.

Добывать торф – работа тяжёлая, но она была и праздником: когда человек видел, что день ото дня решается его проблема с топливом на предстоящую зиму, даже в состоянии большого физического напряжения душа его отдыхала. Уже много лет о заготовках торфа для личных нужд редко даже вспоминают – около полувека, наверно, как начали отдавать предпочтение углю: как же, завозят исправно и разных сортов; и, самое главное, не надо с утра до вечера проливать пот, и есть за что купить – у сельского жителя появились деньги. Спроси сегодня у деревенских мужиков, как заготавливали торф для дома их отцы – не каждый сможет рассказать, и вовсе ни один вам не покажет лопаты и резаки, которые использовались на этой работе – они давно сданы как металлолом.

После отцовских похорон Кондрашов заглянул в один из сараев, где в своё время хранился заготовленный торф, а потом уголь; и под крышей, на полке, увидел весь этот набор: поржавевшую лопату для нарезки торфа вертикальным способом, её называли штыковой, – прочную, наточенную, – насаживай ручку и работай; там же лежала ещё одна, но уже для нарезки горизонтальным способом, – эту называли подъёмной, – и к ней резак.

И всётаки копать торф выходили как на праздник. За день перед этим отец резал барана, мать заделывала небольшую кадучку кваса – тяжёлая работа на протяжении нескольких дней требовала хорошего питания. Уже с утра вся деревня на торфяниках – они тянутся вдоль Неручи широкой полосой на много километров, по ручьям расходятся в разные стороны. Вместе со всеми и бригадир Андрей Иваныч, который организует всю работу и, конечно, будет копать для себя. Бросали жребий: какому концу деревни отмеривать первому; и сажень в руках бригадира на-

чинал кивать: вверхвниз, вверхвниз; две сажени в длину, одну – в ширину кивалка отмеривал на каждый дом уже по списку, составленному заранее. Этот надел почему-то называли дачей; копай, дачник, не ленись!

Чтобы добраться до торфа, надо сбросить верхний слой – это, как правило, зола, потому что когда-то он здесь горел, возможно, во время последней войны, а может, и раньше. Хорошо, если тебе повезёт, и слой этот окажется небольшим. «Не повезло», – опечалилась однажды мать, когда приступили к работе и сняли верхнего грунта на три штыковых лопаты. «Это не много, – возразил отец. – Туда дальше – ещё больше. У последних будет не менее метра: я вчера по всем прошлогодним копаниям прошёл, да и вода там близко». Копани – это выработанные дачи; верхний слой в них и сбрасывали: выработанные на всю глубину, до синей глины, а это в некоторых местах до трёх метров, они стояли – какие пустые, в каких поблёскивала вода. Здесь уже таилась опасность: грунтовые воды могут прорваться в дачу и не дадут выбрать весь торф.

Самая главная работа начиналась, когда добирались до торфа. Отец из торфяных лопат горизонтальную не любил: для неё надо было кирпичи нарезать, а потом уже подрезать ею снизу и выбрасывать наверх, где стоял человек, который должен был их ловить. Отец предпочитал работать штыковой – она двухсторонняя, под прямым углом; а ещё пристраивал сверху небольшой крюк – он удерживал кирпич на лопате: поставил её, ногой надавил – и кирпич готов. Чем ниже, тем мягче торф, и лопату уже можно было не придавливать ногой: если сильные руки, а они у отца такими и были, – придавил руками, чуть наклонил её от себя, в любую сторону, чтобы кирпич в торце отслоился, и кидай наверх его. Мать ловила и укладывала на тачку. Отец не спешил, движения размеренны и точны. Тачка загружена, и мать откатывала её подальше от дачи, складывала кирпичи в клетки. «Иван, лови!» – это отцовское предупреждение уже в его адрес, чтобы он не зевал. Пока мать с тачкой в поездке, Иван на подхвате; тачка у дачи – снова ловила мать; потом снова Иван.

Отец садился перекурить, попить кваску, а они возили, что наловил Иван. Клетки чёрными рядами тянулись по бугру. «Хорошо, – говорила мать, – на просторе, ветер быстро высушит». Иван оглядывался по сторонам – то налево, то направо: по всему торфянику люди – все в работе, каждый занят своим делом. Вот где скопилась сегодня народная сила: одни отвозят добытый торф на тачках, другие на лошадях, запряжённых в повозки; крики, смех, разговор, детский плач и скрип тачек и повозок; все весёлые и разгорячённые, нарядные – пожилые женщины и молодки, и совсем молодые девки; и мужики, по пояс голые и в рубахах, мокрых от пота, с придыхом намахивающие в глубине дач под нависшим над ними солнцем. Солнце одно на всех, и всем видно, как идут дела у соседей. Редко кто отставал, все вровень – судили по клеткам. Стоять им было суждено в торфяниках всё лето. Правда, ещё один раз туда должны были прийти люди, чтобы клетки переложить; потом ещё раз, и тоже по хорошей погоде, – это чтобы всё просушенное сложить в небольшие ометки, которые перевозили и прятали под крыши уже в погожие августовские вечера, зорями. А днём им заниматься торфом было некогда: люди парились на колхозной работе.

Солнце над торфяниками как застывало, уже несколько часов подряд пытаясь остановить сведённую в кулак народную силу, и наконец ему это удавалось. Команды никто не давал, но, как по команде, замирали тачки и повозки, и тише делалось вдоль дач, и не пестрели перед глазами цветастые кофты и юбки: людей звал к себе обед. И еда крестьянская по времени была у всех всегда одинаковая; стелились на траве скатертки или клеёночки, на них выкладывались варёная картошка и сало; яйца, баранина, свинина или курятина – тоже всё варёное, зелёный лук, надёрганный с грядки перед самым уходом из дома. Ясно, что они ели баранину; Иван всё больше налегал на блины – мать ранорано напекала их тарелку с верхом, хорошо промасливала, пересыпала сахаром, и всю эту стопу разрезала на четыре части. Отец выпивал полный маленьковский стакан водки, закусывал, как работал: аккуратно и размеренно. Мать наливала из четырёхлитрового алюминиевого

бидончика кваса – он пенился, с шумом ходил по кружке кругами, пытаясь убежать через край.

Долго за обедом не сидели, потому что впереди всегда был полдник, во время которого перекусывали всё тем же солёным прослоистым салом, с хлебом и луком; а мать успевала сходить подоить корову на стойле, которое на эти дни располагалось за маленьким ручьём, совсем рядом с торфяниками, и они вышивали по кружке парного молока, тоже вприкуску с хлебом.

Даже солнце уставало висеть над торфяниками, где к вечеру каждого дня клеток прибавлялось и прибавлялось, – оно скатывалось за торфяники, к истоку, и как бы любовалось работой людей со стороны. И люди не железные, усталость брала своё; они неторопливо собирали всё, что принесли с собой: лопаты прятали, присыпав их золой, тачки загоняли в заросли крапивы, за копанями, посуду складывали в сумки и, погромыхивая ею, отправлялись к дому налегке, чтобы утром снова быть здесь.

И вот уже многоного лет не слышит мелководная Неручь на этих торфяниках человеческие голоса – их унесло время, как уносит свои светлые воды мелководная Неручь. Будет ли ещё здесь востребован людьми торф как топливо, придут ли сюда его добывать, даже если случится большая беда, в масштабах государства, – однозначного ответа никто из наших героев не даст. И сколько течёт Неручь, не скажет никто. А начинается она среди торфяных болот, из маленьких говорливых родничков, спрятанных в лозняковых зарослях, под корявым сушняком. И слышат люди по тихой погоде, как бегутперезваниваются светлые струйки воды, сливаясь в один большой ручей и раздвигая его берега. Но сил не хватает, и вода на узких местах недовольно шумит, продолжая свою тяжёлую работу: подмытые берега и глубокое русло – не рук человеческих дело.

Время не стоит на месте – позади столетия. Идут по жизни люди – со своими радостями и заботами; их преследуют беды – и в масштабах государства, и свои личные, которые никогда не оставляли человека в покое, а потому и не всегда им дышалось легко в этом благодатном краю, на своей малой родине. Среди них и герои нашей повести

об украденной любви; их судьбы пересеклись уже в другом времени, далёком от набегов татар и не очень далёком от больших потрясений двадцатого века. И на этом новом отрезке времени они всё так же вместе, в своей родной Васильевке. Над ними всё так же проносятся ливни; это они тёплыми летними зорями сходятся возле какогонибудь дома, сидят на лавочке и говорят, говорят обо всём на свете. И, надо думать, слушают не только друг друга; они слышат, как хлопочет за огородами коростель – ходит тудасюда, и дверь в его доме не хлопает, а скрипит, – значит, он весь в делах; там же, в луговине, откликнулся обеспокоенный чибис – спрашивает, чьи, мол, они такие, как будто видит их в первый раз; на дальнем перегоне, перед остановкой, гуднула последняя электричка, а через минуту донеслось, как она трогается и набирает ход.

Скоро от речки, прямо через огороды, дохнёт прохладой, приправленной запахами свежескошенной травы: кто скошил, кому – пока неизвестно; с пасеки деда Дулепа потянет медком – медонос и сенокос всегда идут рядом, как два родных брата. Точно так было по всему и сто лет назад: пчёлами занимался и деда Дулепа дед, и косарём он был непревзойдённым.

Всё это их малая родина; и, значит, из таких вот заповедных уголков, малюсеньких, знакомых им до самой последней кочки на лугу, до самой узенькой тропинки к родничку и дальше, через речку, которая местами по колено воробью, и состоит их большая Родина. Ещё недавно была она намного больше, величественней и богаче, но случилась беда в масштабах государства, и многое в новой стране уже не так, как было и как им грезилось во сне и наяву. Сколько же деревень уже опустело по берегам Неручи, и сколько ещё опустеет: в тех, что сиротливо щурятся на солнце из зарослей бурьяна, жизнь угасает с каждым прожитым днём. И всё это происходит у них на глазах.

Пусто и неприветливо в осенних полях: не шумят машины, не слышно человеческих голосов. Низинный

влажный ветер на невспаханных, оставленных до весны полосках старательно прочёсывает жнивье, до самого обеда тянет над зябью серые клочья холодных туманов. О чудных днях промелькнувшего лета, о красоте осенних просторов одни воспоминания. Последним потерял свою привлекательность двухсотгектарный Аркашин бугор, на котором долго оставалась бельмом на глазу светившая тёмнозелёной ботвой полоска сахарной свёклы. Это была последняя «горячая точка», так как работа шла трудно, старенькие, изрядно потрёпанные комбайны не ладились, но всётаки до затяжного ненастья люди сумели управиться. И, как вздох облегчения, проявился после этого одинединственный погожий и безветренный день; а потом синее небо заволочло тучами, они опустились ниже, даже казалось – цепляли за макушки высоких старых тополей, обступивших школу, и мелкий холодный дождь приступил к своей извечной работе в преддверии уже недалёкого зимнего нашествия. « Повезло, – думал тогда Кондрашов, – а ведь свёколка могла уйти под снег».

После отцовских похорон, проводив Сергея и Ларису в Москву, Кондрашов с головой погрузился в хозяйские дела – они затемно уводили из дома и до поздних вечерних сумерек держали его в напряжении. Казалось бы, прошла горячая пора полевых работ, когда ценилось только время, которое неизменно компенсировалось намолоченными тоннами, вспаханними гектарами; и наступили дни умиротворения, обычные осенние дни с возможностью оглянуться назад и подумать наперёд уже с иных позиций, в более спокойном ритме. Кондрашов такой целью не задавался, но дела, требующие его вмешательства, сами по себе втягивали в их спокойное течение.

Ему не жаль было переработанных дней и ночей; он не сожалел, что нередко за весь световой день не садился за обеденный стол, что дома, как говорила Маруся, он был уже как квартирант, даже хуже того; и ещё много чего он мог причислить к лично потерянному в эту горячую пору, о чём так же ни разу после её завершения не пожалел. Единственное, что его мучило постоянно, – это чувство вины перед отцом. В самый последний день своей жизни

отец подоброму, ласково так поманил его тогда к себе пальчиком, а сын не пришёл. Не понял? Да чего тут понимать, если за свою жизнь отец много раз так подзывал его к себе – и в детстве, и когда он был уже взрослым. Он понял теперь и другое: случившееся непоправимо, и вину не искупить.

Картины того осеннего дня в памяти до мельчайших подробностей: просёлок с поздними цветами, со скирдом ячменной соломы, на котором отдыхает большая серая птица; синее небо, с одной стороны просвеченное солнцем, а с другой – загромождённое тяжёлыми, грязными облаками.

Уже тогда его что-то тревожило, он терзался в разгадках своего душевного состояния, но ни одно из его настроенных чувств не сработало, не прозвучал тогда сигнал тревоги, тот самый SOS, который дал бы нужную команду. Он подумал тогда совсем о другом, и поехал к другому дому, где его также ждали в любое время дня и ночи. Самое главное, это чувство вины преследовало его постоянно и заставляло избегать какихлибо встреч с Натальей: он перестал приезжать к ней домой, на ферме старался обходить стороной; если она приходила со Снегурочкой к ним и заставляла его дома – делал всё, чтобы не быть с нею рядом: скрывался в спальне или находил какуюто работу в гараже. Но все эти действия не приносили ему никакого облегчения, даже было ещё хуже; и тогда, чтобы как-то избавиться от свалившегося на него тяжелейшего душевного недуга, он стал искать утешение среди друзей.

Чаще всего Кондрашов уезжал в райцентр, потому что многие вопросы он мог решить только там. Но и райцентр уже не был похож на самого себя и его душевному выздоровлению не благоприятствовал. Ещё недавно в нём насчитывалось более полусотни юридических лиц, которые предоставляли людям работу и платили исправно налоги. Среди промышленных предприятий флагманом считался конденсаторный завод, через проходную которого каждое утро проходили около тысячи рабочих. Остальные были рангом ниже, но и они надёжно крепили союз серпа и молота; и ничего, что оборудование того же маслодельного

или консервноовощесушильного завода было устаревшим, зато продукция выпускалась экологически чистая и неизменно пользовалась спросом.

А ещё дымили трубами три асфальтобетонных завода; шесть механизированных колонн строили жилые дома, детские сады и школы, магазины, животноводческие помещения, автодороги. И вдруг весь этот отлаженный механизм начал давать сбои, а потом и вообще замер. Люди перестали ходить на работу, тем самым пополнили нефинансируемую армию безработных. Остановились станки и машины, которые тут же кому-то продали, перепродали, порезали на металлолом.

Опустели производственные помещения районных отделений «сельхозтехники», «сельхозхимии» и ещё некоторых организаций помелче, предоставляющих колхозам и совхозам различные услуги. Словно злой старик Хоттабыч, в своём стремлении отомстить людям за нанесённые обиды, творил и творил на этой искони русской земле серединой России несправедные дела.

Конечно, всё, что происходило в районном центре, достаточно хорошо вписывалось в общую картину страны; и действующая власть не считалась с мнением людей, которые проявляли какое-либо несогласие с проводимыми ею реформами, да и с людьми тоже. Реформы продвигались со скрипом и желаемых результатов не приносили, скорее, получалось наоборот. и в это непонятное время такие, как Кондрашов, считали себя в какой-то степени заложниками новой власти: им ничего не оставалось делать, кроме как безропотно выполнять волю тех, кто состоял в заговоре со стариком Хоттабычем. В райцентре дороги друзей всегда пересекались: проблемы были у каждого, и, справившись с делами, Кондрашов с компанией находили место за забором какой-нибудь обанкротившейся организации и, сидя в машине, выпивали по любому поводу: за встречу, за здоровье, за советские праздники, которые попрежнему им были дороги; поминали тех, кто погиб на родных высотах во время войны и после неё; и тех из друзей или родных, кому поставили гранитные памятники совсем недавно, как, например, его отцу.

Но не только это непомерно тяжёлое чувство вины, раз-
раставшееся в нём с похорон, словно злокачественная опу-
холь, заставляло его вести такой разгульный образ жизни.
Он не был слепым: он видел и чувствовал сердцем, что На-
талья – его любимая, милая, добрая, желанная Наталья –
чувствует себя не совсем хорошо; что ей не легче, и она
также ничего не может поделать с собой; а виноват здесь
только он.

Кондрашов метался в муках до глубокой осени. Трудно
сказать, как бы складывались их отношения дальше: угас
бы, нет ли в них сам по себе тот самый огонь украденной
любви, который светил им, грел их уже много лет; взять
же на себя смелость затушить его ни Кондрашов, ни На-
талья, всего скорее, не смогли бы. Но в этих невесёлых
днях судьбе угодно было распорядиться посвоему.

Остались позади просвеченные скупым солнцем первые
ноябрьские дни. На Казанскую пролил небольшой до-
ждик; недалеко был Дмитриев день, и Маруська, ходившая
на кладбище привести в порядок к родительской неделе
могилки, под этот дождик и угодила – свалился на го-
лову неожиданно, из появившейся невесть откуда тучки, и
холодныйхолодный. Кондрашов приехал домой уже в по-
тёмках, хорошо выпивши, и особого значения не придал,
что жена слегка покашливала, куталась в пуховик, хотя в
доме был нормальный плюс, а батареи водяного отопления
несли и несли живое тепло. Утром она встала с трудом, вся
потная, ослабевшая, и Кондрашов, не раздумывая, увёз
её в больницу. Там определили сразу: воспаление лёгких,
надо ложиться, к чему, кстати, они были готовы.

Он отвёл Маруську в отделение, сложил в тумбочку всё,
что она взяла из дома с собой, и, собираясь уходить, шут-
ливо спросил:

– Живность как прикажете кормить, и чем?

Она слабым голосом, словно через силу, засмеялась:

– Раньше сам всё знал.

– Это было раньше.

– А поросята что раньше ели, то и сейчас. Свари картох,
сыпани посыпки, плесни воды, – потом помолчала самую
малость и добавила: – А себе-то, знаешь, как варить?

Кондрашов улыбнулся на её вопрос, но сказать ничего не успел; она продолжила:

– Ты вот что, Вань, сделай: пусть Лариса с Алёнкой поживут с тобой. А ещё скажи свахе Наталье, пусть приходит к вам – всё будет лучше: она в делах домашних попрактичней. Понял?

Что думала Наталья, говоря эти слова, было известно только ей одной; но в эту минуту ничего тревожного не отражалось на её лице, она улыбалась; и добавила, легонько ущипнув его за нос:

– Только, Вань, смотри,... я проверю.

Сказала – как предупредила.

– Понял, – и он кивнул головой.

В этот же день, в обеде, когда Лариса и Алёнка ещё были в школе, Кондрашов поехал на посёлок: знал, что Наталья будет дома. Вошёл без стука, но для Натальи это не стало неожиданностью: видела в окно, когда он подъехал. Спросила, как ему показалось, с холодком:

– Ехалто – не боялся?

На вопрос ответил вопросом:

– А когда я боялся?

Кондрашов свой голос не узнал: хриплый, виноватый.

– А чего же пропал, глаз не кажешь?

Он всё так же стоял возле порога и молчал; что мог сказать он человеку, которого любил и без которого не представлял своей жизни, ради встречи с которым променял последний, уже предсмертный час отца.

– Не побоялся, потому и приехал. Без тебя тяжело, а с тобой ещё хуже.

– Чего так?

– Так вот и получилось. Ты помнишь, когда умер отец, а я у тебя был?

– Да.

– В тот день отец меня позвал, а я к тебе поехал; и до сих пор простить себя не могу: он же звал меня к себе, понимаешь? Пальчиком поманил так: иди, мол; а я – к тебе.

– Вань, я сама мучаюсь, что украла тебя у семьи. Я самая последняя тварь: ведь твоя мать меня приветила, Марусяка ко мне, – как родная, а я чем отплатила, а? Мне что де-

лать теперь, если я жить без тебя не могу, и только поэтому Алёнку пустила на свет? Я дура; мне надо было голову отбить, что первого нашего порешила. Я, Вань, ещё не особо старая и готова ещё себе нарожать – от тебя. Подумаешь, вон Нюся в шестьдесят лет двойню выкинула, а я теперь готова и тройню выносить ради тебя. Губить не стану, я оставляю – пусть живут; а значит, и я жить буду и видеть в них тебя, даже если тебя не будет рядом. Но я виновата не потому, что хочу тебе зло сотворить: я люблю тебя, а ты ушёл от меня после похорон и тем самым убиваешь меня.

Наталья стояла перед ним, как на исповеди, и говорила, говорила; в руках смятый платок, на лице отражалось всё сокровенное, о чём она говорила, и всё невысказанное, что ещё лежало в глубинах её души.

– Вань, я понимаю тебя, потому и терплю. Но лучше сразу убей меня, чем так убивать – изо дня в день, каждый час, каждый миг. А сама себя я не порешу теперь, как раньше хотела.

Кондрашов подошёл к ней, взял её руки – они были много меньше, с хрупкими дрожащими пальцами – и погрузил их в свои большие ладони, покрытые загаром летних знойных дней, загрубевшие от ветра и дождя и хранившие в себе автомобильные запахи. При всём различии их руки имели разьединственную, но весьма существенную схожесть: они были одинаково согреты всё тем же огнём украденной любви.

Ещё много похорошему теплых, искренних слов было сказано ими в тот благословенный час, ещё больше их было не высказано, и они остались лежать в глубинах души в ожидании своего звёздного часа; но теперь взаимоотношения их наладились, и ничто не омрачало повседневную жизнь наших героев. Наталья каждый день приходила к Ивану, хлопотала по дому, во дворе. Лариса и Алёнка за то время, пока Маруська лежала в больнице, прижились в этом доме – им было легко и весело, а так легко и весело бывает в таком возрасте только совсем счастливым людям.

Иван стал раньше прибаваться к дому, обедал с ними. Все вместе они дважды ездили в больницу к Маруське, на

проведки; и она осталась довольна, что с хозяйством всё в порядке, тем более что Иван стал чаще бывать дома, а это означало: её муж приводит себя в норму. На исходе второй недели Маруська позвонила – голос весёлый, бодрый – и попросила приехать за ней, мол, завтра выпишут. Кондрашов сразу же объявил, что поедут все вместе.

– Ура! – обрадованно закричала Алёнка.

Лариса отнеслась к этому спокойно: поедем, значит, поедем; она больше обрадовалась за Снегурка, которая любила с крёстным кататься.

Наталья Алёнку опечалила:

– Нет, Снегурок, мне и Ларисе завтра некогда – дома работы много, а ты должна нам помогать. Крёстному без нас удобнее будет.

Что сказала, то и сказала, другого не могла. Завтра сюда она вообще не придёт: и так целых две недели тут, словно одной семьёй. Народ всё видит; скажут, выжила Маруську. Нетнет, свой дом пустой.

От Алёнкиной радости следа не осталось; Иван сдёрнул к переносице чёрные брови – первый признак его недовольства – и ничего не сказал: он, в общем-то, понял Наталью, а уговаривать её не видел смысла, так как откровенного разговора, по его мнению, всё равно не получилось бы. Но наутро Наталья неожиданно передумала: пусть люди что угодно говорят, но раз Иван так считает, то и сомневаться ей не следует.

В обеде они уже были в больнице. Иван пошёл поговорить с врачом, Лариса задержалась в вестибюле – встретила однокурсницу, а Наталья с Алёнкой прошли в палату.

– Мы за вами, тётъ Марушь, – и девочка легко порхнула к ней, стоящей около кровати, обхватила ручонками.

– Я вас уже жду, выписку мне оформили, – сказала радостно Маруська и погладила её по голове. – А где Иван?

– Пошёл к врачу, получше узнать хочет про твою болезнь, – доложила Наталья. – Сказал, его не ждать.

– Значит, не будем, – удовлетворённо согласилась Маруська.

И они направились к выходу; в руках пухлые пакеты с её вещами, с пустыми банками, ложками, чашками.

– Пришла сюда с одной сумкой, а пока полежала, глянь, сколько нажила, на возу не уместится. – Маруська высмеивала сама себя, как бы осуждала за свой непристойный поступок. – Всё везли, везли; ведь говорила же: не надо.

В вестибюле Лариса забрала у Маруськи пакеты, и все сразу погрузились в машину, которая стояла недалеко от центрального входа. Маруську интересовали новости, и они рассказывали – кто что знал, даже Алёнка протараторила о двоечниках из своего класса. А пришёл Иван, и они поехали – в машине сделалось веселее, шума прибавилось. Все рады были встрече; им было весело, что Маруська выздоровела и едет домой; что вот на пороге замаячил сквозь редкие белые хлопья декабрь, а там недалеко и Новый год, который принесёт им новые надежды на такие же удачные дни, каким был этот и каких уже немало затерялось в прошлом.

3

В ожидании новогодних дней всегда появляется волнительная прелесть чего-то таинственного и важного; и человеку, по складу его характера, свойственно надеяться в этом ощущении праздности на очередной подарок судьбы: мол, было у тебя, добрый человек, много всякого, не просыхали глаза твои от горьких слёз, но ты особо не страдай и живи надеждой – впереди у тебя светлые, замечательные дни, которые высушат слёзы, успокоят душу и сердце. «Да, да!» – подсказывает ему разум. Но как же больно человеку, если он остаётся обманутым в этих безбрежных просторах земного бытия; и на какоето время ни радости, ни устремлённости в мечтах; и снова слёзы горькие печалей от потерь чего-то важного, продляющего век.

Такая вот человеческая жизнь; но ещё хуже, если бывает она такой не только в преддверии новогодних торжеств. И тогда снова надежда, и вера в добрые дела – они никогда не покидают человека и продляют ему век земной; а если он молод и в душе романтик – такое будет у него даже изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Иван Дмитрич Кондрашов перелистывает их вместе со страницами своего

настольного ежедневника; и короткие, на первый взгляд, бессвязные записи в нём напоминают о каких-то важных на тот момент событиях из жизни родной деревни, прямо или косвенно связанных с его, Кондрашовской жизнью. Ежедневник изрядно потрёпан, исписан беспорядочно и многоцветно: он служит ему верой и правдой уже много лет. Полистаешь его страницидни и сразу припомнишь недуги и несчастья за много лет и зим, потому что это история болезни всего колхоза, его родной деревни, переживающей настоящую агрессию со стороны... да нет, со всех сторон. Некоторые свои записи Кондрашов без улыбки читать не может. Вот одна из них: «Васька был пьяный». Это он о Березуцком записал, чтобы не забыть к концу года, когда начисляют премии по итогам полевых работ. И хотя день был праздничный – 9 Мая всётаки, а всё равно записал: Васька то уже на наряде, утром, был такой, и на машину посадили другого человека.

А вот другая запись, уже недавняя – они только отметили Алёнкин день рождения и одновременно встретили Новый год: «Горел телятник, по страховке – срочно». Кондрашов и без записи хорошо помнит, как поздно вечером запыхал тот самый телятник, в котором работала Наталья. Огонь пошёл гулять из кочегарки, где стоял водогрейный котёл, работающий на печном топливе. Сколько времени он силу набирал там при закрытых дверях, никто сказать не мог, но малопомалу вырвался на простор через потолок, минуя каменную стену помещения, в котором находились телята. С новой силой пламя рванулось по фронтону вверх, до конька; как сухой порошок, с невообразимым треском загорелись под шифером хвойные доски; источая запах горячей смолы и нефти, отбрасывая клубы чёрного дыма, всё жарче и жарче разгорался и плавился изоляционный слой из рубероида, накалялся шифер.

Кондрашов в это время подъехал к Натальиному дому, рассчитывая вечер провести у неё: знал, что Лариса теперь в Москве, с Сергеем, Алёнку на зимние каникулы вытребовала к себе Настюшка, и Наталья оставалась дома одна. Он заглушил мотор, выключил свет, намереваясь выйти из машины, но вдруг услышал далёкий, непонятный для него

треск – так взрывались в новогоднюю ночь заряды праздничного салюта и петарды; потом ещё один треск, такой же силы и в той же стороне, где располагалась ферма, и тёмное небо сделалось розовым. Кондрашов захлопнул дверцу, и уже через считанные минуты он бежал от машины к воротам телятника. Пылало внутри кочегарки; пламя взвивалось по фронтону и дальше, по коньку крыши; от высокой температуры рвало на мелкие осколки шифер. Свет в помещении давно погас, но фонари, висевшие на столбах, светили.

Он распахнул ворота – навстречу жар, едкий дым, испуганное мычанье телят. В дальнем углу, примыкающем к кочегарке, потолочное перекрытие уже прогорело и роняло на животных первые шапки огня; в другом углу, где стоял электромотор навозного транспортёра, искрило и потрескивало – очевидно, замыкали провода. Кондрашов метнулся назад.

Народ уже сбежался на пожар.

– Либо от котла загорелось, а я только отошёл в коровник, – виновато оправдывался Севалкин, который на зиму определялся на ферму слесарем, и это была его смена.

– Разберусь! – рявкнул на него в горячке Кондрашов. – Быстро отключи везде свет. Знаешь, как?

– Знаю, – и Севалкин рванул к трансформатору.

– А вы за мной, надо телят выводить! – почти закричал Кондрашов, и несколько человек вместе с ним скрылись в воротах. Они быстро резали верёвки, которыми животные были привязаны к кормушкам, и, напуганных, упирающихся всеми четырьмя ногами, с трудом вытягивали их наружу. Дышать было тяжело, забивал кашель, слезились глаза: дым стремительно заполнял помещение.

Кто-то из деревенских раньше всех увидел, что на ферме большое возгорание, услышал треск рвущегося на части шифера и позвонил в пожарную часть, тем самым спас помещение и животных, – своими силами отстоять всё это добро они бы не смогли. К телятнику с пронзительным воем сирен подскочили две пожарные машины; их боевые расчёты отлаженными действиями, без какойлибо суеты, быстро протянули длинные рукава, моторы заработали на

повышенных оборотах – и, придавленное пенистой водой, пламя сразу же стало спадать, только прибавилось шипения и дыма. Но ещё долго, до полуночи, проливали они торцевую часть прогоревшей крыши и потолочное перекрытие, высматривая: то ли дым поднимается кверху, то ли пар, и не затаился ли где под навозом или в обгоревших брёвнах до поры до времени жар, чтобы спровоцировать повторное возгорание.

Севалкин, довольный собой от сделанного, – как же, с председателем тушил пожар и спасал телят! – всё хлопал по грязной, продымленной куртке такими же грязными руками и приговаривал:

– Проявил бдительность и смелость, так что мне полагается медаль «За отвагу на пожаре».

В том самом ежедневнике, Кондрашов ещё называл его поминальником, были записи и на Севалкина: одна – по тому же поводу, что и на Березуцкого, другая читалась, как приговор: «Севалкин пропил решёта». Когда Севалкин после объяснения в кабинете у Кондрашова вернулся на своё рабочее место, к сортировальным машинам, а это было в уборочную, встретил его Кулачок:

– Похвались, что тебе сказали?

– Как всегда, – невесело признался Севалкин. – Премию выписали и сказали: вернуть на место. Неудачник, одним словом.

– Кто? – засмеялся Кулачок. – Ты или он?

– Обои.

Севалкину тогда было не до смеха.

Пожарные свернули рукава, дали несколько важных советов и уехали, а Кондрашов всё ходил вокруг обгоревшего помещения и с горечью думал о том, что удача снова отвернулась от него, и что совсем плохо начинать новый год с такими неприятностями. Потом он пришёл к мысли, что это судьба уготовила ему ещё одно испытание. И хотя река времени всё дальше и дальше уносила его от пожара, но память сохраняла до мельчайших подробностей события того вечера; он продолжал жить с неприятным ощущением от случившегося, ему были в тягость свалившиеся новые заботы, которых у него и так была целая пропасть.

– Плохо, когда удача отворачивается от человека, – сказал ему дед Илья, когда Кондрашов в один из дней, незадолго перед майскими праздниками зарулил на посёлок, – будешь делать всё так же, но не будет получаться. А пойдёт беда – открывай ворота.

И, увидев, как после его слов Иван вдруг потемнел лицом, он тут же поправился, пытаясь как-то сгладить суровую правду сказанного:

– Я не пророчу, Дмитрич, но такая вот примета в народе и живёт. Это значит: беда за бедой ходит.

Моросил мелкиймелкий дождь, словно кто-то невидимый, спрятанный в низких тучах, просеивал через мелкое сито скопившуюся там после половодья влагу. Сидеть в доме они не захотели, а устроились под навесом, сооружённым для хранения дров: дед Илья их за зиму истратил, и теперь стоял там небольшой стол, сколоченный из нескольких тесин, и две узкие скамейки, – как определил Кондрашов, делалось всё это на скорую руку.

Тогда всё больше говорил дед Илья – он как бы спешил выговориться, выплеснуть наружу накопившееся в нём за время одиночества.

– А ты особо не расстраивайся от моих слов. Я, мил человек, скажу тебе другую народную мудрость, по которой живу сам, а слышал её, может, полвека тому назад от стариков. Они говорили, что не велика беда, коли влезла в ворота, то есть её перенести, пережить можно. Однако давно я тебя не видел, давно, – продолжал припевать старик; а сам неспешно топтался возле стола – то с одной стороны, то с другой, убирая с него всё ненужное, лишнее, что могло бы им помешать во время беседы. Сходил в дом и, когда на столе появились выпивка и закуска, жестом пригласил:

– Теперь, Дмитрич, ближе к столу.

– Да я, дед Илья, сегодня неплохо пообедал, домой за-скакивал, – сказал Кондрашов, но отказываться не счёл нужным: старик мог обидеться; а тот и впрямь как не слышал его:

– Недалого царства нет; да ближе, ближе к столу: полдничать будем; однако, скажу тебе, это не еда, а закуска.

Бутылка у Ильи в руках; и в наступившей тишине было слышно, как в рюмках забулькало.

– Помянем предков давай. А вообще, народу ушло много: и молодые, и старые – все туда, оттуда никого.

– Закон природы, – сказал Кондрашов. – Так жизнь и проходит.

– Не так всё, как ты вот думаешь, – возразил старик. – Это мы приходим и уходим, а жизнь остаётся.

– Ну и философ ты нынче, – засмеялся Кондрашов.

– Это я от одиночества, – откровенничал дед Илья, – всё один да один. Правда, коекогда к Наталье схожу за новостями, а так всё как в лесу живу, пню молюсь.

– У тебя телевизор есть, радио.

– Не смотрю я его, – с огорчением признался старик, беря бутылку; в рюмках снова послышалось бульбуль. – Из него одна агрессия идёт: стреляют, режут, воруют, матом ругаются. А радио как замолчало два года назад, так и до сих пор ни слова, одно шипенье из него. Мне без них лучше, как бы спокойнее.

– Про погоду бы послушал.

– А что мне про неё слушать, я без них знаю, когда дождь придёт или снег выпадет. Мне вот на тебя посмотреть давно хотелось, и послушать, а ты всё помалкиваешь.

– Не молчу я, – засмеялся Кондрашов. – А что не заезжал – на то были причины.

Но дед Илья разошёлся не на шутку.

– Смотрю: дороги вроде бы обдуло; слышу: на полях загудело, – значит, поехали; значит, думаю, живой и жить собирается дальше. Но посмотретьто на тебя хотелось, вот, думаю, заглянет. Я, признаться, сам уже собирался идти, но вода не пустила старика, да и духу что-то не стало хватать. Некогда ему, – в словах ирония. – Загружай специалистов – пусть работают, а их у тебя, мил человек, в колхозе – волк за ночь не порежет.

Кондрашов сидел напротив него, слушал, не перебивая; и всё больше утверждался в предположении, что за то время, пока они не виделись, – а последний раз он был здесь зимой, когда приезжал поздравить его с днём Советской Армии, – у деда Ильи произошли какие-то вну-

тренние изменения. Они угадывались в его речи, в жестах, но более всего – во взгляде его выцветших глаз: он стал более спокойным, в нём словно прибавилось доброты, хотя Кондрашов никогда не видел в этих глазах что-то другое, что отталкивало бы человека. И он вдруг улыбнулся на слова старика о специалистах, что также не прошло незамеченным.

– Улыбайся, улыбайся, но я знаю, что говорю. Людей в колхозе убавляется, а начальников – глянь, сколько наплодил. Посчитай, сколько работников у тебя пашутсеют, сколько за коровами ухаживают, и сколько у тебя таких, которые ничего не производят, а всё вокруг да около и есть просят.

Кондрашов заёрзал на лавке:

– Без них тоже нельзя, работа всякая должна делаться.

– Должна, спору нет. Но ты не глупый же, и должен видеть разницу во времени. Сегодня нас ведут туда, где мы были до семнадцатого года: заводы, фабрики, земля – всё в частные руки. Государство бросило деревню, ему колхозы наши не нужны; а вспомни, как оно помогало здесь живущим при советской власти, допустим, лет пятнадцать назад, какие кредиты получали.

– Давало, – и он согласно кивнул головой. – Кто сильнее – рассчитывался, а с убыточного взять было нечего. Но в должниках такие долго не ходили – списывали, хотя, кажется, были и вечные должники: старые долги им прощали, чтобы могли новые кредиты оформить.

– Вот я и говорю: кто тебе сегодня даст беспроцентный кредит? Никто, кроме нас, конечно, пенсионеров. При советской власти всё делалось с размахом; посмотри, какие постройки стоят: склады, коровники, мастерские, как дворцы какие. Нам сегодня ещё служит всё советское: поезда, рельсы, электрические столбы, провода, дома и всё, что в них, потому что был гарантийный срок, а ещё запас прочности, – могу предположить, тоже с гарантией. Что хорошего у нас будет впереди – не вижу, не просматривается. Теперь ты ничего не строишь, денег не хватает даже на солярку и запчасти, на удобрения – это чтобы посеять вовремя; потом их не будет хватать во время уборки, – и так

до самого нового года. Замкнутый круг, из которого трудно выбраться. Трудно, но, как я мыслю, можно, и принимай мои слова за подсказку.

Кондрашов внимательно слушал, хотя многое из того, о чём говорил дед Илья, ему было известно в подробностях.

– А ты живи по средствам. Паши и сей сегодня ровно столько, насколько хватит духу, чтобы всё выращенное убрать, и вовремя. Это как я, допустим: не хватает духу – и не пошёл к тебе. А раньшето как бегал, а?

– У нас план на всё, дед Илья, нельзя не выполнять.

– А ты перепланируй. Ну что ты сеешь до морковкиных заговен, а потом выращенное убираешь на лыжах, когда и без того хилые посеы половину урожая уже потеряли на корню. Ради чего всё это? Ради десяти центнеров с этих последних трехчетырех сотен гектаров? Да сократи посевные площади, а оставшаяся земля пусть отдыхает, набирается сил в залежи, потом попарует. Придёт время – она тебе и без удобрений хороший урожай обеспечит: покупать их не надо будет, хотя, конечно, с удобрениями лучше. Пусть план по сеvu ты не выполнишь, зато по урожайности и намолоту, так сказать, по конечному результату своё возьмёшь. Выгода налицо. Самое главное, что ты технику обновил маленько, и её теперь надолго должно хватить, да и работа веселее пойдёт. Но живи по средствам, словом, по одежке протягивай ножки.

– Не знаю, до каких морковкиных мы сеем, но мы сеем и убираем. Не позволяй мне такую вольность – не выполнить план сева, – говорил он тогда старику. – С этим у нас в районе строго.

– Это в районе; а ты послушай, что говорят: вся страна зарастает бурьяном и лесом. Да эта власть специально ведёт к развалу, чтобы потом кто-то всё добро прибрал к рукам. Рукастых, Дмитрич, нынче, – глянь, сколько развелось: работать не хотят, а вот хапнуть жирный кусок так и норовят. Ты вот что, мил человек, – и дед Илья наклонился над столом, к нему поближе; взгляд с прищуром, в глазах лукавинка, – ты делай своё дело и никому не докладывай свою правду, а бумага всё вытерпит.

Они ещё долго говорили на эту тему; дед Илья приводил пример за примером: как работали с землёй его деды, по их рассказам, как вели своё хозяйство до коллективизации, будучи в единоличниках.

– И не вздумай распустить колхоз, раздать землю, – убеждал он Ивана. – Сегодня один человек ничего с ней не сделает, нет условий для этого: ни лошади у него, ни трактора, одна лопата и грабли. Единственное, что сможет, – это продаст или пропьёт, в противном случае – зарастут его гектары сорняками, как у тебя на Сахалине.

Сахалином называли тридцатигектарное поле за небольшим ручьём, впадающим в Неручь. Этот участок много раз пытались разрабатывать, но неудачно: низинное место после половодья долго просыхало, после сильных дождей туда технику тоже не загонишь, а в итоге поле было бросовым и заросло чем только можно было. «Всё знает старина», – без обиды подумал Кондрашов; а неожиданный вопрос старика снова возвратил его на Сахалин:

– Ну, вот что я буду с ними делать, если их мне выделишь? Да вдруг ещё на Сахалине?

У Кондрашова перед глазами ручей; за ним широкая пойма, которая тянется от невысокого берега до высоты, а по ней – разнотравье грубое да местами бурьян.

– Подсказывай, ты же начальник.

– Ты хозяин, ты и думай, что будешь делать, – пожал плечами Кондрашов. – А я буду думать за свои и за родительские.

– Вот так и получается: ты руководитель, народ к тебе с доверием, а ты завёл нас в тупик, а сам в сторону?

Дед Илья выпрямился, развёл руки в стороны и, глядя на него и не моргая, застыл в ожидании.

– Дед Илья, что же ты из меня врага делаешь, – сказал Кондрашов. – Да, было собрание, и люди за колхоз обеими руками. Но меня понуждают, чтобы у каждого был документ на землю, подтверждающий, что эти гектары – его собственность.

– Не спорю с тобой, с людьми согласен, так сказать, в одну дудочку дуем, – кивнул головой старик. – Но, Дмитрич, коли я хозяин, значит, это моё личное дело, где мне

сеять, что мне сеять и когда сеять; и никто меня не заставит сделать иначе, если для меня как для хозяина этой земли нет выгоды.

И уже прощаясь, дед Илья признался:

– Не думай, что я просто так говорю. Ведь я в жизни многое повидал, в колхозе и бригадиром работал, и заместителем председателя; а время послевоенное было – плохое для всех, и строгое, и выживали – кто как мог. Но держала вера в хорошую жизнь. И жалко было людей: умирали, а колосок не сорви. А зачем его рвать, когда можно дать человеку на трудодень ровно столько, чтобы он не умер и мог работать, и чтобы семья его этих трудностей не знала. Если не так, тогда ради чего мы родились и живём. Я знал за себя и за свою правду пострадал. Но чем дальше живу, тем легче жить: во лжи я не погряз, вреда народу не принёс, а потому велико доволен.

4

Над поймами Неручи, над полями и берёзовыми перелесками снова тепло и тихо; ещё недавно на этих просторах потрескивал мороз, и подваливало снегу так, что дороги делались непроезжими. Всё верно: на календаре доходила зима, в натуре – тоже. И вдруг к деревне прихлынула теплынь, завеселели воробьиные стаи, петухи как походили с ума, – и никому не понять, по делу они, нет ли, весь день, до самых потёмок, на разные голоса перекликаются. И тут всё правильно: март – месяц весенний.

Хомутиха на Евдокию обнародовала свой уточнённый прогноз: « Лопни мой последний глаз, но весна придёт сегодня рано: куры-то мои у порога водички вдоволь попили; да и сама я калошами похлебала». Её метеорологические наблюдения для подружек великой новостью не стали, а Тося Фролова даже попробовала поспорить.

– Варька, не городи, – возразила она. – Я помню, в какой-то год на Евдокию не только у порога по лужам плавали, и по дороге без сапог нельзя было пройти; а после неё как посыпало, да с морозом ещё, – и кобеля сидячего

снегом заносило. Вон вчера по телевизору сказали, что ранней весны не будет.

– А ты иди и спроси у Олега Борисыча; спроси, спроси, тогда и спорь со мной; он подтвердит.

Хомутиха знала, что говорила; а подружки её также хорошо знали, что она чаще всего оказывалась права, и желающих поспорить с нею всегда не находилось. У Фроловой Тоси большого желания доказать свою правоту тоже не проявилось, а которое было, самаясамая малость, всё по той же причине сразу улетучилось.

Ай да Варька Хомутиха! Весна уже через неделю от Евдокии загуделазасвистела на разные голоса: в ночи налетел ветер и принёс с собой дождь; сугробы с перепугу присели; под тяжестью снега, напитанного водой, заскрипели, загорбачились плоские крыши сараев, в один скат. Наутро напозл туман и с жадностью питона стал пожирать на своём пути всё белое, что ещё вчера заставляло думать о его незыблемости и поздних сроках настоящего тепла. А когда через несколько дней вся эта страсть свалилась в низовье Неручи, куда всегда отступала непогода, в какомто новом, уже повесеннему контрастном свете сначала проявилось синеесинее небо с крупными серыми облаками, холмы, ненадолго просвеченные ярким солнцем, а потом всё остальное, что лежало ниже по всей среднерусской возвышенности.

А дальше пошлопоехало: Неручь глухо вздыхала, словно надрывалась от тяжести полых вод, несущихся с полей и раздвигающих её берега; весёлые ручьи поблёскивали на солнце – их было много, и больших, и маленьких; они словно перезванивались по своим телефонным номерам, и даже можно было думать, что это не пар стелется над большими чёрными проталинами, а задымились от перенапряжения провода их телефонных станций.

И тут же заголосили от радости скорой встречи на тихом закатном огне неторопливые косяки гусей; следом, как бы отстав по времени и нагоняя родные утиные стаи, низко над околицей пронеслись с лёгким шумом небольшие стайки; значит, сейчас они опустятся ещё ниже и где-то среди торфяных болот приглядят укромное ме-

стечко, со спокойным разливом, устало плюхнется на воду и будут разбиваться всё парами да парами, негромко переговариваясь, чуть ли не шепотом. Всё верно: весна что для людей, что для птиц; и своё берёт извечный закон природы, который никому не суждено изменить, – ни людям, ни птицам.

Хомутиха и это знает не хуже московских или питерских академиков; и каждый год в эту пору, уже по теплу, когда она со своими подружками впервые после зимней стылости сходитя перед вечером всё на той же утрамбованной площадке, напротив своего дома, где её Гаврил когда-то сладил длинную и довольно широкую скамейку, им есть что рассказать и удивить друг друга. Подсел к ним и Гаврил, который ещё утром заявил, что сезон местных новостей будет открывать не Варька его, как это было всегда, а он. Но на этот раз опередила всех Фролова Тося.

– Так, девки, есть хорошие новости и плохие. Вам сначала какую? – с этими словами она сунула руку в карман, достала горсть тыквенных семечек. – Утром полезла на буфет и наткнулась: целый пакет лежал.

Она пошарила в кармане ещё и сыпанула по чутьчуть каждому из сидящих на скамейке.

– Хорошие семечки, – оценивающе сказал Гаврил. – А новостей у тебя столько же?

– Ещё больше, Гаврюша, – засмеялась Тося. – А семечки и правда хорошие, и очень ценные, особо для тебя.

Гаврил насторожился – он зачуял какойто подвох.

– Это чем же?

– Противозачаточные они, Гаврил. Вот теперь ты и бесплодным ходишь. Знаешь, как они прочищают ловко.

Все смеются, Гаврил громче всех:

– Это хорошо: вам теперь меня бояться нечего.

– Сядь! – осадила его Хомутиха. – Приклеился к бабам, как бабий угодник.

– Да пусть сидит. Что он тебе, мешает? – заступилась за Гаврила Тося Воронина.

– Варьк, и то правда, – поддакнула другая Тося. – Скамейкуто делал он. А то разломает.

И все снова дружно засмеялись, Гаврил тоже.

Хомутиха не стала ждать, когда скамейка вдоволь насмеётся, пока Фролова Тося соберёт заявки на новости – она знала сама, какую подать первой: самуюсамую...

– Что слышала я вчера, девки мои. И, скажи, все в деревне как на ладони, никуда не спрячешься, а вот поди узнай, попробуй.

На скамейке сразу тишина: слушают внимательно, только семечки потрескивают.

– Левый что учудил: он всё с Верухой крутился, уже давно, стало быть; а потом – и никто не знал, как это он умудрился так, потихому: с её сестрой Клавкой у них срослось. А она то много старше его, да без мужа трёх детей нажила. Верка узнала про измену Левого и за волосы сестру и оттаскала.

Левым в деревне прозвали Сорокина Витька, довольно спокойного, рассудительного парня, – за то, что был он левшой.

Гаврил к женщинам относился поразному, но чаще всего их поджеливал, потому что знал по себе: выбирают женщины.

– Верка неправильно сделала, – сказал он осуждающе, – они на равных перед Левым, выходит, наперегонки его и выбирали.

– Значит, Клавка лучше сумела его чем-то завлечь, – рассудила Тося Воронина.

– Сумела завлечь, не сумела... сумела, бабы, и нашла чем. Но без последствий тоже не обошлось, – и Хомутиха сделала многозначительную паузу, указательный палец правой руки кверху, – беременная она.

– Беременная? – чуть ли не хором удивилась скамейка.

– Да, сама сказала.

– И сказала, от кого?

– Да, так и сказала: от Левого.

Оставлены в покое семечки; все заговорили наперебой, заспорили, стали расспрашивать Хомутиху о подробностях.

– В ногах у них не стояла, свечку не держала, – хихикнула Хомутиха, – поэтому подробностей не знаю. Но знаю точно, что Клавка приходила сегодня на медпункт и объявила медичке: мол, ставь меня на учёт.

– А как же теперь Левому быть с Веркой? – не успокаивалась Фролова Тося .

– Как быть, как быть, – перебила её Хомутиха. – Да никак теперь. Мать Левого зачужала это дело и бегом на ферму – тоже хотела Клавку за волосы, тем самым доказать, что сын её ни при чём тут. Перехватила в тамбуре – она как раз коровам раздавала корм, ну и давай её обрабатывать: мол, ты чего это на моего сына наговариваешь, мол, неспособен Левый на такую мерзость, да, к тому же, у него и не стоит.

– Так и сказала?

– Так и сказала, дура. Стоило изза чего позорить сына.

– И что Клавка?

– А что ей: схватила вилы и говорит: мол, как по ночам в окно ко мне стучаться, так стоит, а мать узнала – сразу никудашным стал, инвалидом на это дело. Иди, получше у него расспроси, что и как. Так вот и отшила её.

– Нет, бабы, такое просто так не бывает, – сказала Тося Воронина. – Значит, у Левого какieto чувства хорошие к Клавке были, если до этого дело дошло. Вот видите: и домой к ней ходил по ночам, – значит, не с первого же раза у них всё получилось.

– Со второго, – съязвил Гаврил на Тосины слова. – А когда ещё ходить к ней: днёмто она на ферме, а сам Левый целый день шоферит.

Он посмотрел на них как-то хитровато, и словно бы с насмешкой, мол, и вы, уважаемые, одного поля ягодки; и вдруг весело и протяжно захохотал.

– Заржал, как жеребец! – снова одёрнула его жена.

– Отстань, – огрызнулся Гаврил.

– Считаю теперь, сколько раз он там охмырнулся, – Фролова Тося тоже смеялась. – Левый собирался жениться на Верухе, а она всё раздумывала. Теперь вот ему надо к Клавке идти свататься.

– Может, и по любви у них, – продолжала рассуждать Тося Воронина. – Всякое бывает. А как узнать, любовь это или не любовь. Спрашивать? Обмануть человека можно запросто, да и самому обмануться.

– Доказывать надо всю жизнь, что любишь, – поучительно заметила Хомутиха. – Любовь – она всегда видна.

– Насмотрелась любовных кин, так что по любовным вопросам она теперь крупный специалист, – вставил шпильку Гаврил.

Фролова Тося со своей:

– Ты вот, Варька, живёшь и всё время доказываешь кому-то, что любишь, да?

Намёк был тонкий, но ему в шумегаме не придали особого значения, не вникли в самую суть его, где спрятан был последний Хомутихин грех. Сам Гаврил старательно растопыривал уши, чтобы не пропустить ни слова, но получалось у него это не всегда: иногда он начинал думать о своём сокровенном, и слова сидящих рядом с ним людей улетали в космос. После Варькиных в таком состоянии Гаврил находился недолго. Что делать, если у него тоже был свой грех... Грех? Нет, скорее, так себе, грешок. Любовь, не любовь... Вот Варька его сказала, что любовь не спрячешь, мол, она всегда видна. Решил было спросить её, куда надо смотреть, чтобы увидеть эту самую любовь, но раздумал: попробуй спроси – и будешь сожалеть потом. И всётаки не вытерпел:

– Варька моя сказала, что любовь всегда видна. Согласен. А скажите, куда надо смотреть, чтобы её увидеть?

Несчастные бабы, они в его вопросе подвоха так и не уловили.

– Глаза всегда скажут, – рассудила одна Тося, Фролова.

– Голос человека, его интонации, – утверждала другая Тося, Воронина.

– Я – его; присвоил, – презрительно сказала Варька.

Она смотрела ему в глаза; она всётаки вычислила, о чём и как подумывал её мужик. Но он и сам сказал, не побоялся:

– Если баба хочет узнать, любит ли её мужик, ей всего-навсего надо посмотреть на него, ниже пояса, – и тогда она сразу увидит, есть ли у него любовь и за что его любить.

– Варька, смотри! Хомут, вставай! – хохоча, закричали бабы, – Варька, смотри, куда Гаврил сказал; и давай определяй, сколько любви у него к тебе, а сколько ещё к кому-то. Давай, давай, Гаврюша.

Хомутиха было прицелилась отвесить очередную плюху своему, как она считала, беспутному мужу, но неожиданно

для всех, – и для Гаврилы тоже, который уже съёжился в ожидании награды, – сама рассмеялась.

– Варька, ты вот сказала, что любовь надо доказывать, – всё ещё улыбаясь Гавриловой шутке, заговорила Тося Воронина. – У меня брат родной прожил с женой лет десять, и всё время в ругачке: сильно ревновала его, к каждому столбу; а он всё доказывал ей, клялсябожился, что любит, что она у него единственнаяразъединственная. Бывало, придёт с работы, а она обнюхивает его – нет ли чужого бабьего запаха на нём. Он на колени перед ней, руки целует, чуть не плачет, а она: «Проси прощения!» Не знает, за что, а просит. Недавно такая же сцена: он клянётся, что любит, она ему в том же духе: мол, чем докажешь, что любишь? «Палец отрублю», – говорит. «Руби», – это уже она ему. Он берёт топор, палец на стол и хрясь – рубанул топором со всего маху.

Тося сделала короткую паузу; подружки при последних её словах вздрогнули, потом заохали.

– И что? – не выдержала паузы Хомутиха.

– А что бывает в таких случаях, – спокойно продолжила свой рассказ Тося. По всему она уже свыклась с подробностями этой страшной сцены из жизни её родни, поэтому ей не было так страшно. – Палец на столе, кровь хлещет, брат закричалзаохал, матперемат; схватился он за руку и скорей к двери, бежать в больницу, значит, а вслед ему: «Милый, забыл палец, – может, пришьют!» А ты, Варька, говоришь, что надо доказывать. Доказал вот, и теперь на всю оставшуюся жизнь без пальца, и без бабы ещё.

– Бросил её? – спросила Фролова Тося.

– Она его. На что он мне, сказала, без пальца.

– Да, Тоська, надо доказывать, – не сдавалась Хомутиха, – но не как твоя родня. Он должен был устроить ей такую выволочку, чтобы раз и навсегда уяснила, за что надо любить мужа, и как любить.

– Нука скажи нам, Варька, за что и как? – снова подъехала к ней с вопросом хитрая Фролова Тося. – Ты Гаврилы за что любишь?

– За то, что скамейку сделал, – решила отшутиться Хомутиха.

– А про детей забыла? – в тон ей подсказал молчавший всё это время Гаврил.

Варька Хомутиха правильно поняла провокационный Тосин вопрос; и вообще ей показалось, что сегодня её подружка не в духе, кем-то или чем-то обижена и постоянно ищет повод для скандала. А Варьке этого не хотелось, так как Тосины намёки всякий раз были направлены в её сторону, как ей казалось, не случайно: Тося знала о тайных связях её с новым вздыхателем. Ведь Варьку Хомутиху жизнь щадила: таким же зорким оставался её последний глаз; лицо, когдато не особо привлекательное, как бы округлилось, и всё, что хранилось под цветастой кофточкой, на груди, за последние годы значительно приросло, на что зарился теперь не только Евсеев.

– Варька, за что и как? – тянула настойчиво Фролова Тося.

– Бабы, кого за что и кого как, – стала переводить стрелки Хомутиха. – Вон Ванька Кондрашов, за что его любят две бабы? Да за любовь. Кулака ни на одну не поднял, словом не обидел, на машине катает – то по одной, то, гляжу, вместе сидят. За что его не любить, скажите? Такие, как Ванька, палец рубить не будут. И что ему доказывать, если он своей жизнью живёт да живёт, своё дело делает исправно и никому не мешает. Такими мужиками бросаться – грех, бабы, большой, их за это ценить надо; только мало сейчас таких, на всех не хватит.

И она замолчала, глубоко вздохнув, посмотрела на своих закадычных подруг, как бы оценивая, какое впечатление произвели на них её слова, и занялась семечками, которые всё ещё держала в руке.

– Что Наталью возит, это ещё ни о чём не говорит, – сделал вывод Гаврил. – С ним в машине много баб ездит, и на Наталью сколько мужиков лупятся. Вон приبلудный Еремеев второй год вокруг неё увивается.

– Он, может, и больше будет увиваться, но путного ничего не получится у него, – перебила мужа Хомутиха. – Лопни мой последний глаз, но Наталья не променяет Ивана, ни на кого. Девкато, Снегурочка, это же копия: Иван да и только.

И вдруг насыпалась на Гаврила:

– Ты, Хомут, хуже бабы стал – всё с бабами да с бабами, сплетни собираешь. Раньше, бывало, как зверь какой, кидался на нас, а теперь, как скамейку поставил, словно переродился: мы сюда, и он, глядишь, приляпался. Бабы, в доме теперь мужиком не пахнет.

– Старее, не ругай, – заступилась за него Фролова Тося.

– Поумнел, – возразила – как похвалила, но только с непонятной иронией, другая Тося, Воронина.

– Подурел! – гаркнул Гаврил, вставая. – Думаю, и мне надо жить, как Ванька; чего уж лучшего желать: всем хорошо будет.

Знать бы Ивану Дмитричу Кондрашову, что он в очередной раз оказался в главных героях деревенских переудов; и не только в этой небольшой компании разговорчивых женщин, называющих себя то девками, а значит, не чувствующими своего возраста, то просто бабами, при этом не вкладывая в это слово никакого понятия о возрасте, и завистливо посматривая в сторону Натальи и Марушки. И ведь что ещё: во всех этих разговорах Кондрашов был не просто главным героем, а даже складывался его образ как положительного героя, поступки которого вполне могли быть примером для подражания каждому, кто хотя бы на чутьчуть испытал в своей жизни это жгучее чувство любви. Но Кондрашов этого не знал и знать не мог. Все эти скамейки, эти сборища, мимо которых много раз на дню он проезжал по деревенской улице, как настоящие мастерамукомолы, неспешно перемальвали в пыль все его косточки, но как бы безболезненно для него и без ущерба для здоровья. И – слава Богу.

5

На майские праздники закуковала кукушка, подала голос и затихла; потом снова – коротко так; и опять тишина, словно притаилась где-то и ожидает, кто откликнется ей в этой земной благодати, наполненной влагой вчерашнего дождя и ночной росы, теплом и светом и запахами первой зелени. Откудато издалека – эта ли скита-

лица, другая – ещё такое же куку, неторопливое, как бы задумчивое, обременённое заботой бытия.

Кондрашов услышал её рано утром, когда садился в машину; и сразу вспомнилось детство. Их ребячья ватага в своих заботах носилась по всей округе: то за огородами, которые выходили к полям, засеваемым коноплём, рожью или горохом; то выкатывалась на высотки, где по склонам оставались от войны окопы и блиндажные ямы; то сваливалась к лугу, помеченному глубокой воронкой от разорвавшейся авиабомбы, которая даже в самую сухую погоду была с водой: сколько лет от войны, а следы её – вот они, и ещё долго будут; ватага к речке, вдоль неё, в поисках, где поглубже; а потом, уже после купания, усталые, мокрые и холодные, с гусиной кожей, они отлёживались в каком-нибудь поросшем мелкой травой окопчике, где было солнечно, тепло и тихо. Размеренное куку могло настичь где угодно; и тогда они замирали, дожидаясь, пока судьбой обиженная птица поговорит с далёким незнакомцем и замолчит; и в наступившей тишине кто-то из них, спеша опередить всех, скороговоркой спрашивал: «Кукушка, кукушка, скажи, сколько мне осталось жить?» Кукушка начинала отмерять года, а все следом за ней считали: «Один, два, три...».

Ах, эти печали детских лет! Как же неловко становилось перед друзьями, когда пернатая предсказательница была скупее всех скупых: прокукует раздругой и замолчит, как на посмешище: мол, получай своё сполна...

Картины детства у Кондрашова перед глазами, и голос кукушки рядом – вот он, такой желанный. И в наступившей затем тишине, как в те далёкие годы, забыв обо всём, чем была наполнена его сегодняшняя жизнь, Кондрашов прошептал: «Кукушка, кукушка, скажи, сколько мне осталось жить?» Кукушка откликнулась не сразу: она как бы подумала некоторое время, что сказать этому взрослому человеку, которого видела и слышала здесь много раз, пролетая по своим птичьим делам. «Куку, куку...» – донеслось потом до Кондрашова, и сразу же, на птичьем полуслове, оборвалась его будущая жизнь; и, как в детстве, обида ли, неловкость или ещё какое-то доселе неиспытанное им чувство сдавило

грудь, подступило к самому сердцу. Но Кондрашов ещё не успел ничего подумать, как пропавший было голос пернатой предсказательницы вместе с эхом снова покотился над огородами и дальше, вернул его к жизни. «Куку, куку, куку...», – отсчитывала кукушка; «три, четыре, пять...», – итожил Кондрашов; и тут же его накрыла теплая волна прихлынувшего счастья.

«Не скупится», – в довольстве подумал он. А кукушка всё отсчитывала и отсчитывала, словно понимала состояние его души; и в какое-то мгновение ему подумалось, что дело не в щедрости её, а просто эта пернатая предсказательница уже несколько раз сбивалась со счёта и каждый раз поновому начинала свою извечную процедуру. В эту счастливую минуту перед ним промелькнула вся его жизнь – от той самой беспокойной мальчишечьей ватаги до самых последних сегодняшних дней, которые с переменным успехом несли ему неудачи и потери.

Конечно, есть у него замечательные дни, которые давно позади, в тех годах, когда ещё учился в школе и в институте, а потом приехал работать в колхоз, – так думал он всегда. Но время шло; оно стирало в памяти какие-то подробности событий, лица однокурсников и их фамилии, и оставалась на небосклоне его жизни только светлая полоса – как след тех давнихдавних дней. А ближе к нему, на всём пространстве было ещё светлее, сияло и переливалось красками всех времён года и звало к жизни. Они, да, да, они, – Наталья и Алёнка для него теперь той светлой полосой, сияющей в просторах земного бытия; и в его сегодняшних днях ничто не могло затмить этот удивительный свет. Но вот совсем близко, по светлomu краю небес легла чёрная полоса недавних дней: смерть отца словно оглушила его, болью отозвалась в груди, но свет в глазах не померк – он звал его к жизни.

А какой она будет у него дальше, Кондрашов особо не задумывался; но он не представлял себе ни дня без них – это было чувство родства, которое давнымдавно поселилось в нём и крепло с каждым прожитым днём.

Он не был кабинетным работником, но после завершения полевых работ всегда много времени проводил в кабинете;

вместе с главными специалистами прикидывал, сколько денег выручат от растениеводства, на что рассчитывать до конца года от продажи молока и мяса, благо скота на фермах за лето прибавилось: Кондрашов не пропустил мимо ушей совет Николая Максимыча и закупил у населения и поставил на откорм бычков и тёлочек. Рассчитывался за них всем, что просили люди и что, естественно, было в хозяйстве: зерно отдавал по себестоимости, то есть намного дешевле закупочной цены; обещал сахар, но при этом говорил, что даст позднее, когда пойдёт сахарная свёкла; обещал и деньги – их не было, и сам он весь в долгах, но ведь когда же они будут.

«Ничего, пока затягивай пояс, чтобы пережить самое тяжёлое время. Потом полегчает», – поддерживал его Николай Максимыч, который хорошо знал, насколько туго он затянут и как сложно это сделать: хозяйству практически перекрыт кислород со всех сторон, не продохнуть. Что-то из трудностей, конечно, осталось позади – это когда приближался учебный год и люди шли к нему в кабинет только за деньгами, чтобы собрать детей в школу. Здесь пригодились подсказка Любочки Суетовой: в срочном порядке выбраковали и отправили на забой из поголовья дойного стада всех больных, старых, малоудойных коров, и вырученных за них денег хватило всем нуждающимся. Конец года – вот он, рядом, и счётные работники бухгалтерии трудились в поте лица, благо, им было что считать: урожай против прошлогоднего выше, надои тоже, тем самым они компенсировали ожидаемый недобор молока от выбраковки коров дойного стада. Но на перспективу обстановка складывалась тревожная: поползли слухи, что цены на зерно будут падать; и в то же время на горячее они уже пошли вверх: что ни месяц, то дороже.

Главный агроном, этот незаменимый Михал Савелич, прикинул наперёд и перед самыми новогодними праздниками огоршил:

– По технологическим картам обсчитал затраты, на планируемых площадях они увеличатся на треть.

Кондрашов на его слова отреагировал не сразу, помолчал несколько, как бы переваривая сказанное, и сделал вывод:

– Я заметил, что с каждым годом мы всё труднее выходим из уборочной. Объём работ большой, средств не хватает. Какойто порочный круг. Что будем делать?

– Не знаю, – пожал плечами Лылов, – точнее, знаю: сеять. Но об этом говорить ещё рано: посеятьто мы всегда посеём, все сложности у нас появляются с лета, к осени, значит, там и видно будет, что и как.

И Кондрашов согласился с мнением главного агронома, решив не терзаться в догадках раньше времени, хотя и знал, что сделать это ему не удастся. И точно: шли дни, и он постоянно возвращался в мыслях к финансовым проблемам далёкой ещё весенней посевной; и даже открыто завидовал руководителям других хозяйств, у которых дела шли совсем не лучше, чем у него, но они особо не ломали себе голову по этим вопросам: за них думали руководители агрофирмы.

Кондрашов хорошо запомнил последнее крупное совещание по вопросам реорганизации сельхозпредприятий, где под традиционным административным прессом новой власти не устоял пока ещё советский председательский корпус. Районное начальство, как в добрые советские времена, отстучало кулаком по столу, требуя надои, привесы, урожаи; рецепты успеха давали те же: пашите, сейте с удобрениями, убирайте вовремя и без потерь, скотину кормите и доите! В рыночной неразберихе каждый из руководителей выискивал для хозяйства наиболее приемлемые пути, чтобы выжить, работал по рецептам и при этом постоянно помнил, что начальство держит кулак за спиной; но, к великому сожалению, денег в кассе не прибавлялось. На том самом совещании сказали конкретно: губернатор научно обосновал необходимость создания крупных агрохолдингов, которые должны взять на вооружение рекомендации учёных, – это, мол, единственный путь вывода сельхозпредприятий из финансового тупика. Как всё будет выглядеть на практике, давал разъяснения прибывший вместе с ответственными и безответственными работниками областной администрации кандидат экономических наук.

– Всё делается просто, хотя без сложностей не обойтись, – говорил он. – Основные фонды и оборотные средства надо

поделить поровну на пай между работниками предприятия плюс теми, кто обслуживает социальную сферу, то есть работниками образования, культуры, здравоохранения, и выдать им документ, подтверждающий наличие у человека собственности, в данном случае земли и имущества. А затем проводите собрание и принимайте решение, что людям делать со своими паями: самим ли работать на своей земле, передать ли кому или продать. И только следующим этапом будет вступление в агрофирму.

Дальше совещание проходило бурно, было много вопросов: как, например, быть с долгами? в каких размерах и будет ли оказываться помощь в материальнотехническом обеспечении? И на них учёный не задерживался с ответом:

– Да, агрофирма как юридическое лицо и правопреемник решает все вопросы; да, агрофирма держит на контроле все финансовые операции с кредитными организациями. А вообще, разработан проект устава, в котором всё предусмотрено.

Из всего услышанного Кондрашов для себя сделал вывод, что, войдя как подразделение в агрофирму, хозяйство практически лишается статуса юридического лица и, следовательно, самостоятельности; в общем, всё будет решаться там, наверху, а им остаётся только одно: пахать, сеять, убирать, кормить и доить коров.

– Это уже делается в практической плоскости, дада, в нашей области, так что мы будем не первые, – сказал ему Николай Максимыч, когда после совещания Кондрашов зашёл к нему в кабинет. – Дело, конечно, добровольное, но при всём при этом надо считать и принудительным. Думаю, что и землю скоро приберут к рукам: земля сегодня – самый дорогой товар.

– Она всегда дорого стоила, – согласился он. – А что же ты сидел там и молчал, ведь ты начальник управления сельского хозяйства, а ещё коммунист?

Вопрос Кондрашова он посчитал за упрёк:

– Я не должен оправдываться. Видишь, под каким соусом разворачивается кампания: новые технологии, научная организация труда, продовольственная безопасность страны, – с советских лозунгов и призывов пыль

страхнули. Против этого разве можно идти. Да и губернатора обком партии поддерживает.

– Я что-то начинаю не понимать нашего губернатора, – сказал Кондрашов. – Ещё недавно он призывал распустить колхозы и раздать землю крестьянам, по сколько придётся на каждого, чтобы люди на своей земле сами пахалисеяли, чтобы скот разводили в своих сараюшках да на своем пастбище выгуливали. Зачем он убеждал всех, что страну прокормят только мелкие крестьянские хозяйства?

– Это не личная затея губернатора. Был такой министр Иван Силаев, который всё реформировал сельское хозяйство, а губернаторам что оставалось: приказали – делают.

– Да, и до нас эта волна тоже докатилась. Ты же знаешь, что коекто из колхозников, самые лихие, попробовали – плохо получается, и дела свои быстро свернули.

– Всё верно, Иван Дмитрич, – согласно кивнул головой Николай Максимыч. – Людям на имущественный пай в колхозе нечего было получать, а с голыми руками на земле не работают.

– Я на эту авантюру не пошёл, – усмехнулся Кондрашов. – И люди у меня так же думали. И вот теперь нас разворачивают в обратном направлении, другую дорогу указывают: мол, только крупные агрохолдинги принесут изобилие и обеспечат продовольственную безопасность страны. А я и тут не согласен, и люди мои не хотят идти в агрофирму.

– Это дело для тебя может плохо кончиться, – предостерёг его Николай Максимыч, – займётся тобой на полном серьёзе. Но потянуть время ты можешь, а там будет видно.

Он сделал небольшую паузу, вероятно, обдумывая, что сказать и как сказать, и продолжил:

– Правильно мыслишь, есть позиция, а это значит, Иван Дмитрич, тебе давно пора быть в рядах коммунистической партии Российской Федерации. Ты помнишь о нашем с тобой разговоре на эту тему?

– Помню.

– И что?

– Да всё дела да дела, потом похороны за похоронами.

– Такие беды переживают все. Ты мне скажи сейчас конкретно: идёшь?

Взгляд у Николая Максимыча прямой, в нём вопрос – такой же; и такой же был взгляд у Кондрашова, но только без вопроса, и ответ, тут же подкреплённый их дружеским рукопожатием.

Все последующие дни Кондрашов постоянно возвращался к тем разговорам, – очевидно, причиной тому была насторожённость, поселившаяся в нём: он и не заметил – когда, но она в нём жила, не давала покоя. « Конечно, они там всё просчитали, иначе не вязались бы с нами, – думал он. – Ну, хорошо, вошли мы в агрофирму, работаем; агрофирма – юридическое лицо, двигает к нам науку, помогает рассчитывать за кредиты...»

Мысль прервалась неожиданно, словно споткнулась на вопросе: «Вдруг с кредитами не рассчитаемся, а там ещё их наберут неизвестно на какие цели?» А потом она побежала дальше: «Да нет, известно: на зарплату – штатто, конечно, большой и оклады себе солидные определяют; на транспортные расходы, командировочные, а ещё офис хороший нужен со всей современной начинкой. Но банки кредиты дают только под большой процент и под честное слово совсем не дают, а только под залог. Завтра обанкротится агрофирма – и никто из её руководящих чиновников, потеряв хлебное место, особо не запечалится, потому что завтра найдёт другое, такое же хлебное; а здесь люди потеряют всё, что сегодня имеют, нажитое своим трудом. И без земли останутся, если земля – как товар уже; и поделаться ничего нельзя будет: бесправными делают, а уставы для этого и принимают такие, под себя, чтобы комар носа не подточил».

Насторожённость работала в нём, как закваска в бочонке с вином: «Если дело добровольное, – думал Кондрашов, – торопиться пока не буду. Время покажет». Но, думая так, он всётаки экономисту дал команду работу проводить.

Все эти события в голове Кондрашова вихрем; они унесли его от кукушкиной щедрости через пустые чёрные огороды, через пойму, на которой уже успели побывать первые солнечные лучи; они заставили его заново пережить всё прошлое, выплакать все выплаканные слёзы, отрадоваться той самой радостью от украденной любви, которую он при-

нимал и принимает как испытание, посланное ему с Натальей богом, на двоих.

Но вот он снова слышит явственно желанное куку, по-прежнему неторопливое, какое-то домашнее, словно птица, как и он, только-только перешагнула порог своего дома, спрятанного за цветущими садами, и спокойно обдумывает предстоящие дела, разговаривая на своём, птичьим языке. Потом кукушка замолчала, и Кондрашов под впечатлением от её щедрости порулил по родной улице, счастливо улыбаясь новому погожему дню. Каким он будет для каждого живущего на этой земле – удачным во всех делах или, наоборот, удача отвернётся от человека; радоваться ему или он будет залит горькосолёными слезами – никому предсказать не суждено. Так и Кондрашов: открытый со всех сторон, он принимал с достоинством всё то, что уготовила ему судьба; он жил заботами людей, которые его окружали, и невесело замечал, что с каждым прожитым днём забот этих у него прибавляется.

6

– Снегурочкааа! Дочааа!

Наталья стоит возле дома; она уже не кричит, как много лет назад, в дремотную тишину погожего июньского полдня, а ещё и ещё только вслушивается в неё; и Наталья кажется, что она вместе со всей округой слышит свой голос – он полон жизненных сил, в нём радость вешних дней, тепло светозарного июня и ласковость бабьего лета.

– Снегурочкааа! – плывёт над истоком мелководной Неручи, где бьёт бесчисленное множество прозрачных ключей, где в густых зарослях вихрастого ивняка наперебой поёт, квакает и крикает, где кипит жизнь. Ты, конечно же, снова догадался, дорогой читатель, что это Савельева Наталья стоит у калитки своего дома; погружённая в воспоминания о недалёком прошлом, она перебирает в памяти события тех дней, когда сама природа подарила им Алёнку, запеленав её в белые снега вьюжной ночи и убаюкав колыбельной суматошного ветра.

– Ааа! – слабым эхом доносится как бы изпод горы, где среди яркого многоцветья плавают сочные запахи вызревших ягод.

Господи, сколько раз за последние годы вот так же выходила она за калитку и ловила, ловила в тишине прихлынувших дней пропахшее ягодой эхо! Много лет уже позади, и Алёнка уже не маленький человечек. По прошествии времени Наталья также слышит не только свой голос и маленькой Алёнки, а и голоса своих старших дочерей – они доносятся до неё то по отдельности, то сливаясь в один; и различает их она в пенье птиц, в шуме ветра и шорохе трав, в каждом звуке, доносящемся до слуха. И всякий раз, когда Наталья замирает, чтобы ещё и ещё раз услышать родные голоса, на сердце ложится превеликая радость: да, вот они, часы, дни её настоящего женского счастья, когда в этой жизни ей ничего теперь уже не надо, кроме того, что имеет.

Лариса после своей свадьбы рассчитывала поработать с первоклашками до конца учебного года, а потом перебраться к Сергею, в Москву; но планы их как-то расстроились, и пришлось ей в школе задержаться ещё на год. И вот уже два года они обживают съёмную квартиру в столице. Лариса пробовала устроиться в школу – не получилось: там вообще к молодым кадрам относятся насторожённо; и она нашла работу по объявлению: воспитывает детишек дошкольного возраста у одного столичного банкира. Ничего, с детьми она общаться умеет, зарплата хорошая даже по московским меркам; и мать не забывают: частенько приезжают на выходные. Да и как не приезжать, если не одна она их ждёт, а и Серёжкины родители тоже; её проведуют, ночевать же идут к Ивану с Маруськой, а ещё забирают с собой Алёнку. «Ну что, Снегурок, – спросит её Лариса, – пойдёшь с нами?», а Снегурочка только этого и ждёт. Но Наталья не в обиде: вышла замуж – будь рядом с мужем днём и ночью. Правда, раза два оставалась у неё, – это, говорит, чтобы не забыть тепло родительского дома.

А сегодняшнее Натальино одиночество можно считать нормальным: два дня назад Алёнку забрала к себе Настюшка, как сказала, ненадолго, на недельку. Скучно, конечно, Наталье без неё, но нельзя и отказать было: уж

так хотелось им вместе побыть; а Снегурочке тем более: семья у Настюшки пополнилась – два годика их сыночку будет, и повзрослевшая дочь на правах родной тётки любит возиться с ним, учить премудростям детской жизни. Паша усадил их на заднее сиденье, и, когда отъезжали от дома, всё махали ей руками в открытое окно, а Алёнка ещё кричала: «Мамка, не скучай, я скоро!» « Не поскучай тут, – с улыбкой подумала Наталья. – А сама, чуть задержишься она на работе: «Мамк, что так долго не приходила, мне без тебя скучно было».

Долго стоять Наталье некогда, – это она вышла за калитку принести воды; и вообще, ей скоро уже надо бежать на ферму, потому как она попрежнему числится дневным сторожем и обязанности заставляют её там быть вовремя. А над посёлком ясный солнечный день, тепло и тихо, безветрие. Да и шуметьто здесь уже некому: народу в посёлке поубавилось кратно. Как-то неожиданно быстро, один за другим опустели домишки; кто по болезни, кто по старческой слабости – заспешили старики доживать своё к детям, окопавшимся на стороне, а кого-то проводили по дороге на кладбище.

Опустел и соседский дом, не стало деда Ильи. После майских праздников посадили картошку, и он всё ходил наутро по краю огорода и прикидывал, что будет у него на бахче; а к вечеру вдруг слёг. В больницу ехать отказался, мол, свою болезнь он знает хорошо. Несколько дней полежал в немощи, постоналпостонал и затих. Так же быстро и схоронили – уже на другой день отстучали над его могилой лопаты копачей: какойлибо родни его из дальних краёв не ожидалось, и третьего дня по теплу решили не ждать; собственно, решал Иван. Дед Илья для неё был вместо родного отца: и советчик хороший, и такой же помощник в домашних делах, – это когда была нужда постучать молотком или топором; а уж с Иваном у него, несмотря на большую разницу в возрасте, была дружба крепкая. До сих пор Иван ходит в печали, она тоже море слёз пролила. Такая вот теперь у неё жизнь.

Пока до колодца, пока назад с полными вёдрами – от думок тоже не уйти. Чуть оступилась – вёдра качну-

лись, вода на босые загорелые ноги отрезвляюще, жгуче-холодная; да и деньто какой, самый разгар тепла и света. Вода в вёдрах на тенистой лавочке под окнами ещё не успокоилась, а она уже по тропинке от дома.

На подходе к ферме Наталья ещё издали увидела пастуха Еремеева: верхом на лошади он подъезжал с полевой дороги, которая уводила в дальние луга и поймы, где с весны паслось дойное стадо. Звали его Алексеем, поуличному же Лёкой, – как он сам признался кому-то по приезду, так чудно прозвала его бабушка. Невысокого роста, суховатый, с виду лет сорока, он появился в деревне два года назад, и никто толком не знал, как он оказался здесь и где его родина. Севалкину однажды похвалился, что у него два диплома о высшем образовании и богатейшие родители, но где – не сказал. Неоднократные попытки друзей прояснить какиелибо подробности заканчивались ничем: он всегда умело отшучивался, отвечал с неохотой и как-то туманно, так что для его собеседника заданный ему неприятный вопрос делался как бы не главным и сам по себе отпадал.

Наталья уловила, что Еремеев стал посматривать в её сторону уже по первому году, и однажды в разговоре с ней, по всему не случайном, открылся, что был женат, но уже много лет в разводе. А в этом году встречи с ней стал искать настойчиво. Пастушил он на пару с Андреем Потёмкиным и, зная, что Наталья на ферме целый день практически одна, нередко отпрашивался у напарника на часок, якобы за папиросами, и каждый раз мимо неё не проезжал. За всё время у Натальи с ним было много разговоров, самых разных, но повода к тёплым отношениям она ему не давала, хотя Еремеева это, как ей казалось, особо не огорчало. И тогда она начинала ему грубить, потому что, ей также казалось, он или взаправду не понимает, что у них ничего не может быть общего, или же попросту делает вид, что не понимает. И на этот раз у них было повторение пройденного.

Еремеев привязал лошадь за слегу, из которых был сооружён загон для молодых телят, потом покопался в ремённых подпругах седла, очевидно, убивая время, тем самым поджидая Наталью. Она подошла к нему сразу:

как-никак, а всётаки сторож и должна знать, зачем пожаловал, хотя знала – зачем.

– Да вот заехал на тебя посмотреть, – с напускной весёлостью доложил Еремеев, – умираю без тебя.

– Не умри, а то коров стеречь некому будет, – иронически усмехнулась Наталья.

– Там Андрюха, и за двух справится. Я ему четвертинку посулил, и сигарет ещё; говорю, побудь один, пока я съезжу, с Натальей помилуюсь.

– Вот и вези, – оцетинилась сразу Наталья. – Шутник нашёлся. А вообще, Лёка, ты мне стал здорово надоедать. Я уже много раз говорила, что тебе возле меня делать нечего.

– Наталья, я не шучу, я к тебе на полном серьёзе, так сказать.

Голос Еремеева весёлости не утратил, хотя блеск его чёрных глаз заметно потускнел.

– Лёка, ты понимаешь русский язык? – спросила холодно.

– Понимаю, и ты должна понимать: я один, ты одна; у меня в Питере страшно богатые родители, зовут меня, а я всё не ехал. Уедем отсюда, куда скажешь.

Это предложение Еремеева: уехать, куда она пожелает, было для неё уже ново, но не настолько весомо, чтобы она над этим задумалась хотя бы на мгновение.

– Не одна я, у меня дети, внуки. И вообще, мне некогда и не о чем с тобой разговаривать.

С этими словами она развернулась и скрылась в телятнике; а сама испугалась: сейчас пойдёт за ней следом. Метнулась к окну – стёкла пыльные, засиженные мухами, затянутые мелкой сеткой паутины по углам; разглядела: Лёка и вправду хотел было идти вслед за ней, но вдруг остановился, поковырял носком ботинка землю, словно что-то разглядывая, и пошёл к лошади.

«И чего прицепился, – думала Наталья, обходя помещения и проверяя сохранность вверенного ей объекта, – напрямую говорю, что не нужен, а он всё своё долбит. И ведь не скажешь ему, что у неё Иван есть и больше ничего ей не надо. Как же, родители богатые, меня богачкой хочет сделать. Лёкиной женой я буду...» – и усмехнулась

сама над собой. При этом её красивое лицо исказила гримаса отвращения, но тут же оно снова разгладилось, сделалось таким же красивым, каким было всего лишь несколько мгновений назад; и Наталья твердо сказала сама себе: «Это мне ещё одно испытание. Нет, Ивановой я буду, пусть даже не женой, а больше ничьей».

Потом она, как обычно, сидела на лавочке возле молочного блока – всё смотрела по сторонам, шурилась под солнцем, оглядывая небо с белыми и редкими облаками и недалёкую деревню, в центре которой светилось шиферной крышей двухэтажное здание правления колхоза, теперь уже бывшего, где каждый день бывает её Иван. И снова думки, думки: они были всё те же.

7

У Маруськи полное красивое лицо, волосы тёмнорусые, густые, ладно закручены на затылке и схвачены сиреневой заколкой. Она стоит перед зеркалом и – то одним боком к нему, то другим, чтобы получше себя рассмотреть. Но в зеркале Маруська только по плечи, и свою статную фигуру, которую так и не испортили годы семейной жизни, ей не видеть: зеркало небольшое, а Иван высоковатого вделал его в стенку дымохода от водогрейного котла отопительной системы. Это на кухне, и Маруське удобно: если не на работе – целый день она здесь кругами, и каждый раз мимо зеркала, – ну как не глянуть на себя со стороны. Чтобы увидеть свою высокую грудь, которая заманчиво волнуется под кофточкой и просится наружу, Маруське приходится становиться на цыпочки; но всё равно Ванька молодец, и грудь ему нравится.

И ещё он постарался: в уголке пристроил телевизор – сказал, чтоб веселее было им, когда они здесь будут проводить время. Да нет, скорей всего, телевизор для неё одной, а самого Ивана и днём с огнём не сыщешь: говорит, что весь в делах. Только она и так видит, что не праздной жизнью живёт её муж. В обеде заскочит – скорейскорей что-то съест, что-то не съест: мол, некогда, и тут же умчится до потёмок. Уезжал то в Москву, то ещё кудато далеко; а в

Орёл или в Курск ему – как в поля съездить: затемно гуднёт за ворота, а к обеду его машина уже у конторы.

Однажды ему сказала: мол, Ваня, ты хвост истрепал по дорогам, да и опасно теперь стало ездить: машин много, всё аварии да аварии; а он: «Что же мне прикажете делать, если газ надо проводить? Вопросов этих, сидя в кабинете, я не решу». Но выматывался не зря: за лето по деревне смонтирован был газопровод, и к деревне трубы подвели; люди разломали в домах печи, установили котлы с дымоходами, и теперь им не надо завозить ни дрова, ни уголь. Говорят, уж как он обхаживал газовиков, особо начальство их, даже в бане колхозной парил. Ну как не обхаживать, если благо такое для людей обещано; а самое главное – всё для них обошлось без больших затрат: платили только за то, что делалось в доме, покупали котлы и газовые колонки. Люди особо нуждались в деньгах, и каждое утро в его кабинете толпа. И находил ведь, как-то сумел всем помочь, и теперь у всех по деревне праздник.

«Вот тебе и муж – объелся груш», – радуется в довольстве Маруська – и за Ивана, сумевшего сделать то, чего не смогли сделать до сих пор соседние хозяйства, и за себя в зеркале – с простой незамысловатой причёской и светлой улыбкой.

Но сегодня Маруська перед зеркалом не просто так: выходной день, и она собиралась пойти проведать свекровь; Иван сказал, что поедет попозже, обещалась и Наталья. После похорон свёкра они стали чаще бывать у неё; приносят что-то из продуктов, расскажут новости, помогут в делах, которых, по правде сказать, не так уж и много теперь было. На первых порах, без хозяина, дела эти как бы сами по себе отпали, словно их в самом доме и вокруг него отродясь не было; словно все сараюшки, откоски, загородки и калитки – кто знает, с каких пор – стояли сами по себе и показывали всему миру завидные примеры долголетия. Но нет, пока жил свёкор, он как мужик и как хозяин дома на этом клочке своей земли, на мизерном – в масштабах государства, находил для себя каждодневно занятие, простую крестьянскую работу, которая нужна была для сохранения человеческого рода. Хозяина, мужика в доме не

стало, а значит, в роду их, в Кондрашовском роду, поубавилось. Но живёт Иванова мать – это её свекровь, стоит дом, и хочется Ивану с Маруськой, и Наталье тоже, чтобы на этом святом для них месте всё было незыблемо и вечно.

Не сказать, что родители свои стариковские дни проводили шумно: да, были ссоры, когда коса находила на камень, но они напрочь прикипели друг к другу, и, может, поэтому свекровь к одиночеству привыкала с трудом. Да и привыкала ли; скорее, она жила новой для неё жизнью, но не могла уйти от прежней, в которой никогда не чувствовала себя одинокой, даже в самые плохие дни, когда сходились та самая коса и камень. Попробуй забыть голос человека, его лицо, руки, жесты и много чего ещё, что изо дня в день видела и слышала; и думала с ним одинаково; а может, и по-другому, но она была с ним рядом, слышала его дыхание; и ещё всякие мелочи могла помнить свекровь, даже совсем незначительные, из которых складывалась её жизнь. Маруська это уже как бы прочувствовала: Иван на несколько дней в командировку – она в одиночестве своём не находит места, мается, в голову всякая чушь лезет. А у свекрови позади целая жизнь!

Своими посещениями они старались сделать её дни не такими мрачными, облегчить земную ношу, которую ей суждено нести по жизни в одиночестве. Иван постарался, чтобы в доме были газ и вода; Маруська с Натальей взяли на себя заботы об огороде: мать упорно не хотела расставаться с ним, а женщинам он был не в тягость.

Маруське захотелось ещё разочек крутануться перед зеркалом, теперь уже в лёгкой косынке на узелок, но не успела: за распахнутым окном послышался стук калитки. Наталья пришла с Алёнкой – это была теперь не забавушная Снегурочка, не тот самый цветиксемицветик, который вместе со звонким колокольчиком легко нёс на плечах Платонов Ванька во время первосентябрьской линейки. Рядом с матерью стояла стройненькая черноволосая девчушка с круглым загорелым личиком, на котором светили синевою, на месте глаз, два глубоких озера, а смуглую от загара щеку украшала крупная чёрная родинка. Алёнка поздоровалась первой:

– Здравсьте, тётъ Марусь.

– Здравствуй, солнышко моё, – обрадованно откликнулась Маруська.

Поприветствовала она и Наталью, при этом назвав её свахой; затем подошла к Алёнке, обняла её, слегка наклонившись, ласково потрепала за щеки:

– Молодец какая: умненькой растёшь, и красивая, – и продолжала тискать и приговаривать: – А нарядна что, и какая большая уже.

Алёлка с достоинством переносила неожиданно свалившиеся на неё нежности, но всётаки признаки смущения на лице проявились. Пока её учила Лариса, они вместе ходили в школу, вместе возвращались, и частенько бывали в этом доме; а после отъезда сестры в Москву Алёлка не стеснялась и одна заходить к крестному, заходила и с матерью, и всегда их встречали так же радушно.

Наталья смотрела на них, испытывая душевную радость: ей всегда было хорошо от того, что Маруська с первого дня их близкого знакомства проста и доверительна в общении, что в доброте с ней рядом некого поставить. На предложение Маруськи зайти в дом она отказалась; и они не стали ждать Ивана – куда он денется, приедет, тут же, негромко разговаривая, направились к другому Кондрашовскому дому, с которым каждая из них была связана светлыми воспоминаниями, и для каждой они были дороги. Считай, четверть века прошло с тех пор, как Маруська переступила его порог – под руку с Иваном; Наталью со Снегурочкой Иван занёс в дом на руках уже по прошествии после этого многих лет как самое дорогое на свете.

И встречала их на пороге мать: Маруську с Иваном – с чувством тревожной радости: хорошо, что сын обзавёлся семьёй, но как-то сложится его жизнь? Ивана с Натальей и Снегурочкой – со смешанными чувствами, но среди них не было ни одного такого, которое бы отталкивало их от неё. Мать приветила, не выказав недовольства, не осудила, не сказала им ни одного плохого слова; и только потом Наталья стала понимать, чего ей это стоило. Вот и в очередной раз она встретила их: снова всех вместе, но только без Ивана, и тоже на пороге; навстречу им с ведром в руке,

сухонькая, из-под белого платка, в крапинку чёрную, седые волосы; шерстяной жакетик бордового цвета – сильно потёртый, видно, сто лет скоро ему, а мать никак с ним не расстанется; но голос бодрый:

– Не с пустым, проходите. Это я мусорок замела в коридоре, сейчас высыплю.

Но освобождать ведро не стала: передумала; и поставила его тут же, поближе к забору, а сама повела их в дом. Они только через порог – мать, по своей природной хлебосольности, сразу к столу:

– Я вас сейчас покормлю, и внучке вкусенького приготовлю, – и уже к Маруське: – Нука быстренько почисти три картошины, ведро в углу стоит.

– Бабушка Шура, мы с мамкой дома пообедали, – сказала Алёнка.

– Ты, может, и обедала, а по времени уже полдничать пора, деньто длинный теперь.

Алёнку поддержала Маруська:

– Ма, мы и вправду не голодны, и пришли не разъедаться, а в огороде поработать. Давай лучше потом, может, Иван подъедет.

– Потом, значит, потом, – согласилась мать. – Но внучку я всё равно угощу.

Пока она угощала её шоколадкой, а Маруська прятала в старенький буфет уже выставленную посуду, Наталья заглянула в комнатку, где много лет назад она лежала с только что появившейся на свет Снегурочкой. Там было всё так же: кровать-полуторка аккуратно застелена, и, кажется, всё тем же покрывалом... да, точно, тем же; слева, на стене, вешалка, на которой Ивановы старые пиджаки: он их отдавал отцу донашивать – что ни год, то пиджак, а тот их всё на вешалку да на вешалку, потому что не успевал это делать. Да и велики они были ему: к тому времени годы уже высушили его когдато крупное мускулистое тело, а Иван входил в лучшие отцовские годы и был его копией. На тумбочке, что рядом с кроватью, тогда лежали Алёнкины пелёнки... Наталье показалось, что отсюда даже не выветрились запахи тех дней, проведённых в этом укромном уголке; и ещё подумалось, что это самое лучшее

место на белом свете, и как бы хорошо было сейчас полежать с Алёнкой на этой кровати ещё.

– Дочь, поди сюда, – позвала она Алёнку; и когда она подошла и стала рядом, Наталья погладила её по голове, прижала к себе и дрогнувшим голосом прошептала:

– Снегурок, на этой кровати ты лежала в первые дни своей жизни. Здесь всё так же, ничего не изменилось, как в музее; бабушка даже сохранила покрывало.

Ни Алёнка, ни Маруська с матерью не видели Натальиных слёз – они должны были ещё только скатиться по щекам, но она смахнула их с ресниц кончиком платка. А мать всётаки прочувствовала её состояние, словно прочитала её мысли, свои же при этом оставила при себе. Но она знала всё, или почти всё, связанное с её сыном и Натальей, с этой чудесной девочкой, которая приходится ей внучкой; и, наблюдая за Иваном, иногда его оправдывала: значит, не мог поступить иначе, если столько лет не тяготится связями с этой женщиной; да и она не лёгкого поведения, по всему.

А бывали дни другие, когда мать проникалась чувством сострадания к Маруське, и ей становилось не по себе от того, что Иван, её родной сын, мог так поступить: изменить жене. А это значит: он пренебрёг законами морали, и семья может рассыпаться, если случившееся получит огласку. Мать многое повидала в жизни, на её глазах ломались человеческие судьбы, в том числе своих, деревенских, когда благополучным исходом в подобных ситуациях были крупные семейные скандалы, но семьи не распадалась. А были с трагическим исходом, и семьи рушились.

Через несколько минут женщины уже копались в огороде, всё так же негромко переговариваясь; рядом с ними находила работу и Алёнка. Мать смотрела на них из окна, неспешно собирая на стол, раза два выходила на край огорода и всё вздыхала, вздыхала, вороша свои сокровенные мысли. Иван приехал вскорости. Мать хотела выйти ему навстречу, уже поставила тарелку с варёными яйцами на стол, но что-то сильное, появившееся неизвестно откуда, сдавило её грудь, в глазах пошли тёмные круги, по телу слабость. Она опёрлась руками на стол, боясь поше-

велиться, потому что каждое движение отдавалось невероятной болью; потом хотела предпринять что-нибудь, чтобы избавиться и от боли, и от неудобства, которое ощущала, наклонившись над столом, но не смогла: жизненно важные органы отказывались подчиняться воле разума попавшего в беду человека.

Иван вошёл в дом, увидел мать, вяло склонившуюся над столом:

– Ты что, мать, тебе плохо?

Она попыталась что-то сказать ему – медленно пошевелила губами, но ни одного слова так и не осилила: всё здоровое и жизненно важное уходило из неё стремительно. Иван осторожно обхватил её руками и медленно, боясь причинить какую-либо боль, подвёл к кровати. Мать в бессилии опустилась на неё, но сидеть уже не могла – сразу же упала навзничь.

Иван метнулся за порог, дальше – за угол, к огороду:

– Маруськ, скорей сюда! С матерью что-то!..

Через минуту все стояли у кровати. Мать лежала без движений, дыхание еле улавливалось, на бледном лице, уже потерявшем прежнюю выразительность, никаких эмоций: ни признаков боли, ни грусти или печали, ни обиды или недовольства не выражало лицо этой простой деревенской женщины, которая, словно находившись за день по дому в своих хозяйских делах, ненадолго прилегла на кровати и вытянула уставшие ноги.

– Ма, что случилось? – Маруська наклонилась к ней. – Ты слышишь, ма?

В ответ ни слова, ни движения какого, только слабослабо дрогнули ресницы полуприкрытых глаз; и вдруг словно тень пробежала по лицу.

В доме стояла тишина; лишь было слышно, как отмеривали время на стене часы, давнишние-давнишние, не раз чинённые отцом, – ему их подарили как ветерану войны к юбилею Великой Победы.

Маруська всхлипнула, слёзы у Натальи; Иван сжал зубы, чтобы не заплакать: тяжёлый комок перехватывал горло.

Маруська взяла со стола зеркалаще – небольшой квадратик, тоже сработанный отцом из осколка разбитого

когда-то большого зеркала, и осторожно поднесла его близкорядко ко рту матери, подержала так: всё верно, стекло не потело.

И той же дорогой во второй раз за эти последние годы прошла похоронная процессия от Кондрашовского дома до кладбища. Значит, мать уже чувствовала, что недолго ей осталось свой век вековать, если попросила его на похоронах отца сразу отмерить рядом с ним землицы и для неё. Гроб опускали на верёвках; и вспомнились Ивану рушники материнской работы, с вышитыми петухами, длинные-длинные, на которых опускали отцовский гроб. После он всё тужил, что послушался тогда Василя, – надо же было тому сказать, что с кладбища ничего не уносят, – и рушники засыпали землёй вместе с гробом. А мать их бережно хранила и достала из сундука в самый святой день. И сегодня этим рушникам лежать бы там – память же: память матери о своей молодости, и память о ней самой – это уже для детей и внуков. Но что делать, если так сложилось в тот скорбный час, и прошлого не вернёшь. И всётаки, согласно неписаным законам, пока будет стоять Кондрашовский дом, пока не засохнут корни и ветви Кондрашовского дерева, память о родителях, об этих удивительных, самобытных рушниках из глубин ушедшего века будет оставаться на синем поле небес широкой и светлой светлой полосой, зовущей потомков к жизни. Об этом и думалось Ивану в пустом родительском доме, куда тянуло его все последующие дни.

8

Удивительна человеческая жизнь! Казалось бы, всё просто: появился человек на свет, учится писать и считать, умаразума набирается, – а всё это получает он в семье. Семья – это семь Я: дед с бабкой – с одной стороны, дед с бабкой – с другой, отец с матерью и сын, которого обучают писаным и неписаным законам общества, чтобы он крепил основы своего рода. Набравшись ума и повзрослев, сын обзаводится своей семьёй, находит занятие по душе, которое позволяло бы ему обеспечивать её всем необхо-

димым. При таком раскладе – наслаждайся жизнью, человек, и пусть от радости душа волнуется! И всё? Да нет, до того, пока не понесут его по деревенской улице в сторону кладбища, надо ему тоже суметь родить сына, построить дом и посадить дерево, то есть вернуть свой долг предкам, потому что в эту жизнь они его привели на всё готовенькое. И ничего, что предки на Сабуровском бугре: давние лежат на старом кладбище, а родители – на новом, что быстро прирастает по склону, рядом. Тут уже работает неписанный закон общества: сын готов вернуть долги, а некому, и тогда он передаёт их уже своему сыну, таким образом, делая его должником. Мол, пользуйся, кровный, и всю свою жизнь думай, как тебе со своим долгом рассчитаться, ведь, действительно, ты вырос на всём готовом: отец построил для тебя дом, посадил дерево. Без этого долга ты не прожил бы и дня, так что, родной, не только набирайся умаразума и думай, но и делай для своих кровных, как делали предки из твоей большой родни.

В должниках всегда ходить плохо; и совестливый человек, созрев для самостоятельной жизни, избавляется от долга сразу, хотя, признаться, груз такой не каждому по силам. Но совестливый, к тому же, небесталанный, глядишь, с невестушкой уже проведаль ЗАГС и поговаривает о свадьбе; работу подыскал и так в неё вцепился – не оторвать; и дальше у него будет, как у предков: домик родительский обветшает – в нужные сроки вырастет другой, рядом, где родительский корень.

А если всё дело не в совести? Как говорят, плохая заваска в нём, не настоящая? Просто родился человек с совестью, но бесталанный, не способный ни на что. И, может, совесть его мучает за тот самый должок перед предками, который обязан вернуть, но уже сыну своему либо внуку – разницы нет; а в силу своей неспособности хорошо делать то, что делают другие, или ещё по какойто причине, от него не зависящей, он так и остаётся должником.

Для Кондрашова здесь всё ясно, как божий день: дом, дерево – они для последнего сына, который остаётся с родителями. Его сын строит дом и сажает дерево уже для своего сына. Но удивительна человеческая жизнь: многие из тех,

кто живёт на деревенской улице, сами дома не строили, а колхоз за них постарался; и Кондрашов – не исключение. То ли добросовестным трудом человек его заработал, то ли вручили ключи авансом, как, например, ему: мол, молодой, ещё успеет отработать. Но факт остаётся фактом: бесплатное жильё!

Поди разберись, за что свалилась на человека такая благодать. И разбирались, и выводы делали разные, – это в силу всё той же бесталанности, а может, и, наоборот, в силу каких-то других, но уже ценных человеческих качеств. Вот она, современная русская деревня; и в ней уже много таких, кто считает, что не обязаны что-либо делать для погашения своего долга, и, вообще, они ничего никому не должны.

– Избаловали, – сказал ему на наряде Лылов, – и ты первый потакаешь им. Зачем ты отдал дом, который построили на пустующей усадьбе возле магазина, зятю Махоркина, Генке Соловьёву? Он в семье последний, и жить бы ему с отцом: домто у Соловьёвых большой, места хватит; да и сами они уже в таком возрасте, что помощники нужны будут скоро.

– Семья же родилась, а на просторе дерево лучше растёт, – рассудил тогда Кондрашов.

– Возле родителей они семейную науку лучше бы освоили, – возразил Лылов. – А так что получается: жильём обеспечили – и успокоился, работать стал хуже. Ещё подай ему детский сад, а то бы дед с бабкой за ними приглядывали. Потом, посмотри, что у него вокруг дома: сколько живёт, а ни деревца не посадил. Какой он хозяин, если фундамент не может образить. Хозяин... – в голосе Лылова сквозила ирония, – да разве это хозяин, если отец ему всё из дома своего носит? Как-то смотрю: ковыляет по улице с котелком. Куда, говорю, идёшь? А он мне: мол, иду своих проведать, давно не видел; а сам котелок за спину. Прячь, не прячь, а запахто чую, не спрячешь: похлёбочка с жареным лучком.

– Не думаю, что они без варева живут, – не согласился Кондрашов. – Стариковские причуды: бабка сварила – ему понравилась, видно, похлёбочкато, вот и прихватил с собой, чтоб не с пустыми руками.

Воистину, прав был Герасимыч, когда повторял свою коронную фразу: «Разные мы с тобой люди», и, возможно, имел он в виду и таких людей. Герасимыч давно умер, а поговорка его осталась, и всегда ко времени. Какой Кондрашов сам, с какой закваской – об этом думал не раз, точнее, напоминала ему Маруська; и он когда соглашался с ней, когда – нет, сравнивая себя с кем-то, но делал это без какого-либо превосходства и самомнения, а просто так – думал и всё. Например, свой дом не строил тоже – считай, колхоз ему подарил как молодому специалисту, приехавшему работать на село, и теперь он в должниках. Сын далеко; но и долги Кондрашов отдаёт посвоему: после смерти Герасимыча он всё-таки построил дом на колхозные деньги его семье, как и обещал ему ещё при жизни. Поразному могут говорить об этом, но, по его мнению, покойный за свою трудовую жизнь заработал не на один хороший дом; и можно смело утверждать, что колхоз постоянно его обижал в деньгах и в выходных днях, тянул из него последние жилы.

Такой, как Герасимыч, в деревне не один, и, кого ни коснись, все в своих неудачах винить будут только его: это он, скажут, виноват, что корова их осталась без корма и не вспахан огород, что мало получает за работу и не вовремя, и ещё много чего личного навешают на него обиженные. Но редко какой поймёт, что обложили колхоз со всех сторон и рвут на куски, как всю страну, и, чтобы выжить, нужно как-то перетерпеть это поганое время.

– Терпи ты, а я терпеть не буду, натерпелась, – отрезала ему Танечка Соловьёва, а подеревенски – Соловьиха, жена того самого Генки, которому построили дом за счёт колхоза и за которого он постоянно получал выговоры от Лылова; Танечка пришла к нему в кабинет с заявлением на расчёт. – Я в доярки ещё девкой записана, и каждый день в грязи по колено, хвост обтрепала – дальше некуда; а что имею и что вижу?

– Танечка, ну как что имеешь? – начал переубеждать её Кондрашов. – Какуюникакую зарплату платим, колхоз жильём обеспечил, – глянь, какой дом поставили; а местото – в самом центре деревни, и всё рядом; хозяйство своё со-

держишь, и опять же всё колхоз обеспечивает кормами. Вот только пустовато у вас вокруг дома, а надо бы уже стоять и саду...

– Всё, всё, – перебила его доярка. – Нету больше сил терпеть дальше.

– Татьяна, ты, Татьяна, – покачал головой Кондрашов. – Ну, сорвёшься с работы, и куда потом?

– В город.

– Да, на тебя там сразу манна небесная. Хорошо там, где нас нет. Пойми: по всей стране разруха, безработица. Да ты хоть живёшь в своём доме, свой огород, на дворе живность – есть что подать на стол. В своём доме легче пережить трудное время; кстати, хорошо, что успели с ним: уже много лет не строим, не на что.

– А ты приехал бы и посмотрел, в каких условиях мы работаем, полюбуйся на нас. Это я пришла к тебе, в трёх водах помывшись. Я говорила зоотехнику не раз, а ему как мёртвому припарки. Дожди неделю, в загон заходить коровам и людям страшно. Мы-то в сапогах, а у коров вымя по грязи волочится. А ведь идёт не осень.

Кондрашову от её слов не по себе. Но что делать – слушай, правда глаза колет: началось лето, а они не построили новый загон и даже не вычистили старый, в котором ещё в прошлом году, осенью, коровы утопали по колено.

– И зоотехнику говорили?

– Не раз. И заведующая обтрепала язык. У него, Иван Дмитрич, ответ один: солярки для бульдозера нет, председателю не до нас.

– Ничего себе заявки! – возмутился Кондрашов. – Оправдался, значит, и все дела. Во всяком случае, Татьяна, доложу тебе, что такой разговор у нас был, но ещё во время сева, когда коров не выгоняли на пастбище. Всё правильно: я о севе да о севе хлопочу; то деда Илью хоронил, то мать, а тут непогода свалилась, сама видишь. А там всего ничего надо бы сделать: с осени или зимой заготовить сlegg и столбиков, а по ранней весне соорудить новый загон – три человека за неделю вполне бы управились.

– Нарисовал, – засмеялась доярка, – хотя полегче стало; но, Иван Дмитрич, от слов твоих грязи меньше в загонях не станет.

Кондрашову жалко было расставаться с Танечкой: хорошая доярка, таких не только на второй ферме поискать надо; но Танечка не сдавалась:

– И не уговаривай.

– Татьян...

– Пойду, пойду, пока и вправду как бы не уговорил ещё на чтонибудь. А заявление оставляю. Это я сознательная такая: пришла, отпусти, мол; а могла просто бросить всё и не прийти, и весь бы разговор.

– А дальше что?

– Как все: сидела бы дома или в Москву: там деньги хорошие платят.

– Да говорю же тебе: хорошо там, где нас нет. Конечно, Москва с деньгами, но Москва тоже деньги любит: чтобы там прожить, деньги заплатить надо большие. И что у тебя останется? С гулькин нос.

– Хотя что-то; а здесь не лучше: то платишь, то нет.

– Да, задерживаем, но ведь всё равно отдаём. А в Москве – сколько примеров уже! – работаетработает человек, ему не платят, не платят, а потом – раз и выгоняют, и зарплату вообще не отдают. Хочешь на дядю поработать бесплатно? Да и на кого ты своих детей оставишь, ведь двое.

– На мужика. У них и бабка есть, без них не может и дня прожить. Они при мне от меня к ней сами убегают.

– Ты всётаки подумай.

– Нене, не уговаривай.

После её ухода стены кабинета Кондрашову стали тесны. Он не находил никаких оправданий, почему Карпушкин как главный отраслевой специалист не сделал самого необходимого: не создал надлежащих условий для нормальной работы людей. «Ведь главный специалист отрасли, можно сказать, хозяин, – негодовал Кондрашов, – вот и хозяйничал бы. Домато корова в чистоте, небось, стоит; хотя нет, с коровой он давно расстался – заботы не нужны, но всё равно его в такую грязь, в навоз и на аркане не затянешь». И ещё что-то в этом же духе – злое, грозящее разорвать

грудную клетку на части, наполняло его организм и терзало, терзало. А стены кабинета становились всё теснее и теснее, и мысли вразброс; и злость прорвалась наконец наружу со скрежетом зубов.

Кондрашов заметался по кабинету: от стола – вдоль окон и обратно; вдоль другой, глухой стены, к которой много лет назад случайным мастером краснодеревщиком без определённого места жительства были сработаны, по последней моде – во всю стену, простенькие шкафы из коричневой древесноволокнистой плиты: с вешалками – для одежды и с полками – для газет, журналов и многого другого, что постоянно накапливалось на столе и начинало мешать его хозяину. Потом метнулся к выходу, и дверь захлопнулась за ним с такой же злостью. Не замечая встречавшихся на его пути людей, прошёл к машине, и её у дверцы злости оказалось не меньше. Он промчался по фермам: искал Карпушкина, готовый в ярости с ним сотворить и сам не зная что; но, к счастью обоих, так и не нашёл.

В заречных лугах, где стояли загоны для дойного поголовья и нетелей, было тихо; не слышно ни рёва коров, ни человеческого голоса: стада откочевали вдоль Неручи, до первого её притока, не широкого, но довольно глубокого и быстрого безымянного ручья. Там, на стрелке, рядом с водой, они будут наедаться на просторе до вечера. Трава вымахала по пояс, и сочная, влаги и тепла вдоволь, значит, пришла пора большого молока. Вот только загоны!... Кондрашов обходил их с одной стороны, с другой, и у него уже скоро пропало желание находиться рядом с ними, потому что ему неприятно было даже смотреть на эту жуткую картину: надо же, до чего довели! И вдруг Кондрашов остановился: внутри как бы сработали какие-то тормоза. «Довели? – с сомнением подумал он. – Кто? Если Карпушкин, то надо говорить: он довёл. Но почему тогда доярка пришла к нему? Значит, и он сам причастен к бесхозяйственности; но если он руководитель, то надо принимать всё на себя и говорить: я довёл до этого, я не дал указание, я не проконтролировал. А как иначе?»

Кондрашов начинал остывать. Неожиданно память выхватила из прошлого: его принимают в партию, и пред-

седатель Сотов навешивает на него столько обвинений за якобы его недоработки, что сидящим на собрании коммунистам, наверно, стало страшно. А ведь в этих нерешённых в хозяйстве проблемах тогда был виноват, в первую очередь, сам Сотов, но вот своей вины не признал, а со злым умыслом перевалил вину на него. «Аналогичная ситуация?» – спросил сам себя Кондрашов. «Наверно, да», – ответил ему внутренний голос. «Да, да, да!» – застучали в голове лёгкие молоточки. Под этот стук он снова сел за руль и направил машину к стаду – поговорить с пастухами, посмотреть, как ведут себя коровы на вольном выпасе. Ехал медленно; машину мягко покачивало на небольших кочках, трава шуршала по днищу кузова, сбитые буфером розовые, синие, жёлтые лепестки порхали вверх и падали на капот, некоторые из них встречный ветер подхватывал и уносил в сторону.

К нему верхом на лошади подъехал один из пастухов, Андрей Потёмкин. Поздоровавшись, Кондрашов стал его спрашивать, как им здесь живётся/работается.

– Коровы, как на даче, – весело ответил Андрей, спрыгивая с седла. – Хотят – ходят, хотят – лежат. Отлежались – снова ходят. Мы тоже по такому графику. Травостой хороший, не застарелый, сочный, так что наедаются быстро, а пьют мало. И пока спокойно: мухи особо не надоедают.

– В загоне долго стоят?

– Да разве простоят они там долго? Им полежать в обеде надо, а там не ляжешь. Туда заходить страшно.

– Мне сегодня доложили, сейчас посмотрел.

– Мы без докладов все насмотрелись, – затягиваясь сигаретой, рассказывал Андрей, – завфермой каждый день видит, зоотехник, если появится, скорей назад от бабьих матюков: он боится доярокто, вдруг да и затащат в загон. Вот они и решили к вам докладчика заслать, и выбрали, кто полише, – Танечку Соловьёву. Сидели тут и писали заявление. Сообща решили: если за неделю не поправится дело – все вёдра бросят, и ни одна в загон не зайдёт. Там доильная установка вся уже утопла.

Андрей этой новостью Кондрашова добил; но виду он пастуху не подал, а только поддакнул ему:

– И ничего не поделаешь, бросят: каторга, да и только.

И, уже садясь в машину, спросил:

– Один со стадом? А где напарник?

– Еремеев? – переспросил Андрей. – За сигаретами отпросился. Говорю ему: нам до вечера хватит, а он всё равно умчался; сказал, скоро вернётся.

Довольный от разговора с пастухом, Кондрашов тем же путём выехал на просёлочную дорогу, которая вела от луга к ферме. Машина, не пыля, потихому катила вдоль огородов. Возле крайнего, рядом с дорогой, высокий и седой мужик, наклонившись, вострил брусом косу. «Вот оно, послевоенное поколение, не выпускает до сих пор косу из рук», – Кондрашов узнал в нём старика Потапова и притормозил, вылез из машины.

– Да решил сбить сорнячок, – вытирая потный лоб, сказал старик. – Будет стоять – натянет в огород. Слабоват я стал, а больше некому; но справился уже.

– Когонибудь попросил бы, – попробовал он дать совет.

– Говорю, некому. Теперь в нашей округе тихо. Бывало, к сенокосу в каждом дворе тюк да тюк – отбивают, значит, косы; а кто-то вжик да вжик – точит уже и пробует, это отлаживает, значит. Теперь глушь одна стоит, и способных отладить правильно косу – раз, два и обчёлся.

И тут же любопытный старик подбросил вопрос:

– Где председатель ездил?

– К стаду надо было, вот и проехал.

– Да, трава прёт – по всему молоко будет, только скотину надо больше на траве держать. Я вот смотрю и не пойму, как они стерегут. Этот приبلудный – Еремеев, кажется, каждый день через день, но часто, в общем, от стада и прямо на ферму. Говорят, с Натальей Савельевой у него что-то, в общем, шурымуры. И сейчас там, недавно промчался, чуть ли не в галоп.

У Кондрашова дрогнуло сердце. «Ну и день сегодня выдался, – подумал он, – одно за другим, и всё круче».

Старику, очевидно, хотелось поговорить ещё, но Кондрашов с ним тут же распрощался, завёл мотор, а вот куда ехать – уже не соображал: всё те же молоточки снова застучали в голове. Что делал дальше, с кем встречался,

что говорил – он практически помнил совсем плохо: всё было как в густом тумане, с редкимиредкими прояснениями, когда можно было определить, что он ещё не утратил способность заниматься какимито хозяйскими делами.

Наутро, уже успокоившись, он собрал у себя в кабинете всех специалистов животноводческой отрасли; и разговор был злым, напряженным. Карпушкин сидел потный и красный от полученной взбучки, которая была ему приготовлена после посещения всех ферм и загонов. Кондрашов сначала попросил доложить о положении дел на фермах заведующих; и Любочка Суетова, не прибавляя и не скрывая ничего, как на духу, рассказала, что много раз просила Карпушкина решить вопрос по бульдозеру, чтобы вычистить загоны, – пусть не все, а хотя бы тот, где стоят доильные установки; а ещё лучше – построить новые, но уже в другом месте, повыше, где в непогоду бывает гораздо суше.

Карпушкин отбивался, как только мог, но, убедившись в бесполезности своих усилий, под конец замолчал, только нервно покашливал и тяжело дышал.

– Ты хозяин в отрасли, в твоих должностных обязанностях записано, чем ты должен заниматься, – неторопливо, чётко выговаривая каждое слово, словно забывая гвозди, говорил Кондрашов. – Люди нужны – подбирай, они все в деревне на виду, договаривайся по оплате. Деньги нужны – обращай ко мне. Я был занят другими делами и понадеялся на тебя, что дело сделаешь. Но я же тебе не говорил не строить новые загоны и не запрещал чистить старые. Так почему ты не работал, объясни нам.

И Кондрашов стал молча смотреть Карпушкину в глаза, ожидая, что он скажет. Карпушкин встал, но ничего существенного от него так и не услышали.

– В солярке я тебе отказал, – добивал его Кондрашов. – Да сев шёл, а с топливом у нас напряжёнка всегда, потому и сказал тебе, что надо подождать с неделку. Ну и возвратился бы к этому вопросу сразу после сева; а ещё лучше, если бы не ждал, а сразу людей – и за слегами в лесничество. Загоны давно бы уже стояли.

– Иван Дмитрич, – встал главный ветврач Пичугин, которого он приглядел среди выпускников сельхозинститута ещё по первому году своей работы в председательской должности и который все эти годы смело и грамотно решал отраслевые вопросы, – я Карпушкину не раз говорил, что в таких условиях, в каких сейчас находятся животные, можно ожидать вспышку любой болезни. И второе: как мы ещё умудряемся продавать молоко первым сортом.

– Это уже дояркам надо вешать по медали, – сказала Любочка Суетова. – Вы, Иван Дмитрич, к зарплате повысили бы надбавку за качество молока. Сами видели, как даётся им этот первый сорт.

– Да, – согласился Кондрашов. – главному экономисту надо пересчитать все затраты и утвердить новые надбавки.

В кабинете повисла напряжённая тишина – все были в ожидании: что-то скрывается за его паузой? Он это почувствовал и продолжил, как бы подводя итог:

– А пока скажу одно: если бы сортность молока снизилась, хоть на одну десятую процента, или, не дай бог, это ещё случится, ты, Карпушкин, ищи тогда себе сразу другое место работы. А пока поступим посовестски: главному зоотехнику за бездеятельность, – здесь он на секунду снова сделал паузу, всего на одну секунду, потому что вопроса для него не существовало, – обойдёмся строгим выговором, а все остальные считайте, что я вас предупредил о персональной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Все последующие дни эти события буквально для всех стали не только темой особых разговоров, но и своего рода руководством в конкретных делах, потому что каждый из них был посвоему прав, и на каждом лежала определённая доля вины.

9

Ровно через неделю на заречных пастбищах для дойного стада стоял уже новый загон. К нему перекочевал небольшой дизельный генератор, от которого и протянулись электрические провода к доильной установке.

– Ох и председатель, – игриво заговорила с ним Танечка Соловьёва, когда Кондрашов приехал туда перед обеденной дойкой, чтобы лично убедиться в сделанном. – Не успели загнать коров, а он уже тут как тут. Либо решил обмыть загоны с нами.

– Ох и шутники, – в тон ей ответил Кондрашов. – Я написал, Танюша дорогая, твоё заявление. Можешь приходить за расчетом.

– А я передумала, – захохотала она.

– Чего так?

– Да ты, Иван Дмитрич, дюже понравился мне, когда уговаривал не уезжать. Умеешь уговаривать, и я вот согласилась. Это надо быть набитой дурой, чтобы от такого мужика уехать. Да и глянть, в чём я теперь обуга.

Она приподняла юбку выше коленей; ноги, обутые в красивые туфли, поставила вместе и попрыгала на них; и вдруг – правую ногу вверх, на другой крутанулась перед ним, как балерина, и снова поставила ноги вместе.

– Ох и Соловьиха, ох и Танечка, – покачивая головой и прищёлкивая языком, Кондрашов прошёл мимо неё и ущипнул за бок. – Как только Генка с тобой справляется.

– А он, Иван Дмитрич, может, и не справляется; может, ему помощник нужен.

– Если нужен, то я как руководитель буду думать. Что-нибудь придумаю, ведь вот помог же: загон построили, – это по твоей просьбе, кстати; и вторую твою просьбу выполню.

– Для меня в этом деле чтонибудь не годится, – снова хотнула доярка. – Чтонибудь у меня и дома есть.

Доярки слышат их разговор, посмеиваются; им весело, потому что по загону, вокруг доильной установки ходят уже не в резиновых сапогах, не с грязным подолом, а посуху, и синие халаты на них только что из магазина. Смотрит на них Кондрашов – и самому приятно быть с ними, видеть их весёлыми и довольными.

Пригнали коров; они спокойно зашли в ворота, которые пастухи тут же перекрыли длинными березовыми слегами. Андрей Потёмкин залёг в тень, за стоящую непод-

лёку будку от ветеринарной спецмашины; Еремеев снова в седло и рысью по просёлку в сторону деревни.

Кондрашов понаблюдал, как доярки принимались за работу, походил вокруг молочной посуды, вокруг котла, в котором Севалкин, откомандированный вслед за дойным стадом, кипятил воду, заглянул в будку: интересно, что там у них.

– Нечего там смотреть. Хорошо, где есть от дождя спрятаться, – пояснил посматривающий в его сторону Потёмкин.

– Не протекает? – спросил Кондрашов.

– Советской постройки ещё, гарантия на полвека. И материал прочный: с машины упала, когда привезли, – даже нигде не треснула.

– А ты, Андрюха, опять один стерёг? – без задней мысли спросил он.

– Не, вдвоём. Приблудный опять за сигаретами сорвался. Сказал, если задержится, скотину выпускать без него.

И сразу вспомнился Кондрашову разговор с ним недельной давности, когда вот так же, попростому, доложил ему Андрюха, что его напарник Еремеев умчался за сигаретами; потом услышал голос старика Потапова: «Говорят, с Натальей Савельевой у него что-то, в общем, шурымуры». «Ещё чего выдумываю», – обозлился он сам на себя; но настроение уже начинало портиться – это как погода: то солнце, солнце, и вдруг лёгкий ветерок, потом как-то хмарь, и небо незаметно так начинает затягивать.

Совсем затянуло небо, и какойто размазанной чернотой, когда уехал от загона и с полевой дороги свернул к ферме, но сразу же остановился: там, возле телятника, в котором когда-то работала Наталья и который горел, но сразу же был восстановлен, стояла лошадь пастуха, привязанная к электрическому столбу. Его и Наталью он разглядел у самых ворот: они стояли напротив друг друга – то ли только встретились и собирались зайти в телятник, то ли вышли из него и прощались. Дальше смотреть на эту картину Кондрашов не мог; он круто развернул машину и, разбрызгивая лужи, оставшиеся после недавних обильных дождей, поехал прочь. Но, как и неделю назад, когда услышал от Андрея

Потёмкина и старика Потапова о каких-то связях прибудного с Натальей, причём для него это было убийственной новостью, а её, оказывается, знала вся деревня, он не сразу понял, куда едет и куда ему надо. «Ужас, – думал он, – обвела вокруг пальца, как ребёнка. Оказывается, вся деревня знает давнымдавно; да что там деревня – вся округа: в каждом посёлочке по берегам Неручи, где сегодня осталось всего по дватри дома, страшно как любопытные старушки давно уже не считают это за новость».

И снова, как и неделю назад, в голове застучали молоточки: сначала редкоредко, потом зачастили, зачастили, – как барабанные палочки, дробью.

Дорога вывела Кондрашова в поля. Он снова оказался на том самом просёлке, по которому много лет назад в предновогоднюю метельную ночь спешил с Натальей в роддом. Здесь, среди снежных заносов, его Воронок сбился с дороги, здесь он услышал первый крик их дочери Алёнки-Снегурочки; и только сейчас Кондрашов понял, что все эти долгие годы, сам того не сознавая, в самые плохие дни он вовсе не случайно оказывался именно здесь. Зимой ли, весной или осенью, в снег или в дождь, или в погожие дни перволетья, – да в любой день, когда его душа искала успокоения, он стремился проехать по этой дороге. И тогда в нём оживали те же чувства, которые волновали его, когда, охваченная страхом и болью, Наталья уже оставалась без сил и не могла даже говорить, а только постанывала и с прихлынувшей материнской радостью слушала первые крики их второго ребёнка. «Второго? – в голове у него как заклинило. – Почему он так думает? Да, конечно, по законам природы, Снегурочка у них вторая, а первого их ребёнка они... она похоронила, и он узнал об этом много позднее. А когда узнал – казнил сам, что в те дни сделал что-то не так. Наталье об этом не напоминал, даже не упрекнул её ни разу, потому что видел, как плохо было ей самой, совершившей такое, на что в другое время никогда бы не согласилась».

Совсем не случайно оказался он именно здесь и в тот самый день, когда умирал его отец. И вот он снова на просёлке, на этом святом для него месте; и не только для

него – и для Алёнки, и для матери её, потому что палатой родильного дома для них стал этот просёлок, это поле, занавешенное белыми простыньками снегов, подсвеченных метельными мерцающими всплесками».

До этой минуты Кондрашов думал именно так; теперь же его мысли пошли в другую сторону. То, что он услышал от людей и что увидел сам, заставляло сомневаться в неразрывности его связи с любимой женщиной. «Зачем ты меня обманываешь? – этот вопрос он адресовал Наталье. – Если разлюбила – так и скажи; или потихому, на ушко, или в гнев, как раньше могла: мол, кобель; и дура, что под меня легла. Я понял бы и переборол себя; и не гонялся бы за тобой, как делал все эти годы. Это же не один год, не десять, а больше: как сказал им друг по институту, сколько они приворовывают любовь, по столько в нашей стране уже не живут, – значит, много; значит, в своей украденной любви они давно должители, и при этом продолжают приворовывать. За воровство судят; и уже через сколько судовпересудов они прошли, и, выходит, теперь их надо называть рецидивистами.

Так что же теперь случилось с тобой: или совесть пробила, и решила покаяться? Или просто пошла дальше?» Вопрос повис в воздухе: отвечать было некому. И Кондрашов, одинодинёшенек на заросшем травой просёлке, не мог ответить на него: ответ носила в своём сердце его любимая женщина – Савельева Наталья, а рядом её не было; и теперь Кондрашов не мог сказать даже сам себе, захочет ли он после всего услышанного и увиденного искать с ней встречи. Скорее всего, нет, потому что он уличил её в измене, во лжи; Наталья надсмехалась над его чувствами, над самым святым, – оно лежало лёгкимлёгким облачком в левой стороне груди, где билось его ревнивое сердце, и называлось одним довольно простым, но таинственным словом: любовь. И если такое произошло, то ему ничего не остаётся делать, как смиренно принимать очередной удар судьбы и жить дальше. Как жить? Время покажет, а пока у него есть семья, есть работа, где он каждый день кому-то нужен. Вот даже Танечка Соловьёва лукавенько так смотрела на него сегодня и, как понял он, недвусмысленно

намекала на что-то важное; и по всему не случайно неделю назад именно она стала посылной к нему в кабинет для решения проблемы с загоном. Ничего, приятная молодая женщина, вот только бы годков ему сбросить чуток. А дальше...

Но дальше мысль его на этом месте вдруг затупилась, потом её как бы заклинило совсем, – это как сверло, которое шло и шло по намеченному пути, да неожиданно для человека напоролось на что-то твердокаменное и замерло: мол, стоп, мне дальше ходу нет, а ты теперь подумай, как нам дальше. А дальше Кондрашов ничего лучше придумать не мог: сел в машину и поехал осматривать поля, как это он любил делать с первого дня работы в должности председателя колхоза.

Весна была позади. Прошедшие обильные дожди сделали своё доброе дело не только на пастбищах: после прихлынувшего тепла на посевах тронулись в рост даже самые хрупкие ростки, потянулись к солнцу, обещая отблагодарить человека за его заботу. Он проехал вдоль Неручи, пересёк её по не широкому, но довольно прочному мосту – за все годы, сколько здесь он стоял, полые воды так и не смогли с ним справиться ни разу – и направил машину по полевой дороге от пойменных лугов. Перед ним был Аркашин бугор. Почему Аркашин? В далёкидалёкие годы по воле местного помещика выросло здесь сельцо – выменял людей он за борзых собак. Домики в один рядок понад речкой, за ними, вверх по отлогому склону, огородики, а ещё дальше, точнее, выше по склону, всё поле да поле. Поднимаешься по нему: ширь необъятная, горизонт за редкими посадками еле просматривается.

От этого сельца, может, с полверсты вниз по Неручи, ещё прилепком несколько домиков. Почему они так далеко от сельца? Да просто не хватило для всех переселенцев места на этом просторе, потому что сразу за крайним домом нового сельца, получившего понятное название Борзёнки, начиналась низинка с близкими грунтовыми водами, к тому же в половодье её всегда заливало; и добрая барская душа выделила своим людям под жилье угодяя немного дальше, где посуше. В крайнем доме этого прилепка из по-

колениа в поколение уходили в жизнь Павличевы, люди работающие, во все времена нужные помещику, а потом и советской стране. Время распорядилось посвоему: по холмам да равнинам этого края прокатилась война; как и по Васильевке, по Борзёнкам протянулись тогда окопы передовой немецких войск. Когда загрохотало на северном фесе ОрловскоКурской дуги, а село как раз на нём и стояло, вдоль всей Неручи сделалось так горячо, что горела даже земля; и много ли надо было огня для сухих бревенчатых домиков под соломенными крышами – вспыхнули разом, одни головешки да печи остались. Уцелел, не сгорел каким-то чудом домик Павличевых, самый крайний, и хозяин его, Аркадий Афанасич, подеревенски Аркаша, уже через много лет после войны оставался на этом бугре единственным, кто до конца дней своих не захотел покидать корень предков. Бывало, посылают тракториста пахать или сеять: к Аркаше, на Аркашин бугор, говорят. Так и пришло это название к полю. Давно не стало здесь жилых строений, Аркаша умер, потомки его живут в Васильевке: колхоз построил для них дом и переселил, скорее всего, на радость – всётаки ближе к цивилизации; а память о человеке живёт среди людей этого края.

Прошлой осенью на Аркашином бугре посеяли озимые, ровно полполя; другую половину оставили паровать до следующего года. С главным агрономом Кондрашову работалось легко; и когда решался вопрос: быть или не быть васильевскому колхозу? – Лылов без раздумий его подержал. А ещё весной согласился сократить посевные площади зерновых и часть земель пустить в залежь и под пары. Такая участь была уготована и Аркашину бугру. «Я давно хотел тебе предложить, – признался тогда Лылов, – только решил ещё подождать: видел, что сам об этом думаешь». В сводках они свою вольность не показали, и уже по первому году из своей вольницы получили большую выгоду. А в залежь отправляли поля, удалённые от главных дорог, чтобы не бросались они, заросшие сорной травой, в глаза проезжающему мимо начальству. Но и на этих заброшенных до поры до времени полях велась работа: на них запускали косилки, и получалось неплохое сено для об-

щественного скота, отсюда плыли навьюченные возы и на личные подворья.

Кондрашов ехал и радовался: отменные посевы! А рядом чёрный пар – его третий день перепахивает Похлебаев, которого все механизаторы в шутку зовут Похлёбкиным или Супом: Суп да Суп. Хороший тракторист, технику знает, но любит работать только на гусеничных тракторах... нет, пожалуй, правильней будет сказать – на тракторе: как посадили его лет десять назад на гусеничный ДТ-75, так и бессменно все эти годы на нём, зимой и летом. И всегда техника у него на ходу, трактор чистенький: спать не ляжет, пока рабочую пыль не сотрёт. А пашет – залобуешься: загонки, как стрела, ровные, плужок отрегулирует – не придерёшься. Когда приходит время пахать огороды – за ним очередь; но для Кондрашова это очередная головная боль. В первые дни работа идёт как надо, а потом Суп начинал портиться: в одном доме замагарычит, не утерпит; глядишь, возле другого трактор протарахтит на холостом ходу целый час, и, глядишь, пошлопоехало. И тогда Кондрашов его на прикол: хватит!

Вот она, его пахота!.. Но что это? Чёрный след пахоты через дорогу и по посеву озимой пшеницы, к берёзовой посадке. Кондрашов на газ и – туда: трактор стоял у берёзовой посадки, упершись в толстую берёзу, тракторист сидел в кабине, очевидно, спал.

– Пьянь... твою мать! – выругался Кондрашов. – Ты что наделал!

Похлебаев испуганно дёрнулся, сон его как рукой сняло.

– Ты видел, что натворил? Пьянь ты несчастная!

Чёрный след от плуга перечёркивал поле озимых поперёк. Бледный, с взлохмаченными рыжими волосами, механизатор таращился то на свою работу, то на него и мямлил что-то непонятное.

– Что скажешь, скотина! – бушевал Кондрашов, хватая его за ворот пиджака и выбрасывая из трактора. – Да я тебя изуродую, как ты изуродовал это поле!

Наконец Похлебаев пришёл в себя:

– Иван Дмитрич, не пьяный я. Конечно, наделал делов, вези в милицию. Но не пьяный я, не пьяный.

– А за каким ты сюда заехал?

Он сам теперь увидел, что тракторист совсем трезвый, и отпустил воротник. Похлебаев одёрнул пиджак за полы, пригладил ладонью волосы.

– Натворил, конечно, – согласился он. – Так получилось. Я вчера допоздна пахал, ночь даже прихватил: мне надо было нынче ехать на базар с поросятами. Ну, думаю, поработаю, так как рано не вернусь: пока то да сё. Уехал из дома темно, так что ночь я, считай, не спал, а с базара сразу в трактор. Сначала ничего, пахалось, а потом чую: тяжело становится. Ну, думаю, ещё кружок, потом остановлюсь и передремну. И не заметил, как голова упала; и не проснулся, когда в берёзу чкнулся. Хорошо, что на малом газу ехал, и трактор заглох.

– Похвалился, – перебил его Кондрашов. – Ему хорошо, а что прикажешь нам с этим делать. Ты скажи спасибо Сталину, что посадили здесь лесополосу. Не будь её – уехал бы из своей области и до самого Курска пахал, если бы, конечно, хватило солярки. А он: «хорошо, хорошо».

Похлебаев оттаял, словно ледышка, ощутившая приливы тепла, и пошёл осматривать трактор. Кондрашову ничего не оставалось делать, как садиться в машину. Далеко не отъехал – услышал надрывные выхлопы пускача, всего какието дветри секунды – и рывкнул дизель; а когда через полминуты оглянулся назад, трактор с поднятым плугом уже мчался вслед за ним.

Все они работают на пределе, – прокомментировал это происшествие Лылов. – А поле выправлять теперь поздно, так что урожай не доберём.

– Прощаем? – спросил Кондрашов.

– Пока нет, – покачал головой Лылов. – Наказание любому должно быть: большой ущерб. Когда отпустишь вожжи, сам знаешь, что бывает. Хотя они у нас особо не разбогатели.

– Ладно, собирай наутро собрание, всех механизаторов. А там дальше посмотрим, как он будет работать. Определимся по году.

Ровно неделя прошла с того злополучного дня, когда Кондрашов проехал по следам пастуха Еремеева до фермы и увидел его рядом с Натальей, у ворот телятника, но за это время так и не сделал ни одной попытки хоть как-то приблизиться к ней. По сути, он снова начал избегать её, как это уже было с ним после отцовских похорон; а душа бунтовала, просилась туда, на посёлок, где теперь почти в полном одиночестве стоял близкий для него дом. Наталья тогда не могла не заметить его машину и, конечно же, поняла: не просто так он развернулся. Но какое имеет значение это сегодня, если он усвоил для себя, что за его спиной совершенно любимой женщиной предательство, а такое не прощается.

На восьмой день она сама пришла к нему в кабинет – без стука, взгляд насторожённо-тревоженный: глаза уже не расплёскивали синь, словно какойто злой человек взял да и взмутил в этих озёрах воду, и они потеряли свою обычную прелесть. Тревога поселилась не только во взгляде: ни улыбки, ни привычного светозарного полыхания щёк, а по всем этим милым противоположностям на её лице Кондрашов постоянно сходил с ума. Лицо её казалось тёмным, и можно было думать, что оно потемнело от переживаний, которые преследовали её всю эту неделю; не могло же оно сделаться таким от недостатка света в кабинете, хотя день пасмурный был сам по себе, и, к тому же, окна притемняли кроны густых ёлок.

Наталья закрыла за собой дверь, но так и осталась стоять у порога, молча глядя на него. И Кондрашов так же пристально смотрел ей в глаза, ни один мускул не дрогнул на его лице. Молчание их длилось с полминуты; первой нарушила тишину она:

– Что ж ты со мной делаешь, а? – Голос у Натальи дрогнул, глаза повлажнели. – Мы же с тобой всё тогда ещё прояснили, а ты опять за своё, снова от меня.

– Не лукавь, – от его слов повеяло холодом. – Я всё знаю и даже не хочу об этом вести речь. Что пришла – хорошо. У меня цыгане просят продать отцовский дом. Я не хочу их

селить в деревне, потому что народ этого не хочет. Ты в посёлке осталась, считай, одна, удобств никаких – ни газа, ни водопровода, до магазина и до школы далеко; и давайка переходи в отцовский дом, пока его не растащили деревенские бродяги.

Наталья не знала, что ей делать, что говорить; она поняла одно: уйти не сможет. Если сейчас уйдёт, то навсегда, а этого она не хотела и никогда не захочет. Последние его слова она еле уловила. «Переселяться в отцовский дом, – кружилось у неё в голове. – А зачем он ей, если они живут, и дом, вроде, неплохой, тёплый».

– Что молчишь? Говорю, переселяйся в отцовский дом.

Она проглотила подступивший к горлу комок, достала из кармана платочек, прошлась им по глазам:

– Не буду.

– Почему?

– А где же мы будем встречаться?

– Нигде. Ты за моей спиной совершила предательство. Мне сказали; да я и сам видел, что ты с приبلудным шуры-муры разводишь.

– Неправда. Никогда этого не было и не будет.

– Весь колхоз знает, что вы встречаетесь на ферме. Ты хоть бы не водила его по нашим следам, где мы с тобой стояли. Пусть сажает тебя на лошадь и увозит – хоть в колхозный сад, хоть в поймы...

– Не так всё, – не дала договорить ему Наталья; и снова к глазам платок.

– Я же сам видел. Я ехал по его следам. Он каждый день из поймы к тебе, и не скрывает этого.

Наталья после этих его слов перестала водить платочком по глазам, резко вскинула голову.

– Дурак! – выпалила вдруг она; глаза вместе со слезами наполнились гневом. – Дурак, слушай меня, а не людей. Не слушаешь, не веришь – тогда на, вот твоё кольцо.

С этими словами она сорвала с пальца то самое золотое кольцо, которое не было надето ей в церкви, но чуть позднее всё равно украсило её пальчик на рубеже, среди полевого простора.

– И говорю ещё раз: я гоню его от фермы, чуть ли не матом крою, а он всё ездит. Мне никто не нужен, кроме тебя. Я как зашла сейчас к тебе, сразу увидела: чужая стала я для тебя; и надо бы развернуться и уйти, а не смогла. Если бы ушла, то навсегда, а я этого не хочу; и не могу: меня отсюда только на носилках можно вынести или волоком.

Он молчал, уставившись на стол: на нём поблёскивало кольцо; руки тоже на столе – от нервного напряжения они подрагивали, и, очевидно, чтобы скрыть это волнение, он начал перекладывать какие-то бумаги с одного места на другое. Она ждала, что он скажет. Кондрашову затянувшаяся эта пауза облегчения не приносила, наоборот, она его угнетала; и руки, нашедшие в тягостную минуту ненужную работу, начинали не слушаться. Наконец он решился:

– Я за неделю передумал много чего, всё вспомнил из нашей с тобой жизни, до мелочей; и если бы мне сейчас дали новую жизнь, я прожил бы её так же, не лукавя перед тобой и перед людьми не стыдясь. Но всю эту неделю я утверждался во мнении, точнее, факты убеждали, что ты скрывала от меня свою связь с Еремеевым; и что я могу поделаться, если эти мысли и сегодня во мне рою. Хуже нет предательства. Ну, перегорело в тебе, отлюбила, в общем, взяла своё – и скажи, как сумеешь; ты объясни, и я пойму, но больше не буду плохо думать о тебе, чтобы не осталась в моей памяти ты в чёрном свете.

– Ваня, милый, – Наталья сделала два маленьких шага к столу, – ты скажи, что мне делать сейчас? Я тебе клянусь, что даже в думках своих засыпаю и встаю только с тобой. А что касается приبلудного: я всё хотела попросить, чтобы ты сам с ним разобрался. Не могу же я ему сказать, что я твоя. Отбиваюсь, как могу, но сил уже нет. Скажи ему, что я пожаловалась: мол, мешает работать.

За дверью кабинета послышались негромкие шаги, и она замолчала. Слез уже не было: они не просохли, просто по ним снова прошёлся платочек.

После её слов сердце у Кондрашова от перегруза сработало: как что-то надломилось в груди, но дышать стало легче; и он начинал понимать, что всё-таки был готов к та-

кому повороту событий и всё ждал, ждал, когда это произойдёт, но, конечно, не по такому сценарию. «Наталья сняла с руки кольцо и вернула ему – это уже знак, – подумал он. – Почему же тогда не уходит, а стоит и ждёт ответа? Конечно, ей нужны хорошие слова, которые перечеркнули бы всё прежнее, что мешало их сближению. Но что он скажет ей, ведь она ждёт?»

Кондрашов вышел изза стола, но подходить к ней не стал, а подошёл к окну; Наталья провожала его взглядом – в нём боль, мольба, ожидание.

– Тогда договоримся так, – и он поглядел на дверь – там кто-то стоял и слушал их разговор. – Вы переселяетесь, транспорт я дам. Что пришла – правильно сделала. Что сказала – я усвоил, а дальше жизнь покажет. Но я тебя не бросаю.

Дверь скрипнула и приоткрылась; лицо у Натальи вспыхнуло: да, чернота на её лице была не от недостатка света; этот мертвеннобледный свет исходил изнутри, из её трепетного сердца, отзывающегося на любые неприятности.

– Спасибо, Иван Дмитрич, до свидания, – сказала она и направилась к порогу, на котором уже стоял Олег Борисыч.

– Когда надумаешь – скажи, я машину пришлю.

В последних его словах уже не было той суровости, с которой он её встретил; и Наталья поняла, что в сегодняшних отношениях между ними было много надуманного, построенного на бабьих разговорах и эмоциях, а это просто недопустимо для обоих.

Кондрашов поспешил спрятать кольцо в верхний ящик стола: Олег Борисыч был любопытным человеком, замечал каждую мелочь, не пропускал мимо ушей самую незначительную новость и всегда этим гордился; и, скорее всего, только поэтому никогда их не держал в себе, а нёс в народ. «Разные мы с тобой люди», – вспомнил Кондрашов Герасимыча; за Натальей едва закрылась дверь, учитель спросил:

– Что-то долго вы с ней говорили? Я ждалждал, потом отошёл; потом пришёл и думаю: дай загляну, может, уже ушла, пока я на минутку отлучался в бухгалтерию.

– Идут люди – кто за чем, нужда человека гонит: кому зерна, кому машину, кому сена, – он решил удовлетворить любопытство учителя общими фразами, но передумал. – Наталья вот приходила: отдаю им отцовский дом, пока не растащили. Просили продать цыгане, но не хочу приносить деревне неприятности: им только зацепиться – сразу табор сюда приведут.

– Я слышал, в одном колхозе, правда, давно уже, приехали вот так же, и живут; потом договорились бороны к посевной ремонтировать. Как они работали – не знаю, но когда пришла пора рассчитываться, инженер и говорит им: «Я вам объяснял, как надо их ремонтировать, и показывал, а вы посвоему сделали. Переделывайте, а за эту работу я вам начислять не буду». Они всем табором к председателю – Вислобоков, кажется, его фамилия. Он им тоже: платить не будем. Так они такой балаган устроили, даже руку ему сломали.

– Я помню. И вообще не хочу их привечать.

– Да, они не любят сидеть на одном месте, и работа у них одна – ходить и обманывать людей, приворовывать. Их в сталинские времена прижали крепко, а сейчас им воля вольная, – Олег Борисыч снова оседлал своего любимого конька. – Это наш народ такой – всегда в заботах, а цыгане беззаботные.

– Наш – это деревенский?

– Я о русском народе, – пояснил Олег Борисыч.

– Не скажу, – возразил Кондрашов. – У цыган тоже забот хватает, только они у них свои, цыганские. А беззаботных и среди русских теперь – пруд пруди.

– Но цыгане хуже всего приживаются возле русских.

– И возле русских поразному. Цыгане везде цыгане.

– Их очень ненавидел Гитлер.

– Чего не знаю – того не знаю, – признался Кондрашов. – Гитлер не меньше, наверно, ненавидел и русских.

– Об этом много написано, я читал, читал, – с превосходством знающего человека сказал Олег Борисыч. – Всё верно, Иван Дмитрич: мы мало знаем, как жили наши предки рядом с другими народами. Хотя у всех народов люди по характеру разные.

– Олег Борисыч, эту особенность в людях всегда отмечал ныне покойный Герасимыч, Юрин. Бывало говорит, говорит с кемнибудь о чёмлибо, а фразу свою коронную всё равно пристроит. Не помнишь, как он говорил, а я запомнил: да, скажет, разные мы с тобой люди. А что за его словами стоит – думай: то ли он похвалил, то ли осудил, о ком идёт речь.

– Народ наш мудрый, – оживился Олег Борисыч. Было видно, что Кондрашов, сам того не сознавая, раскопал источник знаний. – Это настоящая кладезь мудрости. Правда, чисто русского от наших далёких предков мало что осталось, растворился русский человек во времени.

– Это как? – не понял Кондрашов.

– Очень просто. Посмотри на современную деревню: как разнообразна наша речь! Здесь какие только диалекты не услышишь: и с Волги, и прибалтийский диалект, и Сибирью попахивает, то акают, то окают. Вот оно, Сеньково, – рядом; мы говорим: курица, яйцо, а там вместо буквы «ц» выговаривают букву «с»: куриса, яйсо. Полное смешение племён и народов.

– Я думаю, не только русский язык страдает; и другие славянские народы тоже утрачивают какие-то ценные качества на своём генетическом поле, и, может, больше нашего: нашто сильнее.

– Всё равно границы размываются, – распаялся Олег Борисыч. – Я учу детей русскому языку всю жизнь; и, скажу тебе, мои безобразники сегодня стали знать его намного хуже: почерк никудышный, орфография тоже никуда не годится. Иногда думаю, что учитель не доносит знания до своих учеников. А может, поглупела нация?

– А кто же летает в космос?

– Ну, тогда не нация, обобщать не буду, а деревня; да, поглупела, обнищала на умы. И учитель не виноват?

– Ты же сам, бывало, говорил, что нет плохих учеников, а есть плохие учителя.

– Времена меняются, – сокрушенно сказал учитель.

– Время меняет человека.

– Или человек время?

– Вся страна сидит перед телевизором, и каждый канал работает за тысячи учителей. Раньше, допустим, прочитал книгу ребёнок – и на всю жизнь она в его памяти, как в личном компьютере, а теперь они в руки их не берут. Смотрю как-то по весне: идут из школы с одними тетрадками под мышкой, в библиотеку ни один не зашел, все мимо.

– Наш народ, Иван Дмитрич, начали портить ещё татары. Ты посмотри, сколько татарских слов в нашем словаре, в названиях предметов и населённых пунктов, речек и ручьёв.

– Но ведь до татар у всех их, вероятно, названия русские были.

– Во всяком случае, я никакого документа не знаю, в котором бы говорилось, что такоето русское поселение переименовано, – засмеялся Олег Борисыч. – Да они, милый мой, триста лет на нашей земле хозяйничали и много чего натворили. Приглядишься к людям, посмотри в глаза: у всех они разные, но карих, чёрных больше; и по цвету волос: русых и вообще со светлыми шевелюрами меньше, чем черноволосых. Татары в наших генах заложили прочный фундамент, вволю побесчинствовали с нашими бабами.

– Олег Борисыч, тут говоришь не то, – остановил его Кондрашов.

Учитель растерялся, услышав уверенный голос собеседника:

– А что не так?

– Ещё во время учёбы в институте я ехал в Курск, в электричке; и рядом со мной разговаривали два человека – в годах, один уже седоватый, видать, из учёного мира. Сколько ехали они – столько спорили. Вот один и сказал, как ты: мол, крови чисто славянской нету – растворили её татары с нашими бабами. А другой упёрся и не соглашается: ты, говорит, хочешь сказать, что на земле ничего русского не осталось? У тебя, говорит, ни на грамм национальной гордости. Русские были, есть и будут, и татары не способны русскую кровь испортить. Что, говорит, такое русская кровь? А это представь, допустим, водопроводную трубу большого диаметра, а по ней течёт наша

кровь; и пришли татары, ну и по капельке вливают в эту трубу свою кровь. Что, говорит, эта капля в нашем потоке. И я, Олег Борисыч, тот спор на всю жизнь запомнил, и с каждым годом утверждаюсь в правоте последнего: наша кровь по природе своей самая крепкая. А в наше время, добавлю от себя, агрессии на русскую кровь значительно больше, чем во время татаромонгольского ига, да мы и сами ею как бы не дорожим.

– Иван Дмитрич, поспорю, – загорячился учитель, – там народ и тут народ, значит, и трубы бери одинаковые. И поток по татарской трубе шёл не меньше. И ещё: откуда ты взял, что наша кровь самая крепкая? Наоборот, и вот тебе пример из жизни. Я несколько лет назад побывал в Новосиле, и с друзьями решили отдохнуть на Неручи. Смотрю: идёт по берегу славянка – молодая, красивая; смотрю на неё – и смотреть хочется. А за ней, понимаешь, следом – негритёнок, ну лет пяти. «Это что, – говорю, – она замужем за негром?» «Какой, – говорят, – за негром». «На стороне нашла чернокожего?» «Какой на стороне, – говорят, – если она в деревне безвыездно, и муж у неё тоже наш, деревенский. Это бабка её в молодости пошалила с негром». Вот тебе и русская кровь: говоришь, крепкая, а всё-таки не устояла.

– Я уверен, что молодка та совсем не славянка, и крови русской, может, ещё у бабки её не было ни грамма, – возразил Кондрашов.

– Можно рассуждать и так, – неожиданно быстро согласился Олег Борисыч. – А как будет правильно и кто это докажет? Пока эти вопросы для нас остаются, и, в то же время, возможно, – при этом он поднял указательный палец, как бы обращая внимание на его слова, – я повторяю: возможно, над ними умные головы уже думают, словом, работают. Но мы здесь, действительно, в смешении племён и народов.

Разговор на эту тему мог продолжаться ещё долго; и можно было им заглядывать друг другу в глаза, чтобы попытаться определить, сколько и какой у них осталось крови, но Кондрашов уже начал посматривать на часы, тем самым давая понять, что он ограничен во времени, и его

ожидают очередные дела. Уловив паузу, он как бы подвёл итоги разговора:

– Мы, Олег Борисыч, со своей колокольни можем много рассуждать о смешении племён и народов, а в действительности мало чего знаем из этой области. Но всётаки хорошо иметь свою точку зрения и её отстаивать.

– Дада, – поддакнул учитель, а это приблизительно означало, что разговор их подошёл к концу.

– Ты зашёлто по делу? – спросил он его.

– По делу, конечно, по делу, – встрепенулся Олег Борисыч. – Я сам не бездельник и бездельников не люблю.

– Тогда выкладывай.

Олег Борисыч хмыкнул, зачем-то оглядел его стол, потом пошарил взглядом по окнам – кроме одного горшка с цветами, там не на что было смотреть; и вздохнул:

– Ты помнишь, я к тебе чуть ли не каждый год заходил напомнить за сено для моей коровы?

– Помню, – кивнул головой Кондрашов. – Но сегодня ещё рано говорить о кормах: сенокос не начинали.

– Не начинали, но всё равно начнёте; и не тяните, потому что, по моим приметам, лето будет мокрое. Коси всё подряд, и чем раньше начнёшь, тем лучше будет. Была примета.

– По сенокосу?

– Да, народная; вот до первого июня у нас был Иван долгий, за ним прокатился Фалалейогуречник; и если два дня идёт дождь, то весь месяц будет сухой. Дождь пролил, пошли сухие дни, да и месяц народился погожий: вешай ведро на рог месяца – не упадёт, значит, быть суше. После Ивана Купалы придут обильные дожди, всё сено погниёт, так что до Ивановых дождей тебе, считай, что с месяца. Управляйся.

– Совет принимается, – шутливо сказал Кондрашов; и встал изза стола, посчитав, что Олег Борисыч именно по этому поводу и приходил. Но тот его остановил:

– Я не договорил. Так вот, теперь нам корм не понадобится совсем: решили от коровы избавиться. Прими её в колхоз – она молочка хорошо даёт.

– Что так?

– Иван Дмитрич, возраст у нас уже не тот, чтобы держать скотину, а ведь она требует ухода. Почему? – спрашивает. А почему у тебя на дворе пусто? – и он как-то так хитровато приподнял голову, высоко поднял брови, открывая своё лицо, и уставился на него грустными глазами, ожидающими ответа.

– За ней ухаживать некому, – не задержался с ответом Кондрашов. – Я с утра до ночи не дома, и молоко не пью, перешёл на водку; Маруська тоже не особо: банку принесут – стоит, стоит, пока не прокиснет.

– Так и у нас.

– Но ты же на пенсии, и время есть.

– Не думай, что человек вечен: возраст берёт своё, то есть силы забирает, здоровье, память; и наступает такой день, когда у него уже ничего не остаётся, – это значит, дальше человеку не на что жить, он истратил весь свой запас и бессилен с этим бороться; и тогда в глазах его меркнет свет.

– Глядя на тебя, Олег Борисыч, можно думать, что запаса твоего тебе хватит надолго.

– Думать никому не запрещается, – ответил учитель и замолчал, видимо, ожидая ответа на свой вопрос.

– Об этом можно не волноваться. – успокоил его Кондрашов. – Конечно, примем, обратишься к главному зоотехнику.

Олег Борисыч встал; в его фигуре Кондрашов уловил как-то новые, незнакомые ему доселе приметы очередного периода жизни, которые в медицине называют возрастными изменениями. Наверное, он знал о них и сам, и, подавая Кондрашову руку, с грустью признался:

– Всем жить хочется, а возраст говорит сам за себя. Спасибо, что понял меня.

И ушёл; привычно споткнувшись о порог, тихо всхлинула за ним дверь – с такой же грустью, какая исходила от покинувшего кабинет человека. Кондрашов проводил его взглядом из окна – высокого и ещё довольно стройного, доживающего свой век в этой небольшой деревне на виду у всех. Хотя кто знает: может, в своей жизни он, как и Кондрашов, вот так же испытал чувство украденной любви, радовался счастью и страдал от ревности, а всётаки сумел

пройти своей дорогой, в обнимку со своей тайной, не доверив её никому.

Кондрашов вернулся к столу, выдвинул верхний ящик, куда спрятал Натальино кольцо; потом посмотрел на свой палец – на нём светилось точно такое. Он снял кольцо с пальца, положил его рядом с Натальиным и в большом раздумье ящик снова задвинул.

На другой день чёрнобелая корова Олега Борисыча будет ходить уже в колхозном стаде; ещё через три дня на заречных лугах, на многолетниках в полях откроется сенокос, и выстроятся вдоль полевых дорог скирды пахучего сена. А потом, как и обещал Олег Борисыч, на поля и поймы опустятся дожди.

11

В один из дней Кондрашов приехал домой раньше обычного: почувствовал непонятную усталость. С утра он исколесил много полевых дорог, дважды пришлось побывать в райцентре; в машине духота, он открывал косячок ветрового стекла передней дверцы, и по всему попал под сквознячок. Первым делом Кондрашов сбросил с себя пыльную одежду и освежился под душем, который легко соорудил на лето в саду: всего лишь поднял на столбы десятиведёрную ёмкость, которую утром наливали водой, а за день солнце нагревало её до приличной температуры.

– Иван, ужин на столе, – позвала его Марусяка.

– Иду, – откликнулся он, а сам вышел к огороду.

Так он выходит уже много лет и смотрит через речку, в ту сторону, где доживает Натальин посёлок. Чередуются времена года; над поймами расстилаются дожди и делают своё дело морозы, светят закаты, как сейчас, но ничто не может заставить его не выйти и не посмотреть. И даже после того, как перебралась Наталья в отцовский дом, он всё так же, выкроив из своего ненормированного вечернего времени пару минут, скрывается за углом дома и замирает возле сетчатой изгороди, спасающей грядки от набегов домашней птицы. Так он погружается в прошлое, где были только он и Наталья и всё самое радостное и дорогое, – пе-

чалей у него в эти короткие минуты не было. Наталья теперь живёт в другой стороне; и смотреть бы ему надо вдоль притихшей улицы, а он туда же, всё за речку да за речку. И если раньше он стоял здесь и курил, то теперь огонёк его сигареты в потёмках не светится, потому что он бросил курить, чему Наталья рада, а Маруська ещё больше.

Сколько же стрел выпускала Маруська в его сторону: мол, как отец, он – провонял весь табаком! А Кондрашов только посмеивался: подумаешь там, пару раз дымнул. И знает, что весь шум её – он для порядка. Точно так Маруська шумела на него за собаку: прилачился, мол; и как приезжает – сразу к собаке. Нет бы к бабе, а то к собаке – и гладит её, ласкает, и называет то как ласково: Бибочек; и сразу в дом с ней. От самого табаком, от собаки псиной – какая это жизнь. Но, так склоняя, брала две чашки, наливала обоим – и ему, и Бибку; а потом, довольная, сидела и смотрела, как они справляются с едой, ожидая, наверно, когда её похвалят. Иван тоже поглядывал, как работает над чашкой его друг: поел – он посмотрит на жену и скажет: «Бибок поел и не умер, значит, вкусно приготовлено; молодец повар, постаралась, и можно теперь есть и мне». Если понюхает Бибок еду, покрутит носом и отвернётся от чашки – всё наоборот, слова в её честь другие: «Да, Бибок, плохи наши с тобой дела, совсем испортился наш повар, а может, и не хотел постараться. Но в любом случае это беда в масштабах государства».

Бибок давно умчался в дом, Иван только теперь за ним. Тепло и тихо, двери настежь: в летние вечера они всегда держали их открытыми – впускали в дом прохладу и свежесть. На кухне потихому жужжал холодильник; небольшой телевизор всматривался в них голубым глазом, словно видел их впервые; и точно такой же – голубой, и с такими же картинками, смотрел на них из зеркала, но только с другой стороны.

– Как день прошёл? – спросила Маруська, когда он сел за стол.

Иван пожал плечами, а так он делал, когда по какойто причине не мог определённо ответить на вопрос.

– Язык проглотил?

Ответил односложно:

– Ничего нового.

– Так уж и ничего? – и она присела рядом с ним. – Я вот была сегодня в магазине; говорят, как Наталья переселилась в отцовский дом, сразу ухажёра нашла – приبلудного Еремеева.

– И правильно делает, – спокойно отреагировал Иван на её новость. – Что ей всё одной да одной.

– А говорят, ты с ней до этого катался.

– Значит, про меня теперь не говорят?

– Говорят. Но говорят, что ты и новую ухажёрку нашёл, Таньку Соловьёву.

– Пусть говорят, пока не надоест.

– Говорят, в кабинет к тебе на свидание ходят.

– Ко мне много людей ходит, и все на свидание, только у них вопросы разные ко мне. А Соловьиха... да, приходила, и глазки строит, когда у них бываю. Марусь, я для неё, наверно, староват уже.

– Я тоже так думаю, хотя...

Она замолчала, как бы подыскивая нужные слова; а он не стал их дожидаться:

– И что ещё ты, кроме этих сплетен, уловила?

– Что слышала, то и сказала, – обиделась Маруська. – Что, я только тем и занимаюсь, что по деревне хожу? Ходила бы на работу – знала бы больше. Я, Вань, в отпуске, как в тюрьме, и пойти особо не к кому. Наталья вот заходила с Алёнкой, кстати, тебе привет бооольшой крестница передавала.

После того дня, когда Наталья приходила к нему в кабинет, они встречались ещё, но накоротке: она просила машину перевозить вещи. Говорили недолго, голоса их звучали виновато, а значит, долю вины каждый принимал и на себя и как бы предлагал тем самым мировое соглашение; при этом между ними уже не было ни слёз, ни взаимных упрёков и оправданий.

– Иди в мастерскую, там стоит Бровкин, – сказал он ей тогда.

Бровкиным в колхозе прозвали за лихую езду Ивана Горохова – после того, как в клубе показали фильм про Ивана Бровкина.

- А поедет?
- Скажи, что я велел.
- Вань, спасибо тебе за приبلудного. Как ты так с ним?
- Это не я, а Карпушкин. Я ему сказал, что на пастуха пожаловались: бросает стадо, а сам на ферме всё высматривает что-то. Он туда и зимой ходил якобы, и предполагают, что пожар – его рук дело.
- Теперь не заявляется, – сказала Наталья, и по лицу её впервые пробежала лёгкая улыбка.
- С тех пор они не виделись.
- Ко мне приходила или просто так? – спросил он Маруську.
- Ничего не сказала, ничего не просила.
- Иван понял, что Наталья ищет его, что она отвергла напрочь безосновательные вымыслы о каких-либо её связях с Еремеевым и попрежнему верна ему.
- А на другой день после домашнего разговора с Маруськой он сам заехал к ней на ферму. Увидел её, – не выходя из машины, посигналил и, когда она подошла, с прежней виноватостью поздоровался и сказал:
- Вчера Маруська принесла с деревни новость, что ты с Еремеевым скрутилась. А меня уже свели с Танечкой Соловьёвой – приходила ко мне в кабинет. Оказывается, её доярки послали.
- Я знаю, – сказала Наталья.
- Пусть говорят, если так получается. За нас много чего говорили за эти годы, и ещё будут говорить – не страшно. Ты вчера что приходила?
- На тебя посмотреть. Думала, может, ты дома.
- Я каждый день до ночи, – сказал он. – Но я тоже об этом думал. А вообще, нам надо Алёнку готовить к школе.
- Они немного помолчали. К взаимному сожалению, виноватость в них ещё жила и попрежнему мешала переступить ту самую грань, которая чуть ли не развела их в разные стороны. Наталья первой нарушила молчание; слова её прозвучали довольно неожиданно, как бы шутливо, но смотрела на него она вполне серьёзно:
- Вань, возьми меня снова замуж, и верни кольцо.
- У Кондрашова на лице нечто похожее на улыбку:

– Значит, мне надо начинать всё сначала: за невестой сперва ухаживают. Ты хорошо знаешь, как это делается?

– Да, – сказала она.

– Значит, так и будет.

И он уехал. Как она посчитала, её любимый не сказал ей ничего конкретного, но потом пришла к другому выводу: сказал! Сказал, что будет думать, а это уже обещание.

Но обстоятельства сложились совсем не так, как предполагал Кондрашов; и не случайно говорят в народе, что человек предполагает, а судьба располагает. Утром на планёрке Лылов доложил: вчера, вместо того, чтобы заниматься ремонтом комбайнов, механизаторы пропьянствовали.

– Главный инженер уехал, а они, Иван Дмитрич, вразнос. Мы готовим склады, выметаем, дезинфицируем, и гляжу: они то и дело по улице, к Гуме, значит.

Гумой в деревне прозвали Матвея Соболева, который однажды появился на народе в больших истрёпанных валенках; на каждом с внешней их стороны, чуть повыше галош, сидело по кожаной заплатке. До этого в них Матвея ни разу не видели. «Матвей, где ты их раздобыл?» – спросил его кто-то из мужиков; и тот ничего не мог придумать кроме, как отшутиться: «В ГУМе», – ответил он любопытному. Все, кто оказался свидетелем этого разговора, попадали со смеху: Матвей, если он имел в виду самый главный московский магазин, за всю свою жизнь в Москве ни разу не был; а кто-то тут же вспомнил, что так он называет местный магазин. «Гыгыгы! – надрывались мужики. – Давно купил?» – «Недавно». И снова хохот – ещё заразительней, от души.

А бегали к Гуме – за выпивкой: у него всегда можно было разжиться самогоночки, и не какойнибудь, а наикрепчайшей, да настоящей на разных травах. Рассказывали, что занимался этим делом он с послевоенных лет. Однажды участковый его предупредил: «Найду самогонку – всю твою посуду самогонную расстреляю». «Ладно, – согласился Матвей, – находи». Долго охотился участковый за ним – не удавалось захватить врасплох, но однажды видит: идёт Матвей через дорогу, из сарая к дому,

а в руках какая-то посуда, похожая на маленькую канистрочку. Заметил его и Матвей – и бегом к дому; участковый за ним – в пяти шагах. Считаю, перед его носом тот захлопнул дверь. Участковый через порог: Гума стоит посреди комнаты, чешет затылок и вопросительно так смотрит на него. «Попался, Матвей», – говорит участковый. «А в чём дело?» – это уже Матвей ему. «Как в чём, самогонку нёс?». – «Ничего не нёс». – «Я видел». – «Видел – тогда ищи».

Участковый обшарил все углы и кровати, в общем, проверил везде, где только можно было. Вконец упавшись, раздосадованный, он плюхнулся на стул и говорит ему: «Ладно, твоя взяла. Совсем отстану от тебя, только скажи: где? Ведь от меня ещё никто не мог так прятать».

Матвей сперва недоверчиво покосился на него, но всё-таки рискнул: как же, обещал отстать; и, так же стоя посреди комнаты, ткнул пальцем в сторону двери: «Вон она». Над дверью, на гвозде, висело большое решето, и когда Матвей перескочил через порог, ему ничего не оставалось делать, как за те считанные секунды, отделяющие его от участкового, успеть засунуть свою посудину под решето. Участковый слово сдержал, и даже распил с Матвеем его настоящей, а Матвеев авторитет среди односельчан сразу вырос.

И вот теперь над Матвеем, получившим подпольную личку Гума, тучи могли сгуститься.

Кто-то из механизаторов решил отшутиться:

– Мы же, Иван Дмитрич, не во вред производству: инженер поехал искать запчасти, нам делать нечего, а тут повод: день рождения у человека.

– Кто же этот счастливец?

– Шеварыкин.

– У него с начала года уже третий день рождения; и выходит, что у вас в году одни праздники будут, если каждый по столько раз появится на свет. Ещё раз надумаете устроить это в рабочее время – останетесь совсем без зарплаты, – пригрозил Кондрашов; но наказывать он никого не стал.

Оказалось, что главный инженер проездил целый день практически впустую: привёз всего два подшипника и несколько ремней; и Кондрашов взял у него список запчастей, в которых была нужда, попросил кассира отсчитать ему предполагаемую сумму денег и уехал в Курск. Там он побывал буквально во всех магазинах, торгующих запчастями для сельскохозяйственной техники и, в общемто, остался доволен, потому что из его списка почти всё теперь лежало в машине.

На обратном пути Кондрашов надумал проведать друга, Андрея Дёмина, с которым не виделся с того памятного дня, когда они вместе с Натальей приезжали в церковь. Крюк сделал небольшой: как стало модно говорить, офис его находился километрах в пяти от трассы. После дружеских объятий и обмена короткими и самыми важными новостями Андрей пригласил его пообедать. Сидели в отдельной комнатухе бывшей колхозной столовой; на столе две бутылки коньяка, овощные салаты. С небольшими промежулками времени молодая девчушка, – как понял Кондрашов, единственная работница этого заведения, – словно птичка, неслышно впархивала к ним с подносом; и на столе вместо пустых тарелок появлялись другие: то с варёной говядиной и котлетами, то ещё с какойто зажаркой, и всё горяченькое, свеженькое, что само по себе возбуждало аппетит, хотя они всего этого уже употребили довольно много.

– Это теперь моя собственность, – широко улыбаясь, самодовольно рассказывал о себе Андрей. – Я сразу зачуял, что советскую власть в пухпрах разнесут, что основой будущей жизни станет частная собственность. Пока все гадали, как жить дальше, я из своего колхоза сделал общество с ограниченной ответственностью – не один, конечно, а с главным бухгалтером. Рисковал, конечно, сильно; и если что-то могло не пойти – остался бы я без штанов и сел в тюрьму. Но повёл дело так, что в самом начале для меня сложилось всё благополучно. Теперь вся земля, считай, моя личная: какую выкупил, какую взял в аренду на сорок девять лет.

– Почему на сорок девять, а не на десять, двадцать или, допустим, не на сорок? – спросил его Кондрашов.

– Для меня как арендатора на малый срок невыгодно. Допустим, приведу землю в порядок, из года в год я буду вкладывать в неё средства для повышения плодородия, и вдруг, когда она начнёт давать отдачу, у меня её владелец заберёт. И ты считаешь, это будет правильно?

– Он хозяин земли, и его право, как распоряжаться ею. Почему он так поступает? Ты занижил арендную плату.

– Он договор подписал? Подписал. Тогда какие вопросы. И всётаки я это предусмотрел; и людей не обижаю, как не обижал своих крестьян помещик, а они, кстати, мои работники. Но я им плачу, сколько захочу. Я хозяин, понимаешь? Не нравятся кому мои условия – ищи, где лучше. А куда он пойдёт? Я тут один такой, кто им даёт работу и кормит их. Уходили – и сразу в Москву, она орловскими и курскими вся забита. Да и мне сейчас много работников не надо: в колхозе было триста пятьдесят, а у меня теперь всего тридцать.

Кондрашову такой взгляд на происходящее в стране совсем не по душе, и он стал морщиться, потом уловил короткую паузу, чтобы, не обидев друга, с ним поспорить.

– Постой, Андрей, постой. Ты вот запросто решил судьбу коллективного хозяйства, и теперь всё твоё. А не было ли у тебя таких, кто, как и ты, хотел бы на этой же земле организовать своё дело и работать, допустим, только своей семьёй, без наёмных работников?

– Были, но я всем шею посвернул, так что им сразу захотелось иметь землю.

– Ты знаешь, а я колхоз сохранил – с трудностями, но удалось. И скажу тебе: это не советская власть, как сегодня некоторые ярые антисоветчики говорят, не коммуняки придумали колхозы. Это сразу после отмены крепостного права в России двести деревень на своих землях работали по принципу коллективных хозяйств. Меж на полях не было, каждому находилась работа: например, хромой сидел и считал, сколько снопов привезли с поля; мужик с одной рукой водил лошадь по кругу, то есть каждый был занят. А если пахали и сеяли сообща, как при колхозной жизни, то и убирали урожай сообща, а делили его по затраченному труду. Как обсчитывали – сразу скажу: не знаю.

– Откуда начерпал? – спросил Дёмин.

– Из очерков столетней давности. Кто автор? Помоему, Успенский.

– Счастливым ты человек, если находишь время читать, – сказал Дёмин. – Я уже забыл, когда держал в руках книгу. Да и ребята мои выросли без книг. Они всё больше телевизор и компьютер, да поболтаться с друзьями. Купил им по машине, не дорогие пока; как женятся, тогда покруче можно.

– И к чему ты их готовишь?

– Я свою голову над этим ломать не хочу, это их дело. Но пока ни к какому делу интереса у них нет. В армию не хотят идти. Поступили в университет, я их уговорил в сельхоз – по моей профессии, думал, пойдут, но старший учёбу забросил, другой, вижу, тянет.

Дёмин разлил по рюмкам оставшийся во второй бутылке коньяк, поднял свою и продолжил:

– Совершил ты, Ваня, друг мой сердечный, сегодня героический поступок, что заехал ко мне. Как я понял, ты не смог сбить капитал для себя, не говорю уже о детях. Зарплату себе делаешь неважную, своего, личного транспорта у тебя нет. Я пашу без выходных, довериться некому. Бросай ты свой колхоз и давай ко мне: вдвоём с тобой мы здесь горы свернём. Через год ты станешь состоятельным человеком; глядишь, по доброте своей, как другу, отпишу тебе землицы – попробуешь самостоятельно работать. Ты не думай, у меня специалисты есть, лихие ребята: надо что сделать – костью лягут, а справятся полюбому, вплоть до допинга. Вот на сенокосе: поставил ящик водки – это, говорю, премия. Быстро управитесь – ещё ящик. Но во время работы не вздумайте: по ящику с каждого возьму. Особо лихой заместитель у меня, с ним даже страшно. Что подумался в прошлом году: у соседа моего за леском, как бы в стороне от его земель, было посеяно гектаров тридцать сортового ячменя. Ох и хороши посевы были! – Дёмин поцокал языком, покрутил головой, тем самым показывая, насколько они были хороши. – Колос крупён что! Приглядел мой Семён этот участок и в потёмках загнал туда наши комбайны. Они в момент смолотили, шумнули –

и всё, так что никто ничего не заметил. Только дня через три сосед поднял тревогу: украли урожай! Милиция заметалась, а времени прошло сколько; к тому же хитрец мой каждому комбайнеру по ящику водки поставил и зерна пообещал, чтобы язык за зубами держали.

– Так и не нашли? – удивился Кондрашов.

– Они и не искали. Приехал начальник милиции ко мне: твоя работа, спрашивает; а я пожимаю плечами, мол, первый раз слышу такое. А как проверишь – бухгалтерии никакой. Дело закрыли, а соседу сказали: не обедняешь.

– Я бы сразу этого Сеньку рассчитал, – сказал Кондрашов.

– А мне его зерно и не нужно было. Видно, Сеньке захотелось почудить. А мне уже ничего, Иван Дмитрич, не надо: деньги есть, недвижимое в городе есть – и на себя, и на детей. Ещё вот одно доброе дело сделаю: ту самую церковь, где мы венчались, приведу в божеский вид. Жалко батюшку – добрейшая душа, таких бог любит. Кстати, я тебя провожу; наши гаишники орловские машины не пропустят, обязательно остановят: от тебя запашок, а со мной они никого не трогают; да и заедем к тому батюшке, я после твоего венчания часто у него бываю.

Он заглянул в стоящий в углу небольшой холодильник, достал ещё такую же бутылку коньяка, и они пошли к машинам. Уже через полчаса друзья входили в церковь; и Кондрашов, оказавшись в знакомом ему пространстве, но почти забытом в деталях, сразу почувствовал дыхание того времени; и ему показалось, что рядом с ним стоит его Наталья – он слышит её дыхание, чувствует тепло руки... Вот оно, его сегодняшнее счастье! Он испытывает то же самое волнение, те же душевные переживания, какие испытывал он здесь в прошедшем времени, и они остаются для него самыми дорогими.

Кондрашов оглянулся по сторонам: со стен – и слева, и справа – с пристальным вниманием смотрели на него лики святых: то поотечески доброжелательные, с мягким, ласкающим взглядом, то, как ему казалось, с какойто излишней суровостью, заставляющей думать о непогрешимости человеческой души.

Отца Владимира на месте не оказалось, как им пояснили, он с матушкой уехал на похороны, а когда отслужит молебен и возвратится – одному Богу известно, потому что по каким-то делам им надо было ещё в Курск.

– Домой всегда успеешь, – на правах хозяина уговаривал его Дёмин. – Мы сейчас заедем ещё в одно место – там хорошие друзья мои, познакомлю.

Дёмин был неистощим в своих попытках повстречаться с друзьями, проведать то одного, то другого; и когда Кондрашов говорил, что хозяйство им брошено, что уже давно его там ожидают с запчастями, он начинал сердито выговаривать:

– У тебя там не дети малые, свои обязанности они должны усвоить с первого дня пребывания в должности. А ты за них работаешь, и все к этому привыкли. Отучай.

Видя бесполезность своих усилий, он таскался за Дёминым по его знакомым, по всем, как он говорил, злачным местам, где встречали и провожали так же весело и радушно. Компания раз от разу расширялась, и можно было смело утверждать, что никто особо не хмелел: пили не помногу и хорошо закусывали. А время не стояло на месте; уже в полночь Кондрашов проявил твёрдость:

– Андрей, я – всё. Надо ехать.

– Тогда ладно, – и он обнял Кондрашова. – Рад, что повстречался с тобой. Молодец, что привёз праздник. И друзья мои довольны тобой. Да, – спохватился вдруг Дёмин, – насчёт моего предложения подумай, но особо не затягивай.

– Нет, милый друг, наверно, уже поздно менять место жительства: корни глубоко пустил.

Говоря так, Кондрашов, конечно, кривил душой. Корни корнями, но, впервых, не мог он оставить Наталью с Алёнкой одних. И не менее важное: ему не понравилась атмосфера, которую создал вокруг себя Дёмин. Душа бунтовала против непорядочного отношения к людям; что-то хищное, нечеловеческое витало вокруг Андрея, и, по его рассказам, такими же хищниками были в его вотчине полюбреннные им опричники.

– Хорошей тебе дороги домой. И удачи в делах, – напутствовал его Дёмин.

И они снова обнялись.

Ночь стояла тихая и тёплая. За Понырями Кондрашов свернул на полевую дорогу. С высоты холмов, над которыми стояло усыпанное звёздами небо, просматривались далёкие огни; ещё дальше несильным заревом был помечен скрытый от глаз Малоархангельск, чуть левее и дальше – Глазуновка; и всё это было привычно глазу, как бывает привычен для человека родной дом со всеми атрибутами, которые сопутствуют ему с детства. Ехал не торопясь, прокручивая в памяти события прошедшего дня; с лёгким сожалением думал, что с запчастями непростительно запоздал, и за время, проведённое с Андреем, он много бы полезного ещё сделал.

Уже на своей земле ему навстречу засветили два огня, настолько яркие, что Кондрашов прищурился и снизил скорость. «Две фары, и высоко – это трактор Т-150, – угадал он. – Постой, постой, это кто же здесь должен пахать», – вспоминал он, но память не срабатывала. Огни приближались стремительно, и в голове уже другие мысли, тревожные. Кондрашов дорогу уступает, а огни всё прямо, на него и на него.

Но нет, встречная полоса света ушла в сторону от дороги, за ней по обочине трактор; он с рёвом уже проходил мимо машины, как вдруг снова резко пошёл к дороге – его направила туда задняя ведущая пара колёс. Одновременно длинный хвост навесного семикорпусного плуга выбросило над дорогой, и он, как хлыстом, ударил по капоту машины. Кондрашов успел только увидеть в свете фар отшлифованные до блеска корпуса, услышать скрежет железа по железу и звон разбитого лобового стекла; а дальше – темнота.

Кондрашов пришёл в сознание уже при свете дня. Открыл глаза: по стене разгуливало солнце, слышно было, как за окнами ворковали голуби, щебетали ласточки, где-то недалеко разговаривали люди. И тут же над собой увидел родные лица – заплаканные, тревожнорадостные: Маруська, Наталья и Алёнка! Они ещё ничего не успели

сказать, а Кондрашов уже всё понял и закрыл глаза: из них тоже потекли слёзы.

* * *

И снова, дорогой читатель, мы расстаёмся с нашими героями; надолго, нет ли, или навсегда – сказать не можем, потому что не знаем, как сложится дальнейшая их жизнь. Но это будет уже другая жизнь, другая история любви.

Литературно-художественное издание

Васичкин Валентин Митрофанович

УКРАДЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Повесть

Книга издана в авторской редакции

Технический редактор Т.А. Агапий

Бюджетное учреждение культуры
«Орловский Дом литераторов»
302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 1

Подписано в печать 09.04.2021 г. Формат 84x108/32
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл.п.л. 17,64. Тираж 350 экз. Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета
в АО «Типография «Труд»
302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1